



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

5-6 (432)

2011

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

Евгений Заугаров. Выводы.	3
Дмитрий Лазуткин. «я не один – нас таких тысячи...» и др.	75
Геннадий Каневский. [харьков] и др.	79
Герман Власов. «эмигрантский хлеб не горек...» и др.	107
Света Литвак. «свежо, упруго, глянцевито...» и др.	111

ПРОЗА

Алексей А. Шепелёв. Кгыышфт Вшытундф-ТВ. повесть	5
Вадим Ярмолинец. День независимости	82
Елена Тюгаева. Ворота в мир. Рассказ	100

ДЕБЮТ

Всеволод Власов. Моя перспектива	114
---	-----

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Андрей Темников. Автобиография. Рассказы: «Лапка паука-сенокосца», «Комната наверху», «Птичий помет», «Поведение родинки во сне». Стихотворения: «Радоваться тайно и спокойно...» и др.	121
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Сергей Боровиков. Серапионы и тараканы	168
Алексей Колобродов. От детдома до дурдома	177
Юлия Щербинина. «Художественной правдой продолжать документальность»	179
Олег Рогов. Микрофон для хора	188
Анна Голубкова. На грани небытия	189
Виктор Селезнев. Хроника отсроченного убийства	191

КИНООБОЗРЕНИЕ

Иван Козлов. Три взгляда изнутри («Кочегар», «Ливан», «Черный лебедь»)	194
---	-----

ВЫВОДЫ

Звездное небо

Когда-нибудь,
когда протянешь ноги
во мраке ночном,
окажется, что у тебя миллиард ног
и на каждом пальце ножном
голубой огонёк.

Уже двадцать седьмое Января.
Новогодние праздники давно закончились.
Но в этом есть что-то удивительное. Это просто время.
Ничего кроме времени.

По ящику идёт «Человек дождя».
Последнюю фразу можно повторять миллионы раз.
Иногда можно почувствовать себя
готовым потратить всю оставшуюся жизнь
на то чтобы повторять одну и ту же фразу миллионы раз.
Вот что значит время. Вот что оно делает с человеком.
А тот, кто говорит, что страдает, в корне неправ.
Мало того, он просто врёт,
потому что не чувствует времени.

Из псалма 136

Забудь меня, моя рука,
прилипни мой язык к гортани...
И всё же в недрах головы,
или не знаю где, не важно,
не перестанет скрежетать
вконец раздолбанный редуктор.
Как бы его остановить,
чтобы сменить подшипник, смазку,

Евгений Заугаров родился в 1966 году в городе Миассе Челябинской области. Закончил химический факультет Саратовского университета. Публиковался в журналах «Воздух», «Дети РА», в альманахе «Василиск», в антологиях «Нестолычая литература», «Русские стихи 1950–2000 годов». Книга стихотворений «Избр-е» (2010). Постоянный автор журнала «Волга».

как надоел мне этот скрежет!
Бесцельный, нудный, одинокий.
И что обидно: только он
и подпадает под известный
критерий истинности, ad rem,
что ничего другого нет.
И смысл жизни пропадает,
когда несчастный этот звук
периодически стихает.

Меня окружает так много вещей!
Нет такой вещи, которую бы я
не видел, не щупал, не думал о ней.
Весь окружающий мир принадлежит мне!
Это, конечно, правда.
И только поэтому в голову приходит мысль,
что отдавать что-либо кому-либо
имеет больший смысл, чем приобретать что-либо.
Точней, слово «приобретать» вообще не имеет смысла.

Искусственное тепло лучше человеческого.
Это память о человеческом тепле,
образ человеческого тепла,
образ, который всегда с тобой.

Фейерверк-фейерверк...
Красные огни его.
Красные глаза мои.

Алексей А. ШЕПЕЛЁВ

Кгыышфт Вшытундф-ТВ

повесть

*(можно подумать: как продолжение повести «Наст. любовь/Грязн. морковь»,
под одной обложкой с ней)*

- Куда вы меня тащите? – обратился Леонид Морозов к своим конвоирам.
- Щас узнаешь.

Из этого же самого произведения

Короткое предисловие автора

Не так давно я обнаружил свою раннюю (1994) повесть – или, если угодно, дневник – о проделках компании школьников. Называется «Российский Диснейленд» (1 и 2 – о двух частях) – то есть о том, как волею какого-то дурацкого и/или несчастного случая школа превратилась в плацдарм для подростково-сельско-маргинально-несколько-даже-оригинальных развлечений. Это своего рода зачаток эстетики и идей нашего «радикально-радикального» объединения «Общество Зрелища» (обр. в 1997 г.), провозгласившего искусство «дебилизма» и концепцию «явлений» (явлений жизни как фактов искусства и наоборот), и очень напоминает мою повесть «Настоящая любовь/Грязная морковь» (2001), в которой тоже обыгрывается оригинальный юношеский текст того же 1994 г. Многие герои те же самые, т. е., как ни странно, ткётся то же метатекстовое, метароманное даже полотно («Толокняное толокно толчёт жук...» – О. Коробков. Стихи в сборнике «ОЗ» «Быдломантия», 1997). Но есть и отличия.

Приводится по оригиналу с минимальными литературными потерями и приобретениями.

Самовитый и хамоватый опус сельского подростка, старательно перепечатанный взрослым на-сонасорустом (по-вашему: постпостмодернистом). Сплошной протонеадекват и самолюбование зарождающейся мегаломании (по-видимому, обусловленной изоляцией от «большого мира») с претенциозным эпическим подзаголовком «О становлении российского фермерства».

Длинное предисловие автора о рукописи, найденной в стене (во сне), и немного о себе

Скажу сразу, что вступление сие к повести сильно перегружено не только обилием малоизвестных фактов из жизни автора, но и всеразличными излияниями и отступлениями, что сделано намеренно и главным образом для того, чтобы как-то компенсировать простоватость изложения собственно повести. Посему нелюбопытным советуем и не читать.

...Бабушкин дом мне снится во сне. И я опять иду к ней и – о чудо! – она жива! Я говорю с ней, не могу наговориться – перебивать всем кости! – и мы сидим на крыльце, вечереет, холодает, кружатся мошки, жужжат комары, пахнет росой с муравы, помоями из кленовых посадок сбоку дома, полынью, лебедой, землёй, малиной, перезревшими огурцами и укропом, астрами, и ещё какими-то цветами, цветки которых распускаются только к ночи... Пригоняют коров, соседи загоняют скотину, прибирают подопревшее сено, пахнет тоже свежими коровьими продуктами – молоком, помётом, мочой и вазелином... подростки направляются в клуб... жарится картошка – ей тоже пах-

Об авторе:

nososos@ya.ru

http://ru.wikipedia.org/wiki/Шепелёв,_Алексей_Александрович

нет, и есть уж охота... а после и чай с малиной, с колотым сахаром-рафинадом... А пока «клюём» семечки... Точно, лучше этого ничего в жизни нет. Тотальная гармония мира, не далёкого, «бесконечного» и чуждого, а лежащего вот здесь – в двух шагах, прямо перед тобой, в поле зрения; а все мировые проблемы и конфликты, их суетливые глупые и жестокие люди и далёкие чужие города и богатства – всё это только в телевизоре, то есть понарошку; цивилизация, индустриализация и индустрия, работа и прочая бессмысленная и обесмысливающая пое.нь – всего этого нет; это для вас, допустим, едой является то, что взято не понять откуда, сдобрено не понять чем, тонко нарезано и примотано полиэтиленовой плёнкой к пенопластовой ванночке, и доступно после 8-го часов пертурбаций в метро, в пробках, на работе и т.д., а для меня было то, что урождалось, зарождалось от посеянного и политого тобой самим семечка и созревало на этой чёрной, живой, раскалённой-сухой-покалывающей-пятки днём и холодной-влажной-притягивающей-спину ночью чудо-земле прямо здесь же, у крыльца, огороженной от всего остального посережевшими шаткими кольями оградки да зарослями малины и глухой крапивы. Идеализированно немного, не взыскательно и не изысканно, но всё же.

Идеал, который во сне? Уж не думал, что я буду так мыслить. Но вернувшись (только года через четыре после её смерти я смог сделать это) в наш домик, я увидел то, что и ожидал: разобранная оградка, заросли американки, развалившееся, специально разбитое крыльцо, забитые окна (а потом доски с них оторваны), сбитый с петель замок, провалившиеся полы, вонючие ватные настилы в пятнах и разводах на пружинных кроватях, грязь и мусор, осыпавшаяся штукатурка, отставшие обои, паутина, жуки и пауки, запах табака и похотливого смрада – на стенах порнокартиночки, под кроватью – использованные презервативы... Мне тогда было плохо, и негде было укрыться. Я тогда лёг на кровать и захотел умереть – ну может быть, не совсем, но почти уже. Я решил не есть и не пить воды. Естественно, то, что я увидел, меня в моём намерении укрепило...

...Все знают, что я родился в деревне. От этого выпала мне достаточно трудная судьбина, ведь я всё больше понимаю (лет с 4-5), что всё-таки больше я писатель, а не фермер, а если характеризовать меня как человека, то одна из основных моих черт (если уж быть честным и отбросить всю шелуху благородных оправданий) – аристократизм.* Зато за счёт этого коренного противоречия я стал, как понимают теперь многие, и как понимаю сам, очень своеобразным автором, и как могут подтвердить немногие, кто хорошо знает меня лично, очень своеобразной, практически идеальной и при этом же во многом абсолютно несносной личностью.

Когда Андрей Улицкий в рецензии на мою книжку, включающую роман «Echo» с пятью рассказами, в качестве некого вывода написал про завершающий издание рассказ «Черти на трассе», что именно в этом тексте – по выражению критика, самом странном! – автору удалось достичь «единства игры и серьёза, пафоса и имитации пафоса, абсурда и реализма», т.е. явно посчитав сей текст последним из написанного, я конечно, позволил себе и усмехнуться. Дело в том, что названный рассказ вообще первый из того, что мною написано про людей – раньше, с 7 лет и до 16, я писал исключительно про котов. «Мява с Мурзиком друзья и решили сделать луки», – вот первое, что я написал (по-моему, в 85-м или в 86-м), а героическое сие повествование (в полторы страницы и несколько простых предложений крупным, но уже небрежным почерком) называлось «Робины Гуды».

Коты у меня (вернее, два главных героя – котят) жили в своём особом муляшняком мире

* Конечно, духовный, а не по крови, хотя, изначально они оба как бы едины, и если не считать вырождения кровного от большого богатства или сильной бедности, именно проявляются сами собой не понять откуда в каком-нибудь седьмом колене; и вот даже, как сообщили мне недавно, двоюродная наша сестра, учившись на истфаке в Пензе, разыскала там что-то в архивах, что подтверждает некую причастность нашей фамилии к знаменитой боярыне Морозовой, чья многострадальная судьба и есть довольно редкий и истинный пример синтеза обоих аристократизмов. Пожалуй, ещё более фундаментальным свойством моей натуры (впрочем, как видно, неразрывно связанным с указанным выше) является неким мистицизм в восприятии реальности, но не книжный, а натурально-стихийный, позволяющий и заставляющий в обыденном видеть иное, чем, естественно, я довольно рано начал пользоваться в своём художественном творчестве. Надеюсь, что в будущих произведениях мне удастся ещё более развить данную тенденцию, привлекая к этому, помимо прочего, интеллектуальные ресурсы.

– стране котов, в Королевстве кота-короля Янция. С ними ещё иногда участвовал только один человек, почему-то легко входящий в их мир – Шофёр, прототипом которого (как и с первых лет жизни в ежедневных играх «В кота и шофера») стал мой младший брат. Они и Русь от врагов защищали, и в космос летали, и в Китае и в Японии бились с ниндзями и т.д. Детских книжек я не читал, а бежал после уроков к «бабانه» – своей любимой бабушке (так я почему-то звал её, а за мной и все родные, – хотя она вовсе не Анна, а Елизавета, а бабушка по матери как раз баб-Аня, но мы звали её баб-Нюра), в крошечный домик в десяти шагах от ненавистной «бárды» (школы), ел покрошенную картошку с подсолнечным маслом и чесноком (другой еды почти никогда не было?!..), пил чай и усаживался на огромный сундук, поставив ноги на табурет, и расшторив окошко, разложив на коленях свои «причиндалы», писать очередную историю... Если кто-то приближался к дому – шёл к нам – я сразу забрасывал «писанину» за сундук. В сельской местности нет такой профессии – «писатель», зато в литературе понимают все. (С самого раннего-то детства я рисовал (сначала котов и ежей, потом богатырей, потом писающую на корточках Яночку...), но рисунки прятать от посторонних трудней; посему пришлось перейти на письмо – если кто зашёл, быстро захлопнул тетрадку, и всё.) Поэтому читателей (а вернее, слушателей) и критиков у меня за всё десятилетие было только два: бабушка и брат.

Однако, несмотря на все трудности моего развития (в 15-16 лет я ещё реставрировал и воссоздавал из пластилина котов, в которых мы играли с братцем с молодых ногтей, и писал всё про них же!!), жизнь не стояла на месте: лет уже с 12-14 появился такой персонаж, как некто Элблер Киссер, внешне срисованный с вокалиста группы «Модерн токинг» Томаса Андерса (а по темпераменту и статусу скорее с Элвиса), но соответственно, тоже кот, имевший титул не кого-то там, дворника, учителя или журналиста, а ни много, ни мало «король музыки»! И конечно, вскоре он начал вести себя неадекватно («звезда» как-никак! – хотя тогда такими понятиями в широком вещании никто ещё не разбрасывался!) – в основном, конечно, стал поддавать. У него завёлся друг-алкаш Кондрай – в честь местного грустно-прикольного одноименного прототипа, вскоре после появления двойника почившего в бозе от той же страсти. К 16 моим годам питье сделалось их основным введением (пили они почему-то исключительно бражку и барду, целый сериал историй вышел под заголовком «Сладкая барда») и главной темой моего юношеского творчества. А вскоре началось и в жизни... *

Приложение (ко 2-му Предисловию автора)

Только что вот обнаружил план анонсируемого произведения (клянусь, подлинный!) – двойной листок тетради с заголовком «Разработка «Рос. Диснейленда» – уж даже не ожидал, что тогда составлял планы! И что особенно поражает: по стилю он весьма сильно похож на планы Достоевского!! (Которого, естественно, я вообще тогда не читал.) Не поленюсь – приведу его полностью, чтоб потом и самому вместе с вами сравнить замысел с воплощением.

И ещё одна ремарка, навеянная обнаружением этого документа: работать с собственными старыми текстами и архивами очень увлекательно – наверное, так другие работают с чужими.

Итак...

КУН (Никулин или КУН – так звался главный герой в первой редакции. В настоящем тексте – Ган, Морозов. Курсивом современные пояснения.)

1. События заставл. его опускаться. Он деградирует (пьёт, курит). Кульминация бардэлей ** (штуки 3 описать), неотделим от Ях(и), Перекусов и т.п. (Знакомые всё герои-то!)

2. Мать заставляет его переосмыслить взгляд на жизнь. Резко бросает пить. (Одна из ключевых фраз упомянутого в предисловии – теперь послесловии! – написанного начала романа, произносимая героем дядей Генрихом (Геной): «Резко бросать нельзя!..» – хе-хе! :-)) Требуется. Распустившиеся Яхки начинают в пьяной ярости бить его, тут прибегают посторонние (которых развелось слишком мно-

* Вняв советам друзей и редакторов, я согласился перенести настоящее предисловие (исключая несколько вышестоящих абзаца и приложение к нему в виде плана) в конец, чтоб оно читалось как послесловие.

**Бардель – разнузданная пьянка, лихой кутёж, гульба. Не могу понять сам, диалектизм это или неологизм автора.

го во время кульминации) и избивают и Ях(у) и М-зу (*Мирзу, Мурзу, Змея*) (опис. так: подбежали: – Куна содят! А эти его друзья! След. глава нач. так: КУН проснулся – всё болит – на нём Яха, тут же М-за и т.п.) КУН (постепенно?) разгоняет бардель.

3. Весна. Сев. Серж (*мой братец, как и в «Наст. любви»*) у Сажечки. Сажечка упохабливает Белохлебова. (*Фермеры-компаньоны и родственники, а на деле первый батрак второго.*) Саж. на первом плане, все его лучшие кач-ва, идеализация, контрастность с Белохл. Суперидеализация (очень положительный) и тёплая ирония в его изображении. Раза 2 появл. Б(е)л(о)х.(*лебов*) как «фашист» (забрал зерно из элеватора и т.д.) и хапуга (ворует из полевого стана аккумулятор). Включены истории из прошл.(*ого*) о Сажечке (гонял мать, о его отце («такой же!», тюрьма, драки), «недавние» эпизоды (спал на земле и примёрз, «Я почти что хозяин!») и т.д. *Несмотря* на это он на высоте. (Чифирит.) Первоначально Белохл. «сделал из Саж.(*ечки*) человека», принуждение. Теперь Саж. держится сам. Он добрый, но *топорный* по сравнению с Белохлебовым-лисой.

4. Подвиг труда Серёги. Сажечка не заплатил С(*ержу*) за работу уже на его поле. Его фраза: «Я скажу, его иссодят». Блх. заступается. Разочарование Серёги. Хочет стать как Блхл., крахобором-ворюгой. Краткое сближение с Блх. И размолвка, ссора. Белохл. обвиняет С. в воровстве. С. знает имя вора, но не предаёт почти друга. «Падла». (?) => Решает действ. сам, полагаясь на родственников, видит в Куне брата, личность. (?) Препятствие выхода из колхоза. Собирает из стар. запчастей трактор.) Одна из главн. идей – чел-ку уже по св. природе нужна какая-н. зав-(*исимос*)ть – от чего-то (алк., нарк., курен., бытовых привычек, распорядка, работы) или кого-то. Некуда деть руки, некуда деть себя, держать себя в руках – и буквально, и в др. смысле. Ган пытается сознат-но создать себе завис-ть(*и*), которые лучше тех, что спонтанно мог.(*ут*) быть на их месте. Или использ. подручные – н-р, пьянство. Неск-ко другая – Стокгольмск. синдром, когда заложники «привыкают» и испыт.(*ываю*т) симпатию к террористам.

5. Контраст Ган – Гонилóй (*отриц. герой 1-й части*). Профиль, Фестиваль (*герой «Чертей на трассе» и «Наст. любви» под именем Жека*), Бай-май (*его брат*), Боцман (*тоже герой «Наст. любви»*), Карлик; Шлёпин (*тоже, кажется, упоминается в «Наст. любви» под именем Петрова*) (наступает беляк), Фома (знаменитый «*Фома-полутруп*» из той же «НЛ!»), Суслик (*также упомянут в «НЛ»*), Царёк, Владик. Прогрессивные: Буржик и Шывырёчек (деград. и душевная лучшесть).

6. Апогей. Бардели, состоящие из внешних героев. Предельный верх пьянства. Спали с откр. глазами, беляки («мотоцикл» и др.). Поездки в др. сёла с путешеств.(*иями*) ползком. Лазанье в школьн. погреб за картошкой, как у д. Васяни. «А сейчас мы вас иссодим...». Сожжение кота и Бегемота. (?! – *вот это наверно любопытно!*) (скачки по навозу). Приезд в упившуюся деревню (уехал пред.(*седатель*)). Ездили за бражкой на тракторе и снесли школьн. сарай.

7. Поездка на фургоне в др. деревню (с собой взяли Бадора(*шантажируемого учениками учителя, см. ниже*) для прислуги), рисовались (*до этого места зачёркнуто*), ехали за свиньями на дальн. ферму, прихватил председатель, обожрался вместе со всеми и с шофёром своим Дионисием Ивановичем; купание в 3 часа (*ночи*) и барахт.(*ание*) в воде.

Короче, как говорит один мой молодой знакомый, вечный скептик и вещный технократ, *богато*, замысел многообещающий, посмотрим теперь, что из него произросло.

3.

Г-н Белохлебов, первый наш фермер, решил прибрать к рукам соседнюю с нашим селом деревушку Моршановка, бывшую бригаду колхоза, со всеми потрохами: землю, сельхозтехнику, людей (собирал их заявления о вступлении в фермерскую ассоциацию). Учитель математики по прозвищу Бадор* выступил на уроках и в учительской, представляя Белохлебова в обличье кулака и тирана. Дочка фермера, пятикурсница-практикантка, учителька пения, рассказала об этом отцу.

Техника стояла у Белохлебова на задах. Под открытым небом. Тринадцатилетний Серёжка Морозов шёл к своему товарищу-однокласснику – он часто к нему ходил, по пути останавливаясь

* Бадор (бадорник) – сорная трава, заросли сухой травы, бурьян (диал.)

поговорить с фермером, или тот просил что-нибудь помочь.

Редкие снежинки плавно падали на землю. Как только они до конца спускались и прилеплялись к своим собратьям – тоже только что упавшим и какое-то мгновение покрывавшим проржавевшее железо тракторов, промокшие дрова, стог «сгоревшего» за зиму – и ещё так же медленно тлевшего и сейчас, где-то там, внутри... – сена, воду, снег, лёд и грязную чёрную землю, то ещё мгновение-другое существовали – да и то уже почитай за счёт того, что другие уже садились на них, и на самом деле наверно это были уже не они сами, а они, другие... Вот так и братец Лёня говорит, что какой-то философ заявил, что существует вид, а не индивид, и люди мрут как мушки без толку, не осознавая, а мой Ган с ним типа не согласен, и всё втирает, что его личность самая из всех фильдепёрстовая, что такие люди раз в сто, если не в тысячу лет рождаются! А он вообще круче и умней всех зараз – на-чём с того что, по крайней мере, у нас в ***ивке!.. Ну, ежели вот не считать дядя Лёню... А можть и Сажечку! Что-й-то он их сам-то через каждое слово тербит и всё выпрашивает, что да как!.. Снежинки вот *все* уникальные, а толку? Пойду-ка посмотрю.

Белохлебов со своим помощником родственником Александром Подхвятилиным, именуемым по-родственному не иначе как Сажечкой, кружились около трактора. Серёга направился к ним. Ещё издали он услышал, что Белохлебов ругается. «На Сажечку!» – подумал Морозов. Однако эпитеты явно тому не подходили:

– Чёрный! Муджахед шаршавый! Развели грузинов всяких!

Фермер кричал довольно громко и что немаловажно – прямо под ухо Сажечке, который про-двигал какую-то трубку.

– Здорово, фермер, – обратился Белохлебов к подошедшему Серёге и опять за своё: – ...пахаб-ный! чёрный! Вишь докатился: представлял меня – *меня!* Сука-сволочь.

– Ну он же самый продвинутый учитель – ему можно, – по ответу подростка было видно, что он догадался, о ком и о чём идёт речь. Улыбка его говорила о настоящей, как бы уже взрослой иронии.

– И опасная тварь, – загадочно прибавил Белохлебов и, в очередной раз удивляясь Серёге, подмигнул ему, нагнулся к самому уху помощника и начал перечислять старые эпитеты.

Сажечка даже улез под трактор, но Белохлебов, держась за раму, тоже весь изогнулся к нему, опять к самому его уху, и принялся громким басистым голосом орать:

– Серёжка, будешь фермером! Будешь, обязательно будешь. Будишь!..

Наконец Сажечка не выдержал:

– Чего ты взялся?!

– Чаво?! – паясничал Белохлебов, – что ты сказал-то? Я либо ослышался, а? – А теперь наоборот пристально-театрально взглянул на Сержа.

Сажечка не отвечал, только улез ещё глубже и принялся там усердно возиться и кряхтеть.

– Смотри сюда, когда с тобой разговаривают! – почти по-военному командовал Белохлебов, бывший прапор, «сундук», как пятнадцать лет его называли по месту службы, – а патрубок отпусти, хватит им стучать по раме – я-то знаю, что ты специально!

Александр Васильевич Подхвятилин, человек уж о второй жене и четырёх ребятишках, но росту исключительно невысокого и весь довольно-таки шуплый, как бы ссохшийся, с подчеркнутой покорностью вылез, отпустил патрубок на землю, сбрюзжил свое круглое красно-загорелое маленькое *лицо*, примечательное необычайными горизонтальными морщинами на небольшом в принципе лбе, надутыми и вечно обветренными, как у какого-то там Филлипка, губёнками и вечно недовольным общим своим выражением, начал что-то мять и шептать невыразимое исключительно для воздуха.

– Так. Я наверно, бишь, ослышался, да? – сильно переигрывая, повторил свой вопрос начальник.

– Ослышался... – как-то прошептал, почти пропищал Сажечка, сдавливая челюсти и незаметно скрежеща зубами.

Два фермера, как сами они себя именовали промеж себя, отошли.

– Я ведь тоже в курсе, – признался Белохлебов.

– У Гана моего идеи всё одни и те же: он просто посоветовал *тянуть*.

– Да и мне то же самое! Хотя за такое преступление – всё же надо в ментуру...

В это мгновение они оба вновь почувствовали, как и в другие многие разы, что каким-то образом действительно сейчас равны и откровенно на «ты», что непонятно, кто играет во взрослого, а кто в подростка.

– Ментура подождёт. Шантаж, конечно, дядя Лёнь, сам понимаешь, дело гнилое...

– Правда, Серёжка, правда-истина! А клевета?! Я его, чёрного, зятяну! Ты только, Серёж, начни, мне-то несподручно... А потом я как подключусь – он у меня враз побелеет!

– Или покраснеет, как Сажечка.

– Ага-ага, Серж, как Сажечка! Хуже.

С тем и расстались.

4.

«So I began a new life», значилось в записке, напечатанной Ганом на Белохлебовском компьютере – единственном в селе, которым *руководить* (термин бабушки) мог только один человек – он, Леонид Морозов! – и направленной по почте Бадору. Учитель, хоть в своё время вроде и учил английский, мало понял...

Уже все забыли про бардели в вагончике фермеров (тогда они были ещё арендаторы, а бабушкина родственница, тоже бабка, звала их «да эти... реакторы»!), да и дискотек давно не было по причине того, что на 23 февраля вся мужская половина «участвовала» (как писали потом девочки за мальчиков в объяснительных) в конкурсе «А ну-ка, парни!», и притом (это главное) все педагоги, глядя на них, только и думали: лишь бы не упали. И притом – это тоже немаловажно – уже известный нам ученик Губов кидался драться на директора.

Леонид Морозов опять провёл пару параллельных прямых, зная, что по нешкольной геометрии они всё равно легко пересекутся «чуть дальше» и, как он выразился, «объединил в систему два события». Чистейшая, по его же выражению, панк-математика:

1.Шантаж Бадорника.

2.Надо проводить дискотеки.

Перенеся из первого уравнения г-на Бадорника, он получил:

{Надо их проводить за счёт оного.

5.

Серёжка уже дважды посылал учителю письма с просьбой выделить пять тысяч «на общие нужды». Ни на что в них не намекалось, если не считать подписи: «Свидетель. Число такое-то, д. Моршановка».

Ган же послал ему письмо с заверением, что денег никто впредь требовать не будет, и что некое «другое письмо» отправлено «на хранение» кому-то «кому надо», и «в случае чего» будет незамедлительно переправлено «куда надо». «Большая просьба (Мы думаем, Вы догадываетесь, от кого) провести сегодня в школе дискотеку».

Старший Морозов был большим любителем вывешивать объявления.

Все знали, что санкции директора нет, но всё равно пришли. Бадорник, раздобыв где-то ключи от школы, как ни в чём не бывало открыл двери, настроил аппаратуру... Все были, как произносит бабушка, очень рады. Соскучились! Вроде бы и начали во всю прыть, однако пляска что-то не шла...

Ган призвал единственно пьяного одноклассника Яху (знакомому нам того ещё атитёктора*) и убедил его набраться наглости подойти к Бадору и послать его – учителя! – за самогоном.

* Атитёктор – так бабушка называла человека, склонного к мелочно-злобному озорству, подхалимажу, постоянно затевающего что-то неприличное, пытающегося всем напакостить, обвести вокруг пальца.

Учитель долго мялся и отнекивался, едва не теряя вслед за Яшкой дар русской речи, и искося поглядывая на Гана, сидящего чуть поодаль, тоже стреляющего глазами, но вроде как создающего вид, что он тут ни при чём. Никак не мог поверить, что его самый талантливый, можно сказать, любимый ученик докатился до такого. Но деваться некуда: бабушка говорит, в тюрьме есть резиновый мешок, в который сажают и бьют по почкам и по всему остальному. Вскоре Бадорник отправился по заданному адресу (думается, у него тоже была хорошая бабушка).

Два литра мутного счастья. Потом ещё пробежка до дому (благо живёт близко) – и «от себя» литровка ликёру плюс закусь. Ладно ещё б Морозов или Белохлебов, или даже Серж, а прислуживать всей этой шантрапе уж совсем унизительно!..

Все барахтались навеселе. Один наблевал. Ган даже попытался извиниться за своего товарища. Бадорник по привычке хотел распорядиться, но подскочил более красноречивый Серёжка с более живописно пьяным Губовым и тоном колхозного председателя или Белохлебова сказал: «Ну не мне же убирать! Иль можть ему?»

6.

Серёжка был действительный работник колхоза, правда, сам не знал, в какой должности. То им того, то им сего. Частенько всех вытаскивает из сугробов на машине или на тракторе, бесплатно консультирует по любым техническим вопросам, подгоняет какую-нибудь шайбу, прокладку, скобку... Все пьют, а он пока нет – вот и доставляя всех кто на рогах по домам – вместе с транспортными средствами. И им польза, и ему любимая практика.

Собрание было в субботу. Серёжка как колхозник присутствовал. Три председателя – вдумайтесь: три! – присутствовали на местах. Каждый из них претендовал на место председателя одного нашего бедного – но кое-что ещё осталось – колхоза. Г-н Белохлебов просто хотел получить бригаду. С района было самое начальство и десять омовцев с резиновыми дубинками. В школу набились человек триста. Скооперировались по группам поддержки – по сотне на кандидата. Активисты в дребедан, оченно многие просто припивши, науськанные, короче, навзводе. Возникла давка и заминка, и районное начальство объявило, что собрание не состоится «по причине отсутствия кворума». Начальство уехало, забрав ОМОН и «всю власть».

Началось троевластие, то есть безвластие. Один председатель провозгласил, что он начинает собрание «как положено». Те, кто были против него, матерясь, ушли. Никакого русского бунта – скотину ведь убрать надо до «Просто Марии»! Остались сподручники, коим были обещаны разные вещи, активисты, коим намекнули на водку, да пенсионеры, коим лишь бы поглазеть – может, у них телевизоры изломались... а точнее, своих-то у многих и нет...

Началась, как говорит бабья, кукольная игра. Его величество выбрали на пост, причём единогласно. Причём г-н Белохлебов снимал на камеру, а Ган ему помогал.

7.

В понедельник директор выступал на очередной линейке:

«Как же вам не стыдно? К школе подойти нельзя! Вчера... то есть в субботу, тут происходило собрание, много людей стояло у школы... Все председатели, с района начальство... А тут такие вещи валяются на каждом углу – даже мне стало стыдно за вас!..»

Ученики только смеялись (почти вслух) и не испытывали ни малейших угрызений совести. Под словами «такие вещи», если вы не поняли, скрывались не презервативы, как это заведено по обычаю, и даже не блевотина, а ещё кое-что более существенное...

Однако директор, как ему казалось, повода для смеха не подавал: «Я решил вас наказать: больше дискотек не будет до конца года, а при повторе подобных обстоятельств может даже и выпускного...»

На это заявление ученики отреагировали весьма своеобразно.

8.

2 марта 1994 года.

Белохлебов опять крыл Сажечку.

– Куда ты дел проводки?!

– К-какие проводки? – как-то без выражения недоумевал помощник, грязными ссохлыми ручонками перебирая болты в коробке.

– Какое спокойствие! Ты издеваешься?! Куды ты их дел?!

– Кого? Не знаю никаких проводов.

Подошёл Серёжка.

– Чё ты, дядь Лёнь, его теребишь опять?

– Да вот этот вот l'esprit profond сдябрил провода от аккумулятора и не признаётся.

– А что это «профонд»?

– Профан по-нашему, – подмигнул Белохлебов и укатался.

– А ты что, дядь Лёнь, французский знаешь?

– Да всего помаленьку. Приходится вот, Серёж, и не такое изучать... – неудачно соврал Белохлебов. А догадливый Серж подумал: теперь «Пуаро» на кассетах купил. Хотя, как оказалось после, тут он всё же ошибся: Ган сказал, что сериал английский.

Сажечка по обыкновению зарылся (на этот раз в болты) и как бы для создания фона беседы фермеров как кот проурчал: «Заколебал ты своим профаном».

Белохлебов подмигнул Серёжке и нагнулся, как в тот раз, к Сажечке.

– Так, давай проводки!

Сажечка даже вздрогнул, а Белохлебов опять рассмеялся – видно было, что занятие сие доставляет ему удовольствие.

– Какие проводки? – прошептал коленопреклонённый на сырой земле и неказистой промасленной тряпке работник.

– Красный и зелёный. Соединяли генератор и аккумулятор!

– Да не видал я их!

– А я знаю: ты взял!

– Я не брал.

Поражаясь выдержке своего подчинённого, главный фермер опять захихикал и наклонился теперь к Серёжке: «Кхи-кхи, я знаю, что это не он – но уж больно чудно...» Затем вернулся к Сажечке и принялся наянно настаивать на своём, упоминая даже про какую-то бомбу, которую «себе на уме» помощник якобы тайно конструирует, и наконец Сажечка не выдержал:

– Ладно, щас принесу!

– Давно бы так.

Предмет насмешек ушёл, даже почти не оставляя следов по свежему пушистому снежку.

– Что там у вас нового в школе? – поинтересовался фермер, шурясь, смахивая снежинки с ресниц и сдувая их с носа.

– Да ничего.

– Как ничего?!

– А! – как будто только что вспомнил «второй фермер», – Кенарь дискотеки отменил. А у моего соседа – и твоего соседа – Драбадора, хриплого деда, корова вот подохла...

– Ну и!.. – не терпелось фермеру.

– Докладываю, – рапортовал Серёга, сначала пародируя директора, а потом совсем забывшись от веселья пересказать такую небывальщину. – Учащиеся взяли вечером кишки и приволокли к порогу учебного заведения. Началось подбрасывание их кверху. Кончилось оно тем, что кишечник повис на трубе для крепления флага, как раз заслонив надпись «***ивская средняя»! Когда было собрание, снять ещё не успели, и Кенарю от начальства сказали: вы что, мол, тут развели. Он принёс стул, встал на него, тянулся-тянулся – все мужики удохли – так и не достал... Потом призвал куржопого. Бадор, этот хоть и побольше, тоже не достал, пока Кенарь не принёс швабру, сам залез, а когда сбивал – велел тому ловить. Ну он и поймал! Все в покат лежали. Бегом побежал кишечник относить, а потом домой поскакал костюм менять!

– Кхе-хи-кхи-хе! Кижечник! – искренне увеселялся Белохлебов, – жалко я не видал!

– Короче, дядя Лёнь, дискотек больше не будет, – грустновато подытожил рассказ школьник, как бы ожидая реакции старшего.

– «Не будет»! Надо будет – навозу наплунжерим, не то что кижечник!

«Как-то абстрактно», – подумал Серёга.

Вернулся Сажечка с проводками – как провинившийся Хрюша из передачи «Спокойной ночи».

– На...

Белохлебов едва сдерживался от смеха.

– Я так и знал, что ты взял!

– Это мои...

Оттолкнув от себя Сажечку «как кобеля», Белохлебов отвёл Сержа в сторону для некоей конфиденции.

9.

7 марта

Под конец официального мероприятия – как всегда убогих, но зато крайне благопристойных посиделок с чаем – в школу стал подтягиваться совсем не тот контингент, и уже в соответствующем настрое. Многие говорили даже о том, что вычитали в объявлении на клубе, что будет бесплатная дискотека с бесплатной (особо подчёркиваю!!) выпивкой и закуской. Организатором мероприятия выступает, конечно, ни в коем разе не администрация школы, не какое-нибудь Районо, и даже не благочестивые наши фермеры-благотетели (ради ухода от налогов окашивающие края дороги в богадельню и считающие, что это достаточная индульгенция если не «на долгие года», то «на сезон» уж точно), а вполне уже себе известная фирма «Российский Диснейленд».

Ган стоял на входе – как будто просто так, а сам как бы принимал гостей. Каждый, даже из самых матёрых, подходил его оздоровать и что-нибудь спросить. Родители и учителя сталкивались с недоумением (их чуть ли не выпроваживали) и – с встречным потоком...

Минут через двадцать он, в первый раз в жизни покуривая в школьном коридоре (сигарету своего любимого «Лаки Страйка»), прошествовал в центр его – словно директор перед линейкой, даже изображая Кенареву приземисто-осанистую походку и украшающую оную несуразную отмажку ручкой – и, картинно затормозив и прищёлкнув пальцами, провозгласил: «Маэстро, музыку!»

Возникло превратившееся в рефлекс «Но-но!..» – завсегдашняя «первая песня с первой стороны». (Техно-ураганы группы «2 Unlimited» – конечно, не так романтично, как «Модерн токинг», зато драйв и позитив – для барахтаний-то самый насос!) Все пустились в танец: невольно вытеснив виновниц торжества, на манер какого-то обдолбанного боксёра из боевика вода в воздухе кулаками, выпятив грудь, расставив ноги и попеременно в такт музыке их выставляя, вихаясь всем корпусом, неизменно соблюдая ритуальный круг...

Сделав «Двойной беспредел», публика запыханно замерла, видимо, подумав о главном, тут Ган махнул Бадору – потекла медленная композиция «Ю-96», и далее, как и ожидалось по логике веществ, последовал властный приказ: «По стопке!» и их раздача.

Учитель, тоже видно недавно вкусивший знаменитый роман «Мастер и Маргарита», решил, что «не так уж это и зорно», и принялся за своё несуразное дело не без энтузиазма и артистизма. Притаив, словно свечи, огни светомузыки, он, в своём блестящем («блистющем», как прозвали ученики младших классов или, по версии старших, «бляцком») костюмчике – что твой Амаяк Акопян, только без чалмы! – Бадорник показался из учительской с огромным подносом в руках. Слегка пританцовывая, он обносил всех присутствующих, пытаясь не споткнуться, раскланиваясь, кивая, как китайский болванчик, и вежливо предлагая водочку и бутербродики-канале, которые полшкольники наши почему-то сразу назвали кашпо. (Да и известно почему: сам он привёз в деревню много давно позабытого нами энтузиазма (вёл кружок фигурной резьбы по дереву), в том числе особенно много оно и спортивного даже азарту от супружницы своей – с непропорционально толстой задней частью ея повадившейся вести шейпинг, а заодно и научить всех вести себя в обществе – и даже на дискотеке (всё это под эгидой «Этики и психологии семейной жизни») – и плести эти самые кашпо. Но однако вот у ребят же оказались иные увлечения...)

Первая партия – 25 стопок по 50 и 20 бутеров – разошлись мгновенно. По своему плану он хотел было на этом и завершить (ну то есть первый этап, «после первой песни»), но даже самые мелкие и приличные при свете дня ученики напомнили своему «странному-иностранному» учителю (хотя он давно обрусел) любимую русскую застольную приговорочку. Пришлось сразу вытащить и поднос №2, и №3, и даже №4 и 5!

Когда Бадор по указке Сержа толкнул заснувшего на подоконнике г-на Губова (облагорожено прозывающегося Губов-Шлёпин, а в простонародье просто Шлёпа) и вместо всего своего «особо вежливого» сказал ему (несомненно, из гуманных побуждений: чтоб человек понял с пьяных глаз) простецкое деревенское: «Будишь?», тот взревел и зафутболил ногой по подносу.

Сие, конечно, стало последней чашей и каплей преткновения. Бадор даже выключил музыку, «всё бросил» и, сильно хлопнув дверью учительской, скрылся – собираться домой. Туда же следом вошли братья и ещё несколько людей из их братии. Ган демонстративно набрал номер – не длинный, не короткий, а так, средний...

– Аллэ, милиция?

– Так точно, – отвечал на другом конце провода уставший голос Белохлебова (в деревне расстояния короткие, поэтому из трубки слышно и посторонним), – дежурный, лейтенант Петров, слушает...

– Да вот у нас тут один человек преступление совершил...

– Так. Фамилия, где, когда... Откуда вы звоните? Назовите адрес!

Поймав злой взгляд учителя, Ган положил трубку, деловито-валяжно закуривая.

В следующий момент тот бросился на ученика, но его быстро прихватили специально для того приглашённые рослые товарищи.

– По черепу что ли сыграть?.. – задумчиво произносит Морозов, постукивая пластиковым молотом по зелёному наглядному черепу на подставке. Странно осознавать, подумал он (мысленно почему-то представляя, что это говорит ему Серж, а он слушает, поражается и смеётся), что у тебя тоже такой есть... У Яхи, Швырочка и Сажечки – маленькие черепки, и когда их найдут археологи, будут говорить, что ещё и в наше время жили неандертальцы, а то и питекантропы (если скелеты Папаша и Шлёпы!), а у Кенаря черепная коробочка уж какой-то неправильной, или как ему самому кажется, *особо правильной*, основательной такой формы, как голова у Винни-Пуха из советского мультфильма!.. а у Бадорника – с усами! Кхе-хе!..

Видно было, что он сам поражается своей психологической проницательности, наслаждается поражением противника.

– Давай мы лучше ему по печени сыграем! И по почкам! – с готовностью выступают наёмники, заламывая руки учителю.

Серж смеётся, тоже довольный, даже больше всех, а Бадор проклинает себя, причитая себе под нос, потом берёт очередной поднос, потом ещё...

то (бывш. II)

Короче, своего любимого Пуаро Бадорник так и не посмотрел.

Да и что говорить.

А на другой день всё повторилось. Известно ведь издревле: повторение – мать (нужное подчеркнуть несколько раз!):

- обирания,
- обдирания,
- обжигания,
- обжимания,
- обмирания.

Это всё конечно да, но особенно-то, конечно же, обжирания!

Правда угощение было уже поскромней – бедный учитель (а где вы видели богатого, щедрого учителя, и чтоб он не ныл об своей зарплате да и не списывал на сей счёт добрую часть своей вредоносной профдеятельности, а может вернее даже – бездействия!..) уж что называется «вынес из

дома последнее»: палку сухой колбасы и многолитровую банку квашеной капусты.

Публика-то, честно говоря, подобралась, как говорят её бабушки, нескобежливая, а вот Морозов старшой-то ещё прям с детства, как выражаются мамы, имел столь чуждые своим среде и происхождению аристократические замашки, и в первую очередь в еде. А Серж имел, как мы знаем уже, затей. Короче, за неимением яств, Бадорнику постоянно пеняли: мол, скатерть вся обляпанная, надо бы новую... И он несколько раз вынужден был летать до дому, пока не принёс их оттудова целую пачку тряпок, чуть ли не штормовых и простыней – и так застилал стол 11 раз («Если же и к 11-му часу ты опоздал...», повторял он про себя что-то из случайно услышанной по ТВ пасхальной молитвы), пока уж трапезничающим не стало всё равно!..

Наш Яха, достигший 16-летия врождённый атитёктор, обукался настолько, что уже что-то на-зывается не барахтался – или как он сам переименовывает данный общеизвестный морозовский термин: «Ни магу параться!» То есть ему очень хотелось танцевать, но он весь уже пообмяк и не мог управлять собой, а током вяло шатался и болтался, едва держась на ногах. Повторим, что весь вид его выражал энтузиазм выразить себя в высоком полёте искусства танца – целлюлитом, он как прочие, прости господи, не страдает, а всё туда же – показать и выразить себя – посему и приземлился вскоре на копчик. Хорошо, что не на самый его кончик, да и благо анестезия.

(Но дальше-то, ей-ей, будут у нас пируэты и приземленья пожестьче!)

Серёжка указал на него г-ну местному секьюриту и половому как на вопиющее упущение.

– Не понял я! Гля: на полу валяется – а вы всё курите! – неожиданно выпалил Серж, имитируя знакомую интонацию Белохлебова.

Бадор как бы застыл, не зная что предпринять.

– Человек непьющий, хочет улучшить свои ощущения! Давай, барахтай его! – прибавил ученик.

– Извините?..

– Параться!!! – заорали все, кто мог, удыхая, в том числе и кое-кое-как поддакнул с полу и «виновник торжества» Яхо. Он только валтузился и вякал-икал – как-то даже жалко было на него смотреть.

– Поднимай, во-во, и давай управляй им, а я тебе буду подсказывать, суфлировать, – входил в азарт Серж.

– Вафлировать!.. – отозвался намного более крепким вокалом тряпичный, и кукловоду ещё повезло, что сразу после подъёма рывком и пары резковатых движений его подопечного вырвало, за счёт чего и произошло не менее рывковое переключение темы.

Музыка играла. Часть гостей сидела за столами, часть барахталась, но увидев содеянное, многие завякали – кто по правде, кто для пародии, причём последние явно перестарались... Всё это, конечно же, было уже явным намёком тому, кто тоже так же должен был их обслужить, – он уж стоял полусогнутый и с закаченными глазами с ведром и утиркой над изгваздавшимся, матерящимся и отплёвывавшим колбасно-капустные хлопья Яшкой...

– Будешь параться? – спросил Серж у Яхи. Тот мотнул вперёд кудрявой головёнкой с потухшими глазками и совсем обмяк.

– Давай его. Пусть вихается как положено, – приказал и Морозов.

– А этих кто обтирать будет – я что ли? – раззадорившись, наперебой озадачивал его и младший.

Под конец вечера Бадорник принуждён был обходить всех по кругу, улыбаясь и раскланиваясь и проговаривая: «Извините, не желаете стошниться?..» Отвечали ему не очень вежливо, все харкали в ведро, явно стараясь самой харкотинной попасть ему на лицо, а особенно конкретно – в усы.

А что поделаешь: говорят, в каталажке мешок резиновый есть. Бабушка рассказывала: довелось ей как-то в городе побывать в участке, и тут заходит такой краснорылый детина и, запыхавшись и дыша чесночищем да перегарищем, спрашивает у минцанера: «Начинать?!» А тот улыбается: шас, мол, женщина уйдёт, и начинать. А тот уж томится как бы, мнётся весь, потирая кулаки: шас, шас начну!.. А что это у вас, она говорит, я спрашиваю. А он грит: ща в мешок резиновый пасодим, шоб не видал, хто бьёт, и давай.

Вот так вот оно.

II.

Расходиться, конечно, никто уж и не помышлял, а вот по нужде пойти на улицу кто-то ещё сподобился. И из-за прославленного своими метонимически с ним сопоставленными делами угла школы был увиден на фоне кроваво-красного и чёрного горизонта зловещий силуэтик директора (распознан, как вы понимаете, по характерной походочке с отмашечкой).

– Ребзю, атас! Кенарь!

Официант, собиравший уж посуду, ажник уронил её и что-то расколол об свою полукапустную банку-бутыл.

– Бей посуду – я плачу! – воскликнул Морозов, толкнув неуклюжего пяткой под зад, так что тот куртыхнулся вбок, проронив последнее, а сам Ган от этого грохнулся назад вместе со стулом.

Все, кто ещё отчего-то и почему-то пребывал не совсем на полу, вмиг очутились на нём, в буквальном смысле слова укатываясь.

– Клим Самгин, блять! Давай самогон, гандон! А то щас «и начистила ему ейной мордой!» – как ни странно, литературную аллюзию произнёс, отплёвываясь и трепыхаясь и угрожая каким-то крошечным засохшим-затоптанным скелетиком от рыбы, ибупрофен наш атитектор – и двоечник! – кудрявый Яшка. Гану очень понаравилось; из других, кажется, тоже кто-то понял.

Призвал своего сотоварища и одноклассника Мурзу (Мирзу, Змия) и велел сопроводить учителя и сектанта в нелёгком деле непущания Кенаря.

– Давай, Витёк, мочи и поскакали! – нахлобучил тот учителю хрущачино от зелёного свекольного змия. – Я из Хасывьюрта – и ты из Хасывьюрта.

– Я не из Хасавюрта, я только там был. И у нас пьют только виноградное вино и коньяк хороший; я не пью вообще...

– Рая!!! Запарил!! – заорал, прыская слюной, что твой доктор Ливси из мультика про остров сокровищ, маленький зубастый Мирза. – Свекольное вино – белое, полу... сладкое, с сахаром ещёща... хгм-ха!... Теперь вы!

Пока тот отфыркивался в усы, энтот ещё успел (походочка у Кенара-то основательная!) выскочить с порога школы и сорвать с клёна палку, на которую – «пряма перед носом начальства!!» – школьные двери чудесные и закрылись как сами собой изнутри.

Как только директор начал произносить текст и что есть мочи стучать и дёргать, а учитель, пуская слюны в усы (иль ему обплевали всё же?..), кое-как удерживающий двери за счёт корявой тонкой кленовой палочки и даже упирающийся время от времени ногами, пьяно-утробно ворчать: «Больше нъ мьгу», Змий наш, раскуривавший самокрутку из самосада и какого-то школьного объ-явления, сталдохнуть уж и до нехорошего – что называется «в слюни», с задыханиями и жёсткими спазмами.

– Кто тут? Это вы, Александра Петровна? (уборщица). Выходите сейчас же! – то есть откройте! Я вижу: свет горит! Откройте! – кто там держит дверь?!

В периодически возникающую щель Мирза ещё успел выбросить окурок, угодивший Кенарю в лоб. Ну это ещё чё – чрез мгновенье ветка перехруснулась, и Бадорник угодил в тот же лоб своими усами, и оба они покатались кубарем; а потом ещё не раз взвоились на обледенелом пороге, пытаясь с него одновременно встать и в то же время удушить друг друга да не дать то же сделать один другому.

Успев над схваткой проглотить и прокашлять ещё одну козью ножку, Мирза пошарил в полутьме раздевалки и нашарил там своими несуразно несоразмерными глазищами какой-то завалёный пояс от чьего-то пальтишка.

– А ну, Витёк, Рая!! – кликнул он учителей.

По-видимому, хмель и усталость возымели своё действие над человеком: отупевший Бадор де-ржал директора за кисти рук, не допуская его схватиться за ручку двери, и что-то фурычел.

– Ну, Рая, пхни его, Витька!

Воспользовавшись паузой отвлечённого учеником внимания, Бадорник быстро как-то пере-хватился, а потом обеими руками толкнул директора в грудь.

– Быстренько! – скомандовал Мурза, закашлявшись, как чахоточный.

«Мы фигачим каждый день...» – напевал он, набивая трясущимися руками очередную самокрутку – с собой для этих целей у него носилась баночка из-под гуталина.

Первый парень на весь край,
На меня все бабки в лай –
А-а-а, ну и няхай!..

«Сектор газа» – самопальная музыка, идущая не откуда-то оттуда, издалека, а от простых воронежских (соседских) пацанов, у которых просто есть время, инструменты и нормальный магнитофон для записи, а напеть-то это может каждый! *

И от себя что-то вроде баю-бай:

Рая, Рай!..

Вскоре директору надоело слушать и дёргать, а может быть, он вымок уж не только от валяния (тоже весь извалтузился!), но и от дождя со снегом.

Главное, чтоб милицию не вызвали, подумал Мирза и запел опять (если это заунывно-гнусавое завывание «под «Сектор» можно назвать пением) – что-то про потусторонние часы, которые пробили не сколько-то там раз, а прям сорок кряду, и мутантскую, видимо, кукушку, которая «гаркнула в трубу», да что-то социальное – про «наш тамбовский рупь».

12.

Уже в полночь Леонид Морозов, успокоив гостей вновь посланным за сэмом-гоном гонцом, взял себе стакан и два мандарина (откуда оне?!), ключ и ушёл в биологический кабинет, пообещав публике и спонтанно образовавшемуся распорядителю Мурзе, что через сорок минут придёт поужинать с ними и плясать.

Зашёл в класс, сел на парту, стакан поставил подле себя.

Всегда что-то делаешь, хочешь добиться чего-то, высокого, недостижимого... Но иногда бывают моменты, когда возвращаешься на землю, понимаешь, что ты неудачник, и все твои действия ничтожны, мечты несбыточны, желания – грязь и пошлость.

Леонид Морозов понимал, что он не классический «первый парень на деревне» или «на весь край», как в той песне, но считал себя всегда, да и ставил частенько, выше других – уже давно принял на себя роль некоего предводителя всей бражки, хотя и как бы негласного и неофициального, почти что теневого, а как бы получалось – идейного вдохновителя, подстрекателя и зачинателя всех не имевших практического смысла и пользы дел.

Леонид Морозов был выбит из колеи, что за последнее время с ним случалось довольно часто. Вроде бы всё о'кей, ты на высоте – *в этом мире, среди этих людей*. А что эти люди? Они тебе не ровня... хотя перед Богом все равны...

Лёг на спину на парте, замер, рассматривая едва уловимые, расплывчато-инфузорчатые тени от хлопьев снега, которые транслировались светом от не так уж близкого фонаря у магазина из высокого окна.

Почему именно я должен ворочать этими грязными делишками? Шантаж, унижение личности... пьянство, наконец! Почему бы мне как каждому из «гостей» не прийти на готовое, поесть-попить, побарахтаться и обвахалиться в своё удовольствие?! Нет, господа-товарищи, я такой человек!

* Можно продолжить, что «СГ» – своего рода музыка нового русского фольклора, ещё чуждая как слащаво-прилизанной синти-попсы, так и так называемого гламура, как политкорректной (якобы антиполиткорректной) патетики рока, так и уё.ищно-казнокрадской романтики шансона. Может быть, это один из первых образцов того, что автор этих строк назвал в 2007 г. термином «гломур» – произведения искусства или имиджевые факты биографии, в которых совмещены в сущностном единстве элементы гламура и антигламура. Так, говорят, например, о гламуризации личности Ленина или Гитлера, но это постфактум-процесс, а если бы они жили в наше время, то, скорее всего, сами использовали выработанные современной медиа-индустрией законы массового восприятия личности. Типичный представитель – Мэрилин Мэнсон.

типа чудака из рассказа Шукшина. Что, мне нечем заняться?! Я ж как-никак талант, творческая личность! Читай книжки, смотри фильмы («Самые громкие преступления XX века!»), рисуй, пиши стихи и прозу!.. А он – знай себе! То этот бардяный колхоз (хотя сейчас и к нему не подхожу), то своё хоз-во (извоз!), то теперь вот фермеры... Это, конечно, дело нужное, без этого нельзя: деньги-то надо зарабатывать. Хотя, в бордэль, год на видак не заработаю... вместе с Сержем! А естся одна картошка... Да пьётся стаканище вонючищий – уже тридцать третий раз!..

Ган привстал, потянулся к соседней парте, взялся за стакан, и, соотнесясь со своим полувидимым отражением в стекле, опрокинул его. Проморщился, отплевался, выделив одну дольку, закусил.

...Я человек-оригинал, хотя хвалить вроде себя и нельзя, но кто ещё похвалит... Опохабить – это у нас навсегда. Замнут, раздавят, и сам сгорбатишься – не успеи и разогнуться как следует!.. Мой прадед пахал, дед пахал (передок у трактора подымал, хвалясь пьяною силой своей!), отец пашет, и я начинаю, втягиваюсь, как говорят...

Да мне уже третий месяц шестнадцать, а я к девчонке ближе чем на два метра ни разу не подходил! Даже танцевать пригласить не могу – даже Яночку! Глупой, они того и ждут! А может и нет; я же зачмырился и вид-то у меня наверное ещё тот... извиняйте... Профан-недоучка. Профан и дуб, как есть. Дуб-жёлудь!

Кто-то, тихо открыв и закрыв дверку, вошёл. Морозов очнулся как ото сна и приподнялся, мотая головой. Кристина.

– Что ты тут лежишь-то, Лёнь? Пойдём танцевать.

Ган вновь завалился. «И откуда тут бабы-то взялись – их же не было вроде?.. Да и поздно уже... И дверь я вроде бы запираю – неужели забыл?!» – несло у него в мутной голове, свисавшей с парты, и видевшей картинку Кристины вверх ногами – как когда-то ещё в старом клубе пьяный киномеханик «широкого профиля» (получивший за это извечную кличку Профиль) пьянивший застряжал бобины киноплёнки, забыв предварительно перемотать... и, на минуту бросив семечки, ему из зала орала в окошко завклуб: «Палыч, вверх ногами!»

Девушка принялась причёсываться перед стеклом шкафа и оправлять мини-юбочку – наверное, для Лёньки. Всё с расчётом – ничего, ведь смотрит. И поправит, и ногу подымет... Но Леонид никак не проявлял своего внимания – «ему не до этого» – ему всегда не до этого!.. А ведь симпатная девчонка! Просто не может он с ними...

– О, какие красивые рыбки! – подошла она к еле-мутно мерцающему аквариуму. – Похожа я на рыбку?

– Пошла ты в ба-арду!.. – протянул Ган безразлично, откинувшись – обмякнув совсем.

Пошла.

А он после встал, включил свет и хотел было выключить опять и насладиться её образом, но запереть класс не получалось (замок прокручивался), да и не было уж настроения, было совсем противно, совсем уж *совсем*...

Он достал из широкого кармана своей любимой камуфляжной ветровки блокнот, который почти всегда носил с собой. Уже почти три года назад начал писать роман, и с тех пор... короче, много всего уткло... Читать свои произведения для него всегда было занятием неоднозначным, неприятным и разочаровывающим, но когда-то это надо делать – к тому же другим путём на вдохновенье в наше время и не выйдешь...

Кто и что может вдохновить?!.. Бардели эти, Бадорник, Мирза, Яха, Кристина?!.. Яночка...

13-epentheticum.

(Рх-фкбр лх-быиикъ, эту главку в 2007-м посвящаю тебе!)

Russian Ninja

План

1. Описание места действия.
2. Действие романа (первое). О характере Леонида.

3. Критика обывателей и некоторых критиков. Второе действие – следствие первого.

Гл. I.

«Садись, очень хорошо, – одобрила учительница, – к доске пойдёт...»

Звонок прозвенел на три минуты раньше. Тщетно литераторша А.П. призывала записать домашнее задание. Дверь чуть ли не была выбита, все девять (!) учеников вылетели из класса.

Леонид со своим товарищем Мирзой зашагал по коридору родной школы. Да уж, тут не так, как в городе – во всей школе 120 человек! Но тем не менее, жизнь кипит: все куда-то спешат, девочки несут пробирки с какой-то синей жидкостью, торопятся учителя с пачками книг и плакатами подмышкой, резвятся малышня, ребята играют в пинг-понг, двое содят Кукса...

– Смотрел вчера по телеку фильм? – спросил Мирза, еле поспевая за Леонидом: он был намного ниже друга.

– А, смотрел. Как они там дрались!

– Да, нам бы шас так! Он ему на!.. А тот саблей как полоснул! Не, а такой, в чёрном, ка-а-ак дал! Кия!! А он...

Мирза прервал изложение краткого содержания фильма: у дверей класса, куда они шли, стояли *Трое*.

Это была шайка. Все из 11-го класса, на два года постарше Леонида и его друга. Это Жека Тургенев по прозвищу Брюс, переключенный от питья Шлёпа и «полууголовник», как называли его учителя за какие-то недоказанные органами проделки, Лёха, по кличке Лёха Красный или Папаша. Короче, все проворные ребята, ходят «качаться» на тренажёрах. Брюсу наверно больше подошла бы кличка Арнольд: мускулы так и рвут майку. (Хотя мочится он с быстротой Брюса, а Арнольд-то один вид!) А у тех двоих – у обоих абсолютно неадекватный взгляд: один алкоголик, другой садист; что они делают в школе, а тем паче, в 11-м классе, для всех загадка...

Но вернёмся к нашим событиям.

– Э-эй! Чё ты замолк-то?! «Как он его кия!» А ну, ходи сюда! Ты, ты, иди, иди. Думали, сегодня увильнёте?!

Мирза остановился, стал отступать назад. Брюс пустился за ним, схватил за шиворот и бросил на дверь класса. Пролетев метра два, ученик распахнул своим телом дверь и приземлился уже в кабинете истории рядом с изумлёнными учителями.

«Ты чего врываешься-то с такого разгона?! Аж упал, бедный! Всё, завтра родителей!»

А Брюс занялся Леонидом.

Удар был силён, но Леонид попытался заблокировать его рукой. Тут вмешались ещё двое. Пару ударов ногой «с вертужки» низкорослого, но прыгучего Шлёпы Леонид блокировал ногами (да, он неплохо ими работал!), но сзади неожиданно обрушился удар Папаши – видимо, тоже ногой – по шейным позвонкам, и он упал, едва не отключившись совсем. Поташили подальше в крыло коридора. Леонид сопротивлялся, заехал Жеке в морду. Тот дважды ударил его в живот, и по почкам сзади; в пинки долбили Красный и Шлёпа.

Прозвенел звонок. Весь помятый, Леонид пришёл в исторический кабинет. По истории он получил «четыре»: настроение, мягко говоря, уже не то, чтобы получать пятёрки! И такая побардень – каждый день!..

Пункт 2.

Леонид Морозов – незаурядная личность, умный, принципиальный и в то же время весёлый человек. Учится отлично, но отнюдь не отличник-очкарик, каких изображают в детских фильмах. Он самолюбив, малость грубоват. К сожалению, не имеет такой мускулатуры, как у Брюса.

Пункт 3.

Начало неплохое. Конечно, учеников в классе можно было б и прибавить, ведь не всё же должно точно соответствовать действительности.

В пункте 2 сказано, что герой умён, незауряден, очень хорошо учится, а в гл. I он увлечён

беседует с «дубовым» Мирзой на таком же языке о какой-то, извините, побардени... Это свидетельствует о его, извините, «дубовости». «Как они там махались!» – это мог сказать не отличник, а какой-нибудь хулиган вроде Брюса и его парней.

Друг Леонида меньше его ростом, его бьют, а Леонид стоит. Ждёт, когда очередь дойдёт до него. Последние слова «И такая дребедень – каждый день!» ясно дают понять, что описанное повторяется чуть ни ежедневно, а Леонид, личность, терпит... Да кто ему не даёт посещать спортзал и «качаться», как это делает Брюс и его компания?!

Гл. II.

Учитель географии объяснял урок, что-то про размещение каких-то ресурсов по территории России. Леонид его слушал, но не слышал. Не сказать, чтобы ему было интересно, но и не сказать, что неинтересно совсем, и географию он, хоть и не сильно, но любил.

Он ничего не слышал потому, что смотрел на одну девчонку, Яну. Она училась с ним в одном классе, всегда была рядом... Лёне она понравилась, как нравятся девочки, ещё во 2-м классе. Сначала чувство было взаимным, а потом... Девочка повзрослела. Многие из вас знают, что за этим следует: на неё обратили внимание другие, ребята постарше, вроде Брюса – хорошо, что Брюс её брат... И она тоже обратила внимание на других...

Но Леонид не сдавался. Он не был настойчив, не приставал, как некоторые, не хвастался, не кокетничал – просто созерцал её красоту.

Яна Тургенева родилась в год Змеи, на год старше Леонида, значит, в школу пошла на год позже него... И она красива, но красота её не классическая: стройная фигура, чуть-чуть побольше, по объёмней бёдра, но это не придаёт её фигуре дисгармонии, а напротив только украшает. Короткие тёмно-русые волосы, собранные в пучок сзади, прекрасная чёлка, нависающая над глазами, не яркие, но выразительные по своей форме губы, как будто специально предназначенные для сладкого поцелуя, прямой, может, даже чуть с горбинкой нос, не портящий общего впечатления, карие глаза, в которых печаль, страсть, любовь, вольнолюбие и апатия – апатия к жизни.

Между тем урок подходил к концу, и учитель географии спросил Лёню, какие факторы влияют на размещение объектов чёрной металлургии.

Леонид, конечно же, не ожидал вопроса. Впечатление было такое, что его разбудили после сладкого и продолжительного сна. Он встал, весь класс обратил свои взоры к нему.

«Слушаю вас», – обратился учитель к ученику.

Молчание. Янка тихонько хихикнула, все зашевелились.

Напряжение снял громкий школьный звонок.

«Ладно. Поговорим об этом на следующем уроке. Запишите домашнее задание!»

Леонид пошёл в раздевалку, впереди него гордо шествовала она... Он любил её? Не любил? Она ему нравилась? Who knows. Он сам не знал. Всегда уравновешенный, думающий о себе, о своих проблемах, об учёбе, о назначении жизни и месте в ней человека, он, сам не зная почему, всё время думал о ней.

– Лёнь, сегодня мы с тобой убираем в классе. Ты не забыл? – обратилась к нему Яна, положив свой пакет с книгами в шкаф в раздевалке.

– Нет, конечно. Подожди, я сейчас приду.

Новый директор ввёл новое правило: ученики убирают классы (поднимают стулья на парты, подметают, моют доску, поливают цветы). За каждым классом закреплён один кабинет – одноклассники Леонида поочерёдно убирали 7-й кабинет.

Леонид, как уже говорилось, не страдал особым благородством и вежливостью. И когда его очередь дежурства совпадала с дежурством другой какой-нибудь девчонки, он на её приглашение отвечал: «Делать мне нечего!» И, хлопнув дверью, сматывался домой.

Но с Яной он, естественно, не мог так поступить. При её виде у него подкашивались ноги и отнимался язык – какой уж тут хлопок дверью!

Леонид поднимал стулья, Яна подметала щёткой. Возлюбленная Леонида наклонилась, чтобы поднять бумажку – в узком проходе между партами; Леонид как раз проходил боком через этот

проход... На мгновение он нечаянно прикоснулся к ней – казалось, всем телом, всей душой – и особенно одной частью тела, почувствовал ее тепло, а она – его.

Пункт 2.

Леонид Морозов – человек разума, а не чувств. Любил ли он Яночку Тургеневу? Эту little fifteen. (Уже!!! – а ему ещё 13, скоро 14!). Сам не знает. Он не знает, что такое любовь. Он постоянно думает о ней, старается быть рядом. Он не может признаться ей в любви или даже пригласить на танец. Что он скажет ей? Что полночи не спит – мечтает о ней, полночи спит и видит её во сне? Что его пламенное сердце пронзила стрела Купидона, что делает то, чего не хочет его разум?! Мать Леонида называет его эгоистом, и он, когда пишет: «Яна, Я тебя люблю!», думает, способен ли он по-настоящему любить её.

Пункт 3.

Во второй главе автор противоречит сам себе. Например, противоположные по смыслу предложения «Леонид не сдавался» и «Он не был настойчив». Мы также наблюдаем бездействие так называемого отличника на уроке и его «ответ». Если он ежедневно смотрит на девочек и «набирает в рот воды», то как же он может быть отличником и личностью? Пункт 2 гл. 2. гласит, что Леонид человек разума, почему же тогда он не может выкинуть её из своего сердца и разума? Он же отлично знает, что она сестра Брюса, поэтому *все* его усилия напрасны. А если хочешь чего добиться, не будь таким пассивным!

Кроме того, одна сцена гл. 2 вообще имеет мало какое отношение к литературе!

Пункт 4.

Село, где имел честь проживать наш герой Леонид Морозов, находилось в Центрально-чернозёмном регионе, недалеко от города Тамбова. Село было маленькое, всего около 700 (?) жителей. Люди тут проживали в основном (как вы уже убедились!) недружелюбные, необразованные, недалёкие и даже нетрудолюбивые. Конечно, имелся полуразвалившийся-полурасташенный колхоз и построенная им лет 30 назад уже знакомая нам школа. Но главной достопримечательностью села был новый клуб (или, как числился в бумагах, Дом культуры) – единственное двухэтажное здание в селе.

В воскресный день можно пройти по всей «центральной площади» села и не увидеть ни одного человека (!). Золотой диск солнца сеет вокруг свои лучи; лишь изредка пушистое дырявое облако закрывает его собой; но всё равно через это облако, словно через решето, сыплется на землю сияющие зёрна, дающие жизнь всему живому на земле. Особенно опрятно в этот солнечный день смотрятся белые кирпичные стены СДК – с балконом и большим стеклянным фасадом.

Однако всё хорошо и безоблачно днём. Ночью тут начинается своя, совсем иная жизнь.

Гигантские тени закрывают собой бледно-жёлтую луну, и под ними гаснут даже звёзды – золотые диски солнц, находящиеся за миллиарды световых лет от брэнной Земли.

Какие законы действуют тут? Закон джунглей? Один за всех, все за одного? каждый за себя? все против всех?

Дискотека – вещь хорошая. Это знает каждый, кто *хоть раз* был молодым. Если спросить у вас, что такое дискотека, вы ответите, что, мол, это танцы. На самом же деле это *мероприятие*, участники которого не только танцуют, но и параллельно, вне зоны общей видимости, употребляют спиртные напитки, курят, трахают или даже насилюют девушек, дерутся или попросту избивают кого-нибудь...

Гл. III.

Леонид быстро шагал по улице родного села; вокруг было темно; он спешил на дискотеку; за неимением друзей он всегда ходил туда один.

Мероприятие уже началось, в окнах зала играли разноцветные блики, воздух и стёкла сотрясала музыка. Быстрые широкие шаги приближались к Дому культуры. Поздоровавшись за руку с

дюжиной падцанов, стоявших на пороге, Леонид вошёл.

Картина была приятна глазу. В полумраке, в поочерёдном мерцании разноцветных огней, в каком-то ярком оранжевом свете, который то загорался, то быстро потухал, в оглушительном воспроизведении музыки *плавали* молодые люди.

Представители мужского пола танцевали, ритмично переставляя ноги под удары барабанов, отдельные экземпляры, разгоряченные самогоном, раскраснелись, поскидывали с себя свитера и спортивные костюмы, оставшись в одних майках – невозможно описать, как они выплясывали и прыгали!..

Ну, а девочки? Девчоночки... Как они танцуют! Мини-юбочки, разноцветные лосины, плотно облегающие их самые красивые части тела, повторяя все изгибы, все округлости... Девочки в модных мини-юбках, в леггинсах, в джинсах, накрашенные, размалёванные girls... Что бы там не говорили (а я читал «Отцы и дети» – пытался!), как они хороши, современные девушки! Конечно, краситься надо поменьше, но это уже не мой вопрос.

Яна танцует прекрасно. Жаль только, что с другим... Леонид любовался ею, и сердце его сжималось. Он стоял, как зачарованный, и ему было всё равно, мерно ли пел свои гимны Цой или поддавал жару некто «Кар-мэн».

– Ой, кого я вижу – шаршавый! – это был Папаша Красный, это были Трое. Жека Тургенев с Красным подхватили Леонида под руки и поволокли *поговорить*.

– Куда вы меня тащите? – обратился Леонид Морозов к своим конвоирам.

– Щас узнаешь.

Процессия вышла из дома культуры и зашла за его же угол, где было темно от зарослей американки, где находились кучи щебня, битого стекла, всякий мусор и импровизированные уборные.

– Ты не бойся, – вежливо предупредил Брюс, – мы тебя бить не будем, только раза два об угол долбанём.

Леонид, как это ни странно, почему-то хихикнул.

И начали избивать. Леонид сначала начал сопротивляться, но потом его кто-то толкнул на кучу камней и битого стекла. Трое расположились треугольником вокруг Леонида и ударами не давали ему встать.

«Бой» шёл без правил – ни до какой ни «до первой крови» – когда бьют не по лицу, а по корпусу, крови нет. Когда содят не по лицу (по туловищу, в том числе отбивают почки, лодыжки, предплечья и другие части тела), это ещё не конец света, но поверьте мне на слово, ощущение не из приятных!

После окончания процедуры Брюс презрительно процедил:

– Слушай, пацак несчастный, мне что-то сказали, что ты возле моей Яночки ошиваешься. Ещё раз увижу – ты меня знаешь. Понял?!

Ночь была тихая; только беззвучно дул холодный ветер-бродяга, которому, должно быть, как и нашим героям, не спалось этой осенней ночью. Из клуба низкими волнами вибрации доносились звуки музыки, кровь стучала в ушах, Трое никак не могли отдышаться.

– Ты понял, рыдван?

– Паштет, я не понъл! Ты понъл?!

– Понял-нет??!!!

– Понял...

Пункт 3.

– Пойдём, всё уже там спрятано, – пригласил некто Яха своих товарищей-одноклассников Мур-зу и Морозова.

Они зашли за знакомый угол ДК. Низкорослый ученик, лентяй и лоботряс Мирза, он же тихоня и трудяга, полез в заросли сорной травы и извлёк оттуда припрятанную ещё днём «чтоб не запалили дома» бутылку самогона.

– Наливай мне, – приказал Леонид.

Пропустив сто граммов и закусив маленьким яблоком, Леонид отправился опять на дискотеку. Как же он танцевал! Нет, как же он плясал – или как это можно назвать ещё!.. с горя человек пляшет так,

что его сердце бьётся с частотой 50 герц!

А со ста граммов дешёвого напитка Леонид не запянял, и вообще он никогда не пил и не любил пить».

14.

Перечитав начало, Леонид понял, что продолжить рассказ было решительно нечем. С тех пор особо ничего и не изменилось. Троица, правда, уже благополучно побросала школу (один Губов ещё колеблется!..), и сейчас с удовольствием вон участвует в барделях, и содить уж, конечно, не содят, и издеваться им теперь уж никак не с руки, но особой теплоты от подобных типов ожидать не приходится... Но определённый укол вдохновения – неотделимый от всегдашней своей «оборотной стороны медали», изнанки-подкладки, и как бы контр-анестезии, порождающей невыносимо-нудящий зуд, побуждающий, дабы забыться, к действию письма – укола задетого своим бездействием самолюбия, ущемлённого беспомощностью и тщетой тщеславия – он уже почувствовал... Решил сделать ход конём: написать не прозу, а стихи – не на какую-то тему, а просто «передать своё эмоциональное состояние». Так-то проще...

Одна ночь (одинокая поэтическая ассоциация)

Это дольше, чем плавится воск сотен свечей
Это больше, чем сделал род земных палатей
Это ярче, чем свет миллионов слепящих солнца лучей
Зла маскарад, игра огня и крови
В одну из тёмных чёрных ночей

Красное солнце зависло над градом
Звездопадом калёных лучей
Гладь лазури покрылась кровью ада
Пронзённая сотней мечей...

Блин, «лучей» и «лучей», и «мечей»! «Слепящего солнца» может лучей-то? «Гладь лазури»... «Лазурная гладь»... «Гладь-лазурь», наверное, всё же понеобычней... Факен ведь! – как начнёшь анализировать и перебирать варианты, думать о рифмах этих несуразных (в рот бы ему компас, кто их придумал!), так и вообще сбиваешься и всё куда-то уходит, разваливается! – лучше уж гнать, как есть – может, потом проверю... Как там?..

Свет, исчезая, тьму порождает
Тьма есть оружие зла
Солнце навеки нас покидает
Звезда, что гниение жгла

Неплохо прям. Можть и сразу, ещё в первом куплете, «багряное солнце», а не «красное»? – «красное» уже как-то заезжено, обыденно... да и «багряное» заезжено... – в стихах. Да и вообще что такое «багряное»?! Я лично не знаю. Да а лазурь-то что за сухофрукт?! В жизни не слышал в жизни таких слов! Ну ладно.

Показалась, засветила луна, ярко-белёсая. Стакан выделяет рубчатую тень. Надо его наполнить! До половины, конечно. И он не полуполный, не полупустой, а самый полулучший (полулунный!), самый простой – ready for a dance! for a romance! Come on, everybody dance now! Come on!

Что-то я уже пьян немного, чё-то ору!.. Впрочем, там не слышно: там свой музон и гвалт. А здесь какая-то странная тишина – когда смотришь в окно: на тихий снег, еле ползущие капли и закрепляющиеся узоры, на небо, льющую свет луну и летящие по ветру облака... когда лежишь в темноте один... Как будто всё остальное тебя и не касается, как будто ты смотришь на всё состоро-

ны, как кино, а не участвуешь... Щас бы только Яночку – чтобы она тоже лежала со мной и наслаждалась, отдыхала, думала, недоумевала...

От такой тишины, безмятежности и гармонии почему-то ещё больше хочется выпить... Да и Яна!.. Ну давай, за неё!

...И сама, допустим, школа эта... странно всё как-то: бабушка рассказывала, как она строилась, потом в ней учился отец, учились почти все учителя, все родители, или все, кто старше на 5, 10, 15 лет... И представлялось почему-то, как, придя на кладбище с бабаней помыть оградку дедушкиной могилы, рассматривал на крестах и памятниках фотографии односельчан и слушал её комментарии: короткие, ёмкие, отчасти иронично-едкие истории жизни, достойные, как ему показалось, чуть ли не чеховского пера. И многие были как раз как на подбор учителями, завхозами и уборщицами в этой школе! Сколько она ещё простоит, облупленная, построенная колхозом в честь 45-летия Советской власти?.. Колхоз рухнул, власть тоже, и всё вокруг тоже понемногу даёт крен и трещины... А он сочиняет стихи!

Ночь прозрачна и свежа Для зелёных дисков-глаз Хочется им есть с ножа Мясо каждого из нас!

Всё горит, и пляшут тени – Лужи крови на траве Хороводы привидений В черноте и синеве...

Вспомнилось, как учитель по прозвищу Рыдван хмыкнул и высказал как раз то, о чём Леонид часто думал, но никому не говорил: «А тут, прикинь, парта такая вся разрисованная, старая, ободранная стоит с табличкой: «Здесь сидел Леонид Морозов»!..» Иногда представлялась предыстория: как будто он после какой-то очередной своей *спорной* фразы на уроке литературы не сдержался и добавил совсем уничтожающе-окончательный или совсем уж поражающе нелепый аргумент: «А вы вообще, вся ваша школьная лит-ра, по сравнению со мной есть только нечто временное, брренное-дрянное. Например, вот на этой парте...» Ведь мы живём в век, думает он (а может и говорит), когда оценки в категоричной форме – а тем более себя – даются только детьми, подростками да ещё учителями! И он говорит *это* учительнице не потому, что не уважает её, А. П., и её мнение, а наоборот, как нечто интимное, сказанное именно для неё одной. И это же как будто снится во сне... Только где это мог услышать Рыдван?!

Чернота и гладь болота Закипела Извергая свет и гадость Слыша зов, сова запела Предвкушая пира сладость А в лесу лежит луна Потонув в болоте Крови напилась она На своей работе...

Всё кроваво Лес горит, и кто-то стонет Ветер взвыл, огонь не спит Он зверьё из чащи гонит...

Возле огненной жары Электричества шары В темноте души поэтов На горе круги – пляски чёрных силуэтов!..

Тоже мне сломенно-золотой-бревёнчатый Есенин туев, тёмно-пещерно-кровавый Гумилёв с фамилией на «лёв» и с рифмой «зёв», мельхиоровый ты наш, фильдепёрстовый, Манденьштамп! Какая гадость! – кто так литератора? Не поверите: кажется, Яха! Тоже мне специалист по литературе! «Коновод», «Купание красного коня», рассказ Бианки «Сомята», Паустовского – «Ёж»!..

Пахнет плесенью и гарью мяса Плач ребёнка, волчий вой Расплодилась ночи раса И зовёт нас за собой...

Слышишь шёпот в тишине Сквозь биение часов? Это он зовёт: «Иди ко мне!» Запирайся на засов!

Спиртное, невыразимая тишина, стихи и одновременное погружение в мысли...

И не заметил!..

Знаю и помню, как она движется, двигается... не только как она смеётся, вздыхает, зевает, но и как дышит, чихает, сморкается... представляю, как она пишет...

Каким-то другим зрением вижу, как она входит – именно она! – плавно, но и чуть шаркая, подходит, почти подкрадывается ко мне сзади и закрывает мне глаза ладонями: известный жест «Угадай кто!».

Гаснут костры, клубится туман Чёрным распятием угли...

Чувствую лёгкое прикосновение её мягких влажных пальцев. Помню, как они выглядят: вытянутые и чуть смуглые, с заострёнными ноготками, какими-то бесцветными, с белыми точками на них... помню и всю их историю – и оперативную, мало кому заметную: как краснеют ладошки от перемены температуры или эмоции, и что она с ними делает – тихо-незаметно ломает, хрустит суставами, сует в рот кончики, и длинную, которую зафиксировать вообще никому не приходит в

голову, которую не помнит даже её мать: какие руки у неё были всё это время (ведь наблюдаю со 2 класса!), как они изменялись, как она грызла ногти, чесала их и ими, как была бородавка на правой и на левой коричневатый – йодовый-засохше-кровяной бинт, а потом беловатый шрамчик...

В чашу лесную ползёт караван Загар настроений смуглых...

Помню её всю: фигуру, мимику, жесты в разных ситуациях, глаза, губы, язык, зубы, открытые участки кожи, рубец от трупов, а чуть выше рубец от штанов... В сущности, я видел её всю, всё её тело, исключая только четыре небольшие окружности вокруг четырёх точек, скрытые тремя треугольниками.

Как змеи сползаются тени в болото В фосфоре раны лизать На них стрелы света открыли охоту Ночью всё начнётся опять! Небо порвав, сквозь гнойную рану Звери и люди – кто уцелел В мучениях страшных рождает оно Возводят кривое распятие Капли крови брызжут фонтаном Они не боятся этих стрел – На белое-белое полотно Боятся проклятья.

Я узнаю её тепло, её запах...

Взвилось пламя выше неба Выжгло всё до черноты Силам тьмы поджарив хлеба Все ослепли как кроты!

О Яночка! – это она! Сама пришла ко мне, я кладу свои ладони на её, как бы обнимаю их, чуть дрожащие, тёплые, с колечками-недельками...

Ещё час, а может дольше
Дотянуть бы до утра
Сотни их, а может больше?
Петушиное ура!??

Было это или не было, непонятно. Ему казалось, что его надежды, желания и фантазии настоль сильны, что скоро воплотятся просто сами по себе. Потом говорили даже некоторые, что она сидела у него на коленях, а он кормил её виноградом и апельсинами.*

15.

Среда, 9 марта 1994 г., 8:12

С тяжёлым сердцем Бадор открывал дверь школы, мучительно вспоминая недавние события. Всё было как во сне... И как же ему не хотелось идти на работу – в первый раз наверное за всё время! – хотелось куда-нибудь уйти, скрыться – куда-нибудь далеко-далеко, где никого нет, нет этого стыда, этой мерзости, а только сияет жаркое солнце над ярко-зелёными холмами, мирно пасутся овцы, пахнет мандаринами, гранатами и свежим хлебом...

Некоторые ученики, здоровавшиеся с ним, не скрывали улыбки до ушей, а товарищ Губов даже громко и нагло засмеялся при виде потемневшего лицом и душой педагога.

Зашёл в учительскую. Комок в горле.

– Здр-равствуйте...

Директор отвернулся к окну.

Набиравшие какие-то карты и пособия двое учеников переглянулись и чуть не сгыгкнули. Показалось, что учителя тоже.

Он всё мылся, пытаюсь приладить на рычаг вешалки свою промокшую ондатровую шапку. Плащ уж он не знал, снимать или нет. Да и шапка-то никак ещё...

Все куда-то отворачивались, отводили глаза, стеснённо лыбились. Директор вообще уткнулся в окно и так прямо и не отрывался, что было совсем невыносимо, поскольку всё равно всё должен разрешить он...

Наконец, секунд только через девять, вдоволь насмотревшись в окно и настучавшись карандашом по столу, Кенарь выдал из себя:

* Тогда я ещё даже не фантазировал наверно, чтобы внедрить их внутрь вождельного объекта Яны, и что в результате должен получиться спермато-виноградно-апельсиновый (или всё же мандариновый? – не так щипит!) мусс (а если добавить ликёра, то и коктейль!)... Автор не утверждает, что подобный рецепт существует, равно как и то, что он его придумал и опробовал сам и рекомендует другим. (Хотя по представлениям некоторых современных учёных, всё, что существует в воображении, «уже где-то существует» – т.е. как бы существует объективно.)

– С-ор ***вич, пройдёте в кабинет. Нам надо поговорить.

Бадорник покорно пошёл за директором. Учителя опять переглянулись и как бы отмерли: опять заверещали о вчерашних сериалах, запогоняли учеников с картами и засобирались на уроки.

Директор пропустил учителя, вошёл сам и запер дверь.

Бадор стоял как провинившийся ученик – правда наверно, как оный лет так с пяток-десяток назад – сейчас как правило стоят навеселе, и смотрят туповато-наглым взглядом прямо на тебя – «как ни в чём не бывало» – или в потолок. А он смотрел вниз, в пол. Директор сел в своё кресло, однако педагога сестя не пригласил. По обыкновению перекинул лист настольного календаря и что-то написал.

– Итак, как вы объясните своё поведение вечером 7 марта?

Бедный учитель совсем упустился в пол. Ему было пришло на ум сказать «Никак», как обычно на такие вопросы отвечают ученики: «Где вы были?» – «Нигде», «С кем вы были?» – «Ни с кем», «Когда вы туда пошли?» – «Никогда» – но, слава богу, он сдержался...

– Кто разрешил устраивать дискотеку?

Если бы мог, Бадор покраснел бы.

– Где вы взяли ключи?

– Ну... у...

– Где?!

– У технички спросили... домой сбежали...

– Объясните мне, что за самоуправство. Молчите? Ну и молчите. – Директор почему-то сам решил, что никакого ответа не будет. – Объясните в письменном виде. Я вам тоже в письменном.

Учитель только шмыгнул носом – как уж совсем плохой нашкодивший ученичок.

– Вы были пьяны? Нет, вы были! Чуете, чем дело пахнет. Одним выговором... гм-гм... перега-ром! – не отделаешься. Смотрите, я не шучу. И вот это вам тоже, – довольный своим каламбуром, Кенарь почти швырнул по столу своему подчинённому листок с цифрами материального ущерба школы за последние два дня, а сам опять отвернулся смотреть в окно.

В списке значились: четыре стула (расшибли), стол для настольного тенниса (на нём стояли и барахтались, в результате чего отвалились ножки), мусорное ведро (смято, как выразились поутру второклассники, в плюшку).

16.

10 марта

Серёга направлялся к собратьям-фермерам. Он давно не видел Белохлебова: тот вроде ездил в Москву себе за джипом.

С задов, со двора Белохлебова было слышно издалека.

«Вечно он ругается, – подумал Серж, – а как всё же складно и занятно у него получается!»

– Ой, пахабный, пахабный!..

– Здорово, дядь Лёнь, привёз джип?

– Здорово, Серёжка! Ой, что приключилось! Иди, Саш, домой... Кролика там моего покорми. Да подольше! Ну то есть это... побольше. Кроличек мой бедный маленький... не растёт ни манды... И всё из-за тебя. Иди, иди!..

Сажечка смухордился, сгорбатился и как-то нехотя, как-то боком пошёл во двор.

– Ой, Серёжка, приехал я в Москву за джипом... да с радости прям в уматень и насандёхался... Приезжаем с Сажечкой в магазин... А уж это... того... мне так плясать прям и охота... гулять, в общем, обмывать. Ну, в смысле чего тянуть-то до вечера – не каждый же день джипы японские покупаешь!.. А этому, суке-падле, я пить специально не позволял – мало ли что... И вижу: какой-то подходит, вроде нашего Бадорника, только не с носом, а жёлтоватый, маленький, чуть поболее Сажечки, наверное (два фермера оба сильно хмыкнули), и это... узкоглазый – типа японец. (Ага, знаю я вас таких японцев!) Выбирайте, говорит. Ну вроде как по-нашему говорит, а как бы и не по-нашему – и не могу понять, понятно или нет! Сюсюкает, кивает, кланяется чуть не до неприличия. А мне-то плясать охота, бутылка уж в «Камазе» лежит початая, уж прям думаю-представляю: шас прям до

ближайшей обочины, до какого-нибудь мотеля там... мотыля этого ихнего... гармонь в руки, Сажечку и давай наяривать – а херли, плохо живём, что ль?!

Ну ладно, купить-то надо – кое-как себя в руки взять... Начну, думаю, с самого маленького – вдруг денег не хватит. Ну, сколько, спрашиваю. Ить-ди-сять миль-ляо-нив! Не, ты представь! Спасибо Сажечка-профан трезвый, меня удержал, а то б я этого крококота японского прям там и придушил! Потом отошёл немного, отдышался, подзываю опять и говорю: чё, деньги прям тут отдавать, и забирать откуда – прям отсюда? Отсюда. Я уж за руль прям наловчился. А япошка и говорит: этот не трожьте, этот типа для мод'ели, а забирайте, вон тот, второй из стеклянного коридора. И всё равно, говорит, его протягивать надо, прокачивать, проверить комплектацию, сервис... Так что пока что вы не сможете уехать – посидите немного, подождите, попейте чайку, у нас, говорит, по типу для гостей, дешёвая чайная церемонка... Я вам шас покажу церемони! Меня прям, Серёжка, зло взяло! За свои деньги уж и ни выпить, ни закусить! Я говорю, полжизни на этот джипарь ишачил, а вы мне чай какой-то бесцветный, не отварившийся, в каком-то блюдец, куда и сто грамм не влезет, с помазком каким-то для бритья – за полторы тыщи! Они сбежались, желтоватые, и лопочут: саке. Я говорю: чё саке, водки себе! Ну и стали угощать: стопарики маленькие, маходочка какая-то, из которой подливают... Этот-то не пил – вернее, я ему не велел... И, Серёжка, что твоё самогон, только подогретый, как только что со змеєвика, не особо вонючий и прям слабый совсем!..

Короче, я в разнос, весь в чувствах... в патриотических, можно сказать... Ну и прям в дуплет; Сажечка дуб... Приехали вчера утром, разгрузили, стали спяну заводить – не заводится. Посмотрели по приборам: бензин есть, масло есть, аккумулятор, генератор – всё есть... Капот открыли – нету!

– Кого? Чего, дядь Лёнь?!

– Ничего! Мотора нету! Опрофанили! Всучили какой для рекламы стоял!

Для пущего трагикомического эффекту Белохлебов попытался даже изобразить, что плачет.

– Я, Серёжк, короче – беру двухстволку, дубинку, поел, похмелился, Сажечку покормил, кролика... И тут же поехали обратно. Я еду, Сажечка спит; потом наоборот. Приехали всё равно поздно. На магазине: «Закрыто». Я раз – дверь заперта, а там кто-то есть. Я постучел. Подошёл какой-то профан в желтоватой такой форме. Я ему через стекло: мол, открой, машину-то поменять. А он: шиш с два! Я ему два ствола и показал. Он типа: шас тогда. И боком-боком убёг (как вот Сажечка, кхе-кхи!...). Приходит, значит, ещё с другим, и смотрю: открыли. Я говорю: где японец такой вот? Нету! Как нэту, в рот мне напасть?! А чай с кем пили, чачу эту?! У меня ажник две палки ихних грубо обструганных с собой остались в кармане! А он: «До свидания» и всё тут. Я его саданул прям прикладом в мырду, а второго – дубинкой Сажечка в ло... в лодыжку только достал (опять оба хмыкнули от смеха), ну а я потом сразу прям в лоб... и дальше пошли искать по всем коридорам, а после и на другой этаж поднялись. Тама, сука, сидел, тама! Я его взял за челюсть и ружьё приставил. Он тут взмолился: «Исинитя, я потёмь сямя узнала, чтё ви экспонятю на мод'ели взяли». Я те дам «на мод'елях»! Он пятнадцать лимонов из кармана вытащил – и пять ещё из кармана! Смекаешь, Серж, а?! Я пятёрку себе в карман положил, а пятнадцать эти оставил, зато взял другой джип, предварительно его весь оглядев. Только выхожу – менты. Я назад. Чё ж делать, думаю. Взял Сажечку, голову ему тряпкой обмотал – типа это японец ихний – ну как бы заложник. И так под стволом его и вывел. А сам думаю: шас подмогу вызовут, план «Перехват» и поминай как звали. А пуще того – ехать надо, а чтоб тронуться, ружьё-то никак не перехватить... А ментов-то всего двое, на одной машине... И тут этот куркуль полуяпонский взял и швырнул им деньги – причём мои!

– Пять лимонов?!

– Да нет! Там мешок лежал с десятками – сам он набирал их.

– Кто, дядь Лёнь, японец?

– Ды Сажечка, кто! Лет пять набирал в машинах округ лобовухи лепить. Тыща штук! Рассыпались на асфальте – менты подумали наверно, что крупняк из магазина, и давай на коленях елозить – собирать! И так и оторвались от нас, а мы от них, а вот деньги-то жаль-жаль... мои ведь кровные...

– Да почему ж твои-то?! – высунулся из-за тележки Александр-свет Подхвятилин, который, судя по всему, уж давно слушал.

– Потому что я тебе плачу, конократу, а ты ни хрена не делаешь!

«То пятьдесят, а то уж двадцать стало!.. Да и вообще... Вот горазд же дядь Лёня заливать! – усмехнулся про себя Серёга, – а мешки кому ворочать у него есть».

– Нет там никакого кролика! Какой был, полгода назад уж потушили с картошкой – когда бухали-то три дня, Бугор приезжал за жаткой!..

Белохлебов посмотрел на своего подручного с таким выражением, будто тот самовольно вдруг взял и запротиворечил всем законам физики, причём установленным, видимо, ни кем иным, а им самим самолично, прапором и старшим фермером, дядь Лёней Белохлебовым. Сержу было даже очень интересно, продолжится ли этот цирк далее и чем он закончится.

– Так ты что, ослиный ты сынок и сучок, хочешь сказать, что *всё это время* ты его *не видел и не кормил*?!! – вполне даже натурально обрушился на него Белохлебов.

– Хватит представляться. Ты уж совсем что ль, – тихо молвил Сажечка, – делов вон по горло...

– Я тебе покажу горло! 'От сука-то-тварь, а!

– Ты мне лучше кролика покажи, – еле слышно произнёс супостат, и Серж чуть не заржал.

– Махонький такой, вислоухий, коричневатый, с желтоватым таким... – чуть не застонал Белохлебов, начав тереть глаза и, видимо, вновь пытаясь расплакаться.

– У тебе все чё-то желтоватые... – ещё тише, но уже претендуя на остроумие, вставил Сажечка, и Серега уж быстро отвернулся и как мог бесшумно отплюнул смехов в ладонь.

– Коряжник! Красный, блять, карлик! – взорвался Белохлебов и пустился, схватив какой-то патрубков, за помощником.

– Серёжк, Серёж, ну скажи ему! Ну пойдём во двор посмотрим! – вещал на бегу Сажечка, только припрыгивая по железкам, лужам и доскам, а Серёга уже в открытую удыхал над очередной фермерской клоунадой.

17.

Просмеявшись над импровизированным выступлением дуэта Белохлебов – Сажечка, Серж спросил у фермера трактор – продолжить обкатку (дюжина часов ещё осталась) да доехать до Бадору передать ему распоряжение Гана о новой дискотеке.

– Какого ещё Гана?! – недоумевал выскочивший в трусах и запахивающий на ходу халат учитель (наверно, оторванный от дюжей супружницы-энтузиастки).

– Простого! Да передал съездить в Тамбов закупить продуктишек. Вот и список. Объявление щас повесит тоже. Поторавливайтесь, а то гости придут, а ни хрена и нету!

– А... а... м-меня дз-дэд... дзектор ругал!.. – заикаясь и запинаясь, дрожа босиком на пороге терраски, прокричал Бадор, пытаясь сдержать дверь, в которую за ним стремительно лезло кашпомакраме с пожухшим от мороза лимонником, а из-за него – жена.

– А я вам что! – равнодушно отмахнулся юный ученик, газанув в луже, так что во все стороны полетели грязные брызги, льдинки и ошмётки грязи.

– Чиво? Не поняль я!.. – орал учитель с порога.

– Дорогу, говорю, в следующий раз подготовь, а то не подъехать. – Подшутил Серёга и хотел уж было трогать, как заплулся взглядом о знакомый, интригующий в некотором роде (об чём ещё расскажем), предмет. – Очищалку я, пожалуй, в школу отволоку – а то гости придут, а сапоги-то обчистить только по очереди. – Передав и заявив всё, что было нужно, Серж развернулся, выбросил трос, спрыгнул сам, зацепил крюком бадорникову только недавно поставленную, только по морозу вкопанную учениками очищалку,* запрыгнул обратно, тронулся, помахал ручкой и, легко выдрав из земли трофей, поволок его прочь.

18.

* Очищалка – чистилка, приспособление для чистки обуви (резиновых сапог, галош) от налипшей грязи, представляет собой дугу из металлической трубы или бруса, концы которой вкапываются в землю для крепления, и которые соединены между собой горизонтальной перекладной. Устанавливается у входа в дом или учреждение, как правило, в сельской местности, особенно с чернозёмной почвой. Новаторские модели: П-образная, а также тройная или четверная, напоминающие остов туристической палатки.

11 марта

На фасаде лучшего в селе здания – Дома культуры, а не магазина, канторы или свинокомплекса, как у прочих – красовался прямоугольник неровно оторванной, какой-то чуть не обёрточной бумажки, где корявыми буквами тушью сообщалось, что фильм такой-то (6-й категории качества плёнки) начнётся в 20.30 и цена билета 200 руб. Что само по себе событие неординарное, поскольку в новом клубе всю зиму фильмы не демонстрировались из-за холода в кинозале, да если честно, ещё из-за регулярной профнепригодности уже упомянутого бессменного Профиля, и означало сие, что начало дай бог в десять, и если денег нет, можно и не платить – главное прийти, да лучше с самогоном иль с семечками.

Вот где обретаются истинные ценители синематографа! Когда в зале около нуля и почти столько же зрителей. Или когда на «Джентльменов удачи» едут из соседних деревень и на тракторах и комбайнах прямо с жатвы и ржут до слёз, или над какой-нибудь лентой с пометкой «Пр-во Индия. 2-х сер.» медитируют круче, чем над показываемым тоже недавно в клубе живым йогом, ходящим по стёклам и глотающим ножи, и плачут, и потом пересказывают... Или когда Профиль с полупьяну написал: «Кинг-Конг в английском парке» и собралось народу зело – только неделю назад с грандиозным успехом прошла вторая часть про власатую мегаобезьяну, и вот те на – сразу третья часть – «В английском парке»!!! Когда только снимать успевают!.. Оказалось – всего-то навсего «Канкан...»!.. – а что это такое? думаете, кто-нибудь знал?! Помилуйте, и не думаем преувеличивать! А например, в названии другой кинокартины входило словосочетание «Банда лесбиянок», и никто не знал таких режий, все друг у друга переспрашивали, и ответ был один и тот же: ну это типа обезьянок, а вообще Профиль-Портфель наверно опять перепутал!..

Рядом с рукотворной киноафишей теснилось и наше скромное объявление – в виде плаката почти метр на метр.

«ДАМЫ И ГОСПОДА! ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

12 МАРТА В 20.00 ЧАС.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ НОВЫЙ ЦЕНТР ФИРМЫ «РОССИЙСКИЙ ДИСНЕЙ-ЛЕНД» В СР. ШК.!

СТАРЫЕ И НОВЫЕ АТТРАКЦИОНЫ!

РАБОТАЮТ БАР, РЕСТОРАН, ДИСКОТЕКА

(ПЛАТНЫЙ ЗАКАЗ БЛЮД, НАПИТКОВ И МУЗЫКИ!)

(ЭТО ЕСЛИ ВАС НЕТ В НАШЕМ СПИСКЕ!)

ЛИЧНО И БЕСПЛАТНО ПРИГЛАШАЮТСЯ:

В списке значились, кроме прочих, Белохлебов с Сажечкой и Яна (1-Й СТОЛ)

ОСТАЛЬНЫЕ – 2-Й И 3-Й СТОЛЫ

ВНИМАНИЕ: РАБОТНИКИ ШКОЛЫ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!!!

РАСПОРЯДИТЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ (В СТИЛЕ «Я ТВОЙ СЛУГА,
Я ТВОЙ РАБОТНИК») – С-ОР ***ВИЧ (БАДОР)»

Директора по прочтении сего чуть удар не хватил. Он стоял в луже воды и не мог тронуться с места, словно примёрз. «Что за наглость! Не верю своим глазам! Не может же такого быть!» – повторял он про себя словно какое-то заклинание.

Пока он повторял и пытался стронуться с места, подъехал автобус, из него вылез довольно уставшего и озабоченного вида учитель математики с огромной сумкой на горбу, из которой торчала колбаса и которая (сумка, а может и колбаса) прям при первых его шагах начала сильно позвякивать.

«В морозном-то воздухе... – подумал мельком директор, – и кабы и вправду не примёрзнуть...»

Завидев босса, учитель сделал вид, что не заметил его и очень затрусил, непристойно гремя содержанием сумы, по направлению к дому. Кенарь всё же стронулся (хоть и не сразу) и припустил за ним.

– Стойте! Стойте, кому говорю!

Бадорник прибавил ходу, но сумка тормозила его – а то бы он пустился бегом.

– Постойте! Мне нужно с вами поговорить!

Но не тут-то было – тот лишь ещё припустил, спотыкаясь и подпрыгивая впотьмах на замерзших кочках с несуразно огромной челноковской сумкой на горбу. Кенарь, решив про себя несколько раскрепоститься от рамок приличия, наконец побежал, тоже резво и сбивчиво припрыгивая по лужам и застывшим гребням грязи, и совсем не сбивчиво, а прямо-таки с регулярностью метронома отмахивая (словно помогая и регламентируя ход) себе ручкой.

Настигнутый учитель наверно почувствовал себя как мыш, только что пойманный котом. Директор тоже уж чуть было не заурчал, как обрадованный добычей котик.

– Я просил вас остановиться!

Бадорник перекладывал тяжеленную поклажу из руки в руку и топтался в грязи. Видно было, что промедление ему ни к чему, и остановился он уж по крайней нужде – когда директор забежал ему наперёд.

– Я вас не заметил... Простите, очень спешу, – вынужден был он выдавить из себя, отворачиваясь, переминаясь и порываясь обойти досадную помеху и попросту свалить.

«Ну и дела! Это уж совсем! Ладно ученики – учителя уж распустились!»

– Гм, – сверхдотошный директор, не зазря прозванный Кенарем (кенаром), любивший дома-тываться по самому малому пустяку и разводить всеразличные административные обсуждения-осуждения (трели), при столь крупном инциденте не знал даже с чего начать. – Как вам... как прикажете понимать... ваше объявление?!

– К-какое об-ъявление?

Директора даже всего затрясло, и он не находил слов.

– Значит так. Короче говоря, вы – в школу завтра вечером ни ногой! Я скажу уборщицам, чтобы ключи не давали. Не дай бог... Я это дело так не оставляю, вы меня поняли?

Бадор что-то пробурчал в усы, и всё-таки более-менее удачно миновал препятствие, за время разговора существенно забрав вправо – к оградке сельсовета (с новыми очищалками!..), как ни в чём ни бывало вновь похромал по тьме и бездорожью своей дорогой.

19.

12 марта

В этот долгожданный и торжественный день не сказать, что с утра, но уже с обеда над школой развевался российский триколорный флаг – да плюс ещё с зелёной лентой с надписью трафаретом: «RUSSIAN DISNEYLAND».

Ровно без пяти восемь вечера дверь заведения широко распахнулась и приветливый официант Бадор в своём лучшем кремовом костюме, с какой-то несуразной пластмассовой розочкой в кармашке (от венка что ли?), очень похожий за счёт всего этого на Амаяка Акопьяна, слегка кланяясь, запустил внутрь Гана, Серёжку, Швырка и ещё нескольких особо ставоранных и настырных гостей.

Внутри по бокам дверей, возле раздевалок, стояли господа Губов-Шлёпин и Папаша-Красный, не сильно пьяные, но явно поддатые и очень явно в надежде ещё, и что самое интересное, тоже в каких-то не понять откуда у них взявшихся несуразных светлых костюмах с ещё более несуразными розанчиками в петлицах и с ещё куда более несуразными серьезными выражениями на их грубоватых и выдавших многие «и не такие» виды лицах. Единственное, что было вполне органичным, ожидаемым и оправданным всеми законами жанра, так это то, что в руках они сжимали резиновые шланги от топливных насосов (с железными гайками на концах) и использовать их, судя по лицам и наряду, намеревались явно не по назначению.

Школьный коридор преобразился: в центре его был устроен «стол № 1» – всё честь по чести – с предписанной инструкцией Морозова ложей для почётных гостей и с развешанными поблизости на стенах портретами тех же многогрешных персон.

Портреты правда были выполнены от руки со своих же фото и – на что уж попенял Леонид – из-за поспешности весьма небрежно. Он специально заказал рисунки, а не фото: во-первых, ко-

нечно, так задание было более трудоёмким, а во-вторых, так сказать, просвещение в массы. Помимо «вырезания» С-ор ещё увлеклся рисованием и фотографией, на создание сей продукции за деньги завёл на селе монополию, но рисованные портреты почему-то не пользовались спросом, хоть даже их и выжги на доске – все почему-то просили лучше сделать им «романтику, и чтобы один-в-один»: копия какой-то зековской поделки, где романтический герой обнимает несуразно грудастую подругу с ещё паче несуразной при такой комплекции узкой талией, утянутой широким ремнём, что вредно уж наверно, по медицинским показателям, сверху светит месяц, а вокруг по-натыкана всяческая атрибутика привольной жизни: легковая машина, какая-то «шаха», пистолет, нож, бутылка со стаканом, и сердечко со стрелой – большего нельзя и желать.

Этот вопрос Морозов-старший курировал лично, и всё держалось в тайне – дабы ни в коем разе не допустить проникновения заветных воделенных орнаментально-монументальных мотивов в портреты наших былинных героев.

Большинство персонажей, как ни старался художник придать им вменяемый, неокарикатуренный облик, выглядели, прямо скажем, так же, как в жизни, и даже ещё приличней. Себя Ган очень скромно из пантеона исключил, поскольку портрет ему не понравился. Не то чтобы он отделял себя от всех (наоборот, он чувствовал свою причастность к этому месту и времени, к этим «действующим лицам» – «здесь всё моё, и я отсюда родом» – хотя какую-то странную, как, например, непонятную симпатию к Яхе, который в младших классах его мучил), скорее, выделял (для примера: даже здороваясь за руку, на подсознательном, чуть не биологическом уровне Леонид чувствовал несуразность своей правильно-пропорциональной тонкокостной длиннопалой светлой кисти в здоровой красной неуклюже-толстоватой мозолистой и грязной лапище какого-нибудь Папаши или вечно потной лапе Яхи, на которой, когда как-то привёл случай её рассмотреть вблизи, вместо привычного сетчатого безумия были увидены три коротких, прямых, почти пунктирных линии – «И это всё!», и чувствовал, что они тоже чувствуют...). Серж и Белохлебов были похожи и довольно серьёзны, Мирза зубаст, чёрно-бело красен и старательно – хоть и на рисунке! – веснушчат, глаза навывкате, Сажечка, Яха, Шлёпин и Папаша тоже красны, некоторые веснушчатые, глаза навывкате, Яха необычайно серьёзен, от чего в его физиономии проступило нечто от баранчика, Суся блистал своей знаменитой «железной губой», а Швырочек, он и есть Швырочек...

Ложа же представляла собой два сдвинутых дивана из учительской, задрапированных какими-то узорно-красивыми и, видно, довольно дорогими покрывалами-коврами. На полу между диваном и столом располагался ещё более хороший ковёр – как бы настоящей восточной расцветки и выделки – мечта каждого мало-мальски зажиточного обывателя времён застоя – нетрудно было догадаться, что Бадор решил принести его в жертву своему возвышенному служению. Стол также был сервирован интересной посудой; ножи, вилки и бокалы, которые сразу кинулся проверять Морозов, были разложены и расставлены идеально по правилам журнала, по коему супружница преподает домоводство (!); только бутылки, чтоб не бегать, стояли по-простому прямо на столе – пять бутылок красного вина, три бутылки водки, и даже плоско-пузатая бутылка ликёра «Амаретто», вокруг традиционные нарезки из колбасы и сыра, порезанные тоже фрукты, пирожные и конфеты – чтоб такого понакупить, надо полгорода исколесить! или полгода!

Здесь же были два стола простых, уставленных обычными стакашками и кружками. В углу – подобие буфета или бара – парта, в и на коей составлены бутылки-баклажки мутноватой жидкости, не исключено, что бражки. Ещё были тут, конечно, трёхлитровые банки с огурцами и помидорами, несколько буханок хлеба и какие-то консервы – в общем, жить можно, и даже вполне себе с беспечностью бабочки-бражника.

В восемь часов Морозовы услышали рычание «Камаза» у школы. Ган, а за ним и все поспешили на порог приветствовать почётного гостя.

Видно, немного потрудившись, гости въехали на машине на бетонный школьный порог. Главный сошёл прямо как по трапу.

– «В порт, горящий, как расплавленное лето, – декламировал Леонид практически единственное стихотворение, которое он выучил наизусть за всё своё обучение в школе, – разворачиваясь, входил «Товарищ Теодор Нетте». Это он, я узнаю его...» – Никто, само собой, ничего не понял, и он тихо

прибавил: – Дядь Лёнь, митинг-то несанкционированный, не надо бы привлекать внимание.

– Не надоть, так не надоть, – покачал, однако, и повертел головой фермер, – Са-а-ашк!

Из кабины высунулась детская ссохшаяся башка Сажечки.

– Отгонишь машину домой, а сам обратно сюда. И по-пырому!

Привычный к расторопности Сажечка, страдалец, который уж было почти слез с доступной далеко не каждому высоты камазовской кабины, устремившись к стоявшему при дверях С-ору – с каким-то хлебцем, солонкой, длиннющим рушником из какой-то школьной занавески и налитыми всклянь, приветливо подрагивающими (от ветра наверно) стопариками – замер на месте, как-то дёргаясь вперёд-назад, как бы прокручиваясь холостую, как при сбое программы, потом плюнул и полез назад, запнулся и – всё же опять вниз!..

– Oh please, pardon me, my dears-bears!.. – залепетал Морозов картинно, изображая какие-то приличествующие случаю великосветские манеры и словеса, и не забывая юродствовать, эгоистично-одинокое доставляя эстетическое удовольствие себе самому. – That is my boy; he does not makes problem to you! Hey, couch, kalech, can you can drive this... machine?

– Й-а... – чем-то будто подавился хлебосольный учитель, увидев, что худосочный помощник всё же слез полностью, – я... Ай донт кноу...

– Come on rapidly! And put off this kulich!

Учитель затрясся совсем внятно, сделал шаг вперёд, потом вроде назад, потом опять зачем-то вперёд... и конечно же, поскользнулся, и загремел по бетону порога подносом, стеклом, хлебом, костюмом и своими костями. И по-над ним – смехом иностранных гостей.

– Чё это он, глян-ка, вырабатывает?.. – недоумевал фермер, пожимая плечами, ежась от попавшей за шиворот капли, упавшей с крыши.

– Мой шофёр вызвался отогнать машину, – перевёл Леонид Морозов Белохлебову, – а вы уж заходите, пожалте...

– Шофёр?! – загоготал фермер, всё по-своему шурясь, – Sacha l'esprit profound! Зер гут, оченьо с вас любезно. Ну, шнель же, швайн!

Морозов по-французски не понимал, и подозревал, что и Белохлебов не понимает, а только выучил откуда-то пару фраз, и, так сказать, эпатирует ими к месту и не к месту непросвещённый наш ротозывный народ, добавляя совсем уж неуместные расхожие немецкие, но был очень рад, что игра продолжается.

Меж тем, пока все курили на пороге, Бадор приближался к машине, согбенно и трясясь, и, как любезно комментировал Белохлебов, «поджав хвост – гля, как щенок, карлик-то породы такой, японской-то тоже, чешуа-чешуа называется (Ган и Серёжка удохли) – к полцентнеровому кобелю!»

– О, пока мы беседовали, Сашка куда-то убёг, – сказал фермер с прищуром, что братья, хорошо знавшие нрав дяди Лёни, расценили как признак очередного затейного уже акта атитекторства.

Учитель нехотя полез по лестнице «Камаза». Как только он открыл дверь, растворяемую ещё и ветром, отчего он вообще как-то полуповис над пустотой, и толкнувшись ногами, как «лягушачими лапками» (Белохлебов опять), сделал финальный рывок вверх, в кабину – оттуда ему в пачку треснула «боксёрская перчатка» – промасленная ватная рукавица, коей орудовал Сажечка, незаметно для большинства публики забравшийся обратно в машину через вторую дверь и притаившийся до поры, лёжа на сиденье.

Все снова ржали, тут было народу уже все, кто был.

Пока учитель вставал и разминался, как на грех покряхтывая и ворча что-то в усы, Сажечка вновь начал слезать с высоты...

Только спустя с четверть часа все успокоились (ещё долго грязно-чёрная личина «фокусника», причём как она сама, так и данное Белохлебовым ей обладателю наименование «Робинзон Куржо», надрывали животы и слезили глаза), и степенно стали заходить в школу.

– А ты-то, Сашк, что слез?! – вдруг резко обернулся к подчинённому главный фермер, просто-вато, как бы и не наигранно удивившись.

Сажечка, уже предчувствовавший, что одним обдраннием С-ора дело не кончится, крепился, давясь и сдерживаясь, закатывая глаза и затыкая себе рот кулаком – «не позволял себе угорать

наперёд», боясь вскоре сам стать посмешищем, – вдруг зачал как-то ххякать и всхлипывать, всё громче и громче, всё дебильней... – пока вообще не зашёл до того, что скрючившись повалился у раздевалки на пол, рыдая и сотрясаясь – и по-видимому, только выдыхая и совсем ничего не вдыхая, отчего сильно краснея – и приговаривая что-то наподобие: «Ишь, кур-куль, ча-во за-ахотел! Ма-ашшину ему... Тоже мне шофер! Ишь лезет!.. ак-ххя-гхя!», являлся в таком виде минут десять, без преувеличения.

Ему никто даже не стал ни помогать, ни смеяться над ним.

Потом он встал и шибко поскакал исполнять. Обернулся буквально за то же время, вернувшись с бравым рапортом: «Белохлебов скажет – в колодец прыгну!», который, кстати, выпивая в течение праздничного вечера, повторял очень навязчиво, с каждым стаканом всё с более тягостными интонациями.

20.

Гостей пришло много, многих и не позывали...

Леонид ждал Яну – с нетерпением и некоторой внутренней боязнью, что придёт, и *надо будет* что-то делать, когда как в другом случае *можно просто* отдохнуть в кругу профанов. Но она не пришла.

Кудрявый белоголовый пацан невысокого роста с маленькой головой, востреньким веснушчатым носом, на кончике красным и облупленным, с маленькими же зыркающими, и весьма уловимо горящими злобным огоньком атитекторства глазками, вкатился, чуть выхлясь, в здание. Леонид нетерпеливо шагнул ему навстречу. Кудрявый (он же и веснушчатый) подал однокласснику большую красную горячую и вдобавок потную пятерню. Это не кто иной, как сам Яха, теперь известный всем по повести «Настоящая любовь», а тогда только Сержу и бабушке по поэме «Яха, атитектор» того же автора. За ним, неловко-боязливо продираясь сквозь толпу лбов, столпившихся в вестибюле, зашёл Мирза – ещё один одноклассник-сотоварищ, росточком ниже Морозова, и даже ниже Яхи. И тоже подошёл, показав в улыбке ряд широких, безвременно не желтеющих, а белеющих каким-то налётом зубов, морщины рассеялись по плоскому, тоже слегка веснушчатому лицу. Глаза большущие, немного навывкате, но слава богу, не как у Папаши, но какие-то больные, кажется, даже гноющие по краям.

– Витек, Рая, закурить не найдётся, Витьки, с фильтром? – начал он, понтуясь, выказывая тяжко шёлкающую, взятую на вечер – наверно, пока отец спит пьяный – металлическую зажигалку.

– Не только закурить, – улыбается Леонид, – прошу на балкон! – и широким жестом (хоть и репетированным у зеркала, но всё же отчего-то внутренне выходящим не так сильно уж широким, честно говоря) приглашает гостей.

– Ну ты даёшь, валет! «Сынок, это море...» – «Иде?!», – декламируя дежурные строчки из дурацких анекдотов, Мирза не может понять и поверить, что лучшие места приготовлены именно для них, к какому-либо вниманию вообще непривычных. – Куда, Рая, Раиса, тормоз, мазафачка?!

Яха, Сажечка и Папаша уже восседали за почётным столом, но не мощно и основательно, а как-то наприлепках, и спешно, как будто вот-вот у них всё отберут, хрюпали водочку, выразительно морщились, занюхивали и закусывали. Тут любивший пофантазировать Леонид Морозов осознал, что все его сценарии и затеи и планы мало чего стоят. Вот они сидят, жрут, даже не чокаясь, не радуясь и мало что осозная, и не нужна им ни приветственная речь, ни «аттракционы», ни само ибупрофенство-атитекторство... Они даже не подзывают его: мол, Лёньк, Ган, давай, прибухни с нами!.. Хотя... дух сей всё же русской натуре присущ и возникает тут и там сам собою... Главное – начать...

Подозвал Бадорника, чтоб тот включил микрофон. Встал и, волнуясь и покачиваясь, обратился к залу, на ходу понимая, что собрались тут абсолютно все – как в любой выходной в клубе, и по хрену зачем и за чей счёт, платить никто ни за что не собирается, а «аттракционы» и «конкурсы» на одних пьяных сегрегатах, если их не будут урегулировать и скрашивать визгливые умильные учтиля и их не совсем ещё перезревшие доченьки (именно этих двух категорий здесь почему-то и не присутствовало; а где же девчечки-то наши – в клубе?!.. здесь почему-то только обтёршиеся уже, состоявшиеся, всем известные мадамы...), невозможны как таковые. Все не слушали, перебивали,

выкрикивали nepотpeбцину и самопровозглашённые тосты не по теме, а Папаша сидел красный, безо всякого преувеличения, как рак, выкатив остекленевшие глаза, словно неживой, а где Шлёпа вообще непонятно – не факт, что не валяется в луже на углу или под кустом в оградке, замерзая, бляя, барахтаясь в прямом смысле слова, пытаясь (или уже не пытаясь) встать...

Морозов внутренне дрогнул, болезненно, до резей в глазах обиделся (ведь хотел для всех, хотел для Яночки, чтобы Яночке, с Яночкой...), но сделал над собой усилие и, притянув микрофон прямо ко рту, громко провозгласил, всё же закончив эффектно и пафосно-иронично: «Так выпьем же, друзья мои, односельчане! Да здравствует праздник! Праздник жизни! Е.ись – всё – конём!!!»

Тут вместо заготовленной мрачной фоновой программы «Агаты Кристи» «Поиграем в декаданс...» позвучали слова прямо в тему:

Сегодня хуже, чем вчера –
Всё задом наперёд...

– и Ган и его дружки поняли, что рванула следующая песня, дробно-ритмичная «Ни там, ни тут». И тотчас же они, не сговариваясь и не мешкая, наученные затеями своего негласного предводителя, вскочили из-за стола и давай выделять, рьяно-пьяно подпевая истеричному:

Я пацелую провода –
И не ударит меня ток!..
Заводит молния меня –
Как жаль, что я её не смог!..

Естественно, что «смог» звучало как какой-то «мох», и тогда в начале удачно пелось «не ударит меня Бог». Но всё это было в сознании одного человека...

Тут пустились в пляс и многие другие, даже от кого не ожидали. Появились Яхин отец Левон и хромой-одноногий Костыль, люди уж совсем в годах и вплотную жрущие, и начали отплясывать что-то навряд цыганочки, дробно отстукивая – три пятки галош на валенках, один железный набалдашник и один какой-то резиновый! – и конечно, общёлкивая себя ладонями, и припевая на куплеты, которые тоже русско-надрывно орали их неразумные дети и «дети»

(Зимою будет веселей –
Нас пустят в рай!

Зимою будет холодней –
И пускай!!!),

хорошо ложившиеся на ритм самые непристойные частушки, и конечно, присвистывали:

На х.й нитки не мотай –
Это не катушка!
В жопу тоже не давай –
Это не игрушка!

Потом по волеизъявлению Змия запустили «Сепультуру», и все, как и предполагал Морозов, сразу застопорились, растерялись, приосанились, да и сели обратно за столы...

Тут Морозов жестом убрал музыку и вновь обратился к народу. Он провозгласил Яху и Мирзу своими помощниками-распорядителями, и вверил в их красные потные и желтоватые маленькие с обгрызенными грязными ногтями руки весь вечер, а именно: управление-понукание одним Сором. (Серёга что-то всё приватно обговаривал с Белохлебовым, очень увлечённый, мало в чём участвуя. А сам он захотел выйти обойти вокруг школы – помочиться на угол, посмотреть, где Шлёпа, горят ли окна у бабани, и главное – нет ли поблизости Яночки, не раздаётся ли в весеннем

невыносимом воздухе её звонкий звёздный смех... может быть, добежать, не одеваясь, доскользить по бугристому насту, даже до клуба...)

Прошлого нет – оно прошло
прощало обещало навещало ночью хорошо
настоящее по насту возбуждённо будущего
непринуждённо – пока стоит – прошло
по-над пропастью – куда и листопад – прошедшего
по шершавому настру
по настилу чёрной смежной глины белоснежной
в заклинивших калошах как лыжах
оставляя-ляя лёпетный след
идёт ещё

Настенька! Настоящая Яна моя наяву! ау!

21.

Мирза нашёл Бадора моющим посуду в кабинете биологии, оборудованном под кухню.

– Э, Витё-ок! где «Сепултура»?! Нэво-о-о! Джассик фомако! – проорал он что-то нечлено-раздельное басовитым шёпотом, вытрескав свои большие глазауси и вызывая металлестскую «козу».

Бадорник вздрогнул от неожиданности и уронил тарелки, и они разбились. Он обернулся: это был всего лишь его ученик Мирза, маленький, неказистый и тихий...

– Тормоз, Рая! Убирай теперь! «И-де-э?!» В ми-а-нде!

...но пьяный правда в дуплет.

– Оставь свои словечки и убирайся отсюда! – С-ор никогда не думал, что сможет сказать что-то подобное этому ученику, всегда такому скромному и незаметному, подверженному издевательствам Яхи и всеобщим насмешкам из-за своего имени и выговора, а главное – земляку из Махачкалы.

– Что ты, Рая?! – взвизгнул Мирза, брызгая слюной, вытрескав зенки и краснея, и как-то выступая всей грудью вперёд.

– Уж чего-чего, от кого-от кого, а уж такого я от тебя, Мирзоев, не ожидал... – пробормотал Бадор почти про себя. – Совсем наглость потеряли... совесть... – И стал было подбирать тарелки.

– Рая, Ган сказал тобой управлять! Давай, щён, по-пырому за сигаретами мне сгоняй! Брось эту побардены-то!

Бадор медленно распрямился. Было видно, что ему неудобно подчиняться приказам пьяного молокососа, тем более, уж совсем *отношения к делу не имеющего*, и он медлил.

– Рая, блять! – рванул его Мирза за брюки, – давай, пошёл! Придётся – бабка выйдет, ей скажешь: на шкафу, на верхей полке!.. Все сигары растащили, Витьки... – Ослабил хватку и вокал и вяло побрёл куда-то...

Делать нечего – накинул плащ и в путь.

Между тем Яха, уже набравшийся, наверное, больше всех, сильно шатался, но всё ещё топтался на ногах в общем кругу – его все будто поддерживали, а на самом деле швыряли по кругу. Он часто падал, собирая углы, посуду и аппаратуру. И вот в тот самый момент, когда учитель проходил мимо, устремившись по порученью распорядителя, Яху кто-то киднул прямо на него, и он с ним столкнулся, но тот успел его кое-как подхватить.

– О, этъ ты, куржопищий?! – как раз в паузе между песнями прозвучали до бычачьей интонации развязно-пьяные слова Яхи, и все удохли. – Дер-жи мен-ня, – икнул он, расслабившись в объятьях учителя, – вишь: па-да-ю!.. – С-ор что-то проурчал и попытался высвободиться, прилаживая Яху к стенке.

– Бар... ба-ард... Бадор! – сползал он по стенке, ускользая из рук учителя, как-то весь слюнявясь и втягивая в свой носик мерзкую, явно зелёную даже в темноте, будто детскую, соплю, которую

наконец-то высморкал, приложившись, в ворот учительского плаща.

– Вы-петь!.. – провозгласил он через губонепереплюйки, и повалился на бок, пытаясь увлечь за собой и своего в буквальном смысле ухажёра.

Бадор же, не будь дурак, сбросил его, и быстро устремился к выходу.

Когда поднимали Яху, тут случился и Серж, и тот пожаловался на плохое обращение. И как только Бадорник с облегчением шагнул за порог, его как раз за сопливый ворот схватила рука Папаши.

– Куда этъ ты чалишь?! А ну!

Он со всей дури рванул его обратно, и оторвав ручишу и часть воротника, обнаружил на них сопли.

– А ну! Ща те об усы вытеру! – и попытался сделать это; С-ор чуть не заплакал.

– Иди за самогоном сходи, не понял что ль!

...Кое-как он выбрался из Папашиных лапищ, и потрусил, показав свои три тыщи и собрав ещё две с подвернувшегося местного населения, к знаменитому дому и семейству Ивана Фрола – про которых в деревне лаконично говорят «они гонят». Но прямо на углу столкнулся с Мирзой.

– Так, Рая! И куда это мы суда?!

– П-пап-паша сказал: за самогоном...

– Какой Паша, Витёк, Рая, ёк-накорёк?!

– ...За самогоном... за самогоном... – механически урчал он, как-то дёргаясь и перебирая ногами на месте, удерживаемый держащимся за его карман карликом Мирзой, уже ничего не осознавая, и почему-то ещё в голове само собой думалось и повторялось: сейчас ещё спросит: «За каким самогоном?!»

– За каким самогоном?!

– Но Яха...

– Мне по фигу, что Яхо, Раиса ты редиса, Горбач ты, мой дядя дорогой!

Учитель попытался объяснить, что сейчас «слётает», как у нас говорят, сначала за тем, а потом так же быстро и исправно, за другим, но Мурза не особо ему внял, и обвиснув на плащике, полуповелел сопровождать себя обратно в школу – не бросать же...

При входе, отягощённом множеством препятствий и пертурбаций, из мигающей полутьмы вроде бы выплывал Яха, приближавшийся к ним, дабы не упасть, по стенке...

...Через дюжину мучительнейших для учителя минут они с ним и встретились...

– Сх... сх... – заикался Яха, пытаясь преобразовать рвотные позывы в слова. – Сх-хадил?!

– М-меня не пускают...

– Х-то-о?! – с внезапно откуда-то взявшейся силой и дурью взревел Яха, и, оторвавшись от стены, как от магнита, рванулся на них. «Ну всё...» – подумал Бадорник, но напрасно: словно при-тянутый более сильным магнитом, он дал немного вбок – в притолоку двери – сразлёту врезался башкой – так и шее можно сломать!

С-ор непроизвольно кинулся его подбирать, да так усердно, что даже вмиг освободился от Мирзы.

...Освободившись из-под них обоих, мирно сплетавшихся на грязном полу на входе в школу, он поспешил исполнять их волю, решив сначала – по порядку поступления заказа и в силу обоих оных равнозначности – отправиться, хоть и не ближний свет, за сигаретами.

22.

Меж тем один из так называемых аттракционов всё же нашёл своё по-пьяному корявое воплощение. Распоряжался тут уже Серёга. *(Далее текст зашифрован и местами зачёркнут «цензурой», поэтому вынуждены в данном случае поприветствовать довольно обширные интерполяции и заранее принести извинения за правдоподобные описания насилия. – Авт.)*

Затея сия, как помнится, возникла ещё давно и как бы сама собою – всего-то надо было разбежаться в дальнем, редко посещаемом учителями крыле коридора, и, подпрыгнув, приложиться по стенке пинком – кто выше ударит. Естественно, во-первых, что достижения отмечались мелом,

а в лучших случаях сразу намазанной им подошвой; во-вторых, что личный рекорд принадлежал даже не «каратистам» Жеке или Шлёпе, а длинногачему Сусе (звательно-ласкательное от Суслик), и в-третьих, что абсолютные рекорды достигались почему-то негласно допускаемыми парными выступлениями, и, что уж и совсем естественно, самый абсолютный из них был установлен тем же Сусликом, уе.авшим в подобии прыжка пинчища мелкому и прыткому Швырочку, резво заподпрыгнувшему на стенку в свою скромную, но оттого не менее важную очередь. (Здесь, конечно, надо сказать, не избежать неких неестественных последствий, и все сразу начинают говорить о каком-то «опущении кишечника», но это же, однако, в так называемом «лучшем случае» – ведь можно промахнуться и зарядить своему напарнику куда угодно!.. По словам знатоков, удар сей называется *вкочерыжить*, потому что боль от него пронизывает всю область простаты (вообще от задней точки до переднего конца) и служит добрым средством к её профилактике – или, скорее, конечно, наоборот). Как вы поняли, всё дело в синхронности...

Теперь эта потаённая экстремальная забава была перенесена в самый что ни на есть центральный коридор – самое основное место, где проходят линейки, физкультзарядки и уроки физ-ры, а иногда и так называемые «Весёлые старты», максимум изобретательности и жертвенности на коих – прыжки в мешках или какая-нибудь чехарда. Почти все почему-то, хотя им и было предварительно всё разъяснено и именно это-то и запрещено, пытались впечатать ботинком или калошей в портреты гостей, а особым шиком считалось, конечно, «достать до свово патрета»!..

После нескольких хаотичных одиночных попыток (кстати, первым всё же прыгнул сам Морозов, установив, кстати, довольно хорошую за всю историю со- (или ис-?) -стязаний среднюю планку, в этот раз никем не взятую – да-да, скорее всего, по причине пьянства; кстати, он был довольно лёгок и прыгуч всегда – никогда такими вещами не гребовал), Серж стал подначивать публику, дабы она подначила разбиться на пары многим уже известных атлетов.

И короче, начались «Весёлые старты» (или страсти). Весь какой-то огрубевший, закостеневший от выпивки, непомерно красный с красными остекленевшими, будто искусственными – но всё же живо выражавшими дурачье мертвящее выражение – глазами Папаша схватил мёртвой хваткой ничего не подозревавшего лыбящегося, скалящегося и раечкающего Мирзу. Вскоре его насильно разогнали (держа-таща за руки) причём не боком, а как-то прям в лобовую в стенку, и громыхающий кирзачами, негнущийся и одухотворённый только фантазией что-твой-Железный-Дровосек Папаша, громогласно оттопав вслед за ним три шажища, шарахнул бедному прям под копчик.

Естественно, что попытка не была результативной, и всеми сразу же было решено её повторить. После почти что десятиминутных оваций корчащегося на полу Мирзу уж было опять подымали и потащили, но вступились Ган и Серж...

А тут как раз подоспел пойманный сердоболными сотоварищами-односельчанами Швырочек, уже почти избегнувший очередного титула... но всё же, эх... словленный ими на выходе в раздевалке!.. Само его наименование, судя по рукоплесканиям и рукоположениям публики, даёт ему большие преимущества...

Но тут случилось непредвиденное. Раздалось Белохлебовское «Са-ашк!», и хоть и пьяный, но достаточно быстро сообразивший помощник, уже тоже утекавший и почти миновавший сей чаши, был настигнут, сбит с ног и схвачен, – и откуда-то из тёмной чаши раздевалки послышалось весёлое простонародное «Сдябрили!»...

Потом были довольно продолжительные консультации тренера-новатора со спортсменом – как пить дать будущим рекордсменом. Со стороны слышалось: «Не буду!» – «Будишь!» – «А эсли ему с двух сторон всадить» – «Да он ссохший, лёгкий, точняк».

Надо ли уточнять, что после всего сего со всем уже намеренно смирившийся Сажечка был отпущен Белохлебовым – откуда-то из затемнённого угла – и выскочив, шарахаясь из стороны в сторону, как аглицкий иль польский кролик от русских борзых, чудом как-то вильнул от тяжелейшего удара Папаши, – фу, увильнул!.. – а потом – чисто случайно! – проскочил как-то вроде прям под чудовищно задранной в дурачье пируэте ножницей Суси и рванул на выход, и даже был таков. «Эх-хе, – вздыхал атитектор главный фермер, – такой дуэт расстроился!..»

И наконец, под гром аплодисментов, под романтическую музыку («Ты морячка, я моряк...») в

свете прожектора (кто-то управляет за С-ора) на лёд пола вышла знаменитая пара – двукратные чемпионы правого крыла коридора и априори нынешние фавориты. Швырочек ёрзал в объятиях партнёра и вырывался, как заяц в «Ну погоди!», а Суся, двухметровая обдупленная дядильня с «железной губой», как Волк, кланялся, пожёвывая в вставных стальных зубах цыгарку.

Наконец, разогнавшись – в обнимку и полузадом – полукругом по залу, они одновременно – один за другим – въехали по касательной к заветной доске почёта и, ещё более синхронизированно выполнив некое подобие «пистолетика», – у первого переходящего в «тулупчик», а у второго в пинчекрен, – засадили его ему. Попал кроссовком ему, а он своим ему на портрете в лоб. Такая вот кода па-де-дё. Все были очень довольны (а Ган, видимо, всё же почему-то и не очень), и даже сами чемпионы, получившие в качестве приза отдельно припасённый литровый кубок водки, разделить тяжесть которого, впрочем, тут же нашлось много желающих (большинство из которых тут же получили от Суси наградного пинка).

23.

«Посидим мы вечером, / Нам поможет интернет!..» – бурчал-напевал себе под нос Бадорник какую-то ахиною, поспешая трусцой, полусгорбившись, полускользя по хрустким корявым ледышкам.

А между тем друзья-оппоненты Яха и Мирза опять всё возились на полу у раздевалки. Стоя на четвереньках, они то обнимались, то бодались, взаимно назывались братьями, друганами и корешами, горячо клялись в любви и уважении, даже до того, что готовы отдать друг за друга жизнь, но конкретно в этом случае «конкретно уступить» никак не могли. При этом, естественно, не обращалось никакого внимания на то что, гонец уже удалился, и что давно приблизился Швырок, который уж было хотел уж в очередной раз даже слинять домой, но по дороге был встречен Яхиной матерей, направлявшей с кипятильником в руках в школу на поиски своих Левона да Яхи, которую заверил, что сам, быстренько вернувшись-обернувшись, тотчас же их найдёт и полностью возвернёт в лоно семьи безо всяких электронагревательных-нравоучительных приборов.

– Лёньк, хватит полозить, вставай!.. – хватал и тянул он ручонками Яху то за руку, то за кудри, – щас мать придёт с кипятильником!..

– Яп-понский ты крокодил!.. – изредка отвечал Яха, как бы переключившись на Швырочка, но если очень прислушаться, то он, скорее всего, вторил своему Левону, который тоже лежал, прикнувшись, у двери учительской и изредка произносил сам для себя то же самое ругательство – получалась своего рода переключка поколений.

В этот момент раздался стук в дверь и послышались какие-то словеса, и Мирза несмотря на то, что был поглощён участием в диспуте, распознал, кто их произнёс. *Директор!*

Он отбрыкнулся от брательника и как мог расторопно кинулся к двери задвигать засов. Оказалось, что, конечно же, он был не закрыт, просто Кенарь в первый раз дёрнул дверь несильно, сам подумав, что она заперта. Тут же он кинулся искать Сержа или Гана. (А Яха, как ни странно, продолжал и спор, и переключку, изредка приговаривая про крокодила и что «с-снач-чала зы с-магоным, а патом...»)

Когда сказали Леониду, он сразу принял решение, но довольно необычное и жёсткое. Выключить свет, Кенаря запустить, накинуть ему на голову мешок, связать, кинуть его в кабинет биологии (единственный, от коего на руках были ключи), заперев, а завтра С-ор его выпустит. Большие мешки от картошки, как знал Морозов, находились в мастерской, где недавно только на уроке «домоводства» девочки их зашивали, там же было можно отмотать сколько угодно верёвки или проволоки. Был послан еле ходячий Швырочек. Сегрегата Папашу будили всем миром, лауреату Сусе почти полчаса объясняли. Но как ни странно, Кенарь не ушёл, и всё получилось...

Уязвлённый отсутствием Яны и вообще общей безнадёжностью в отношениях с ней, Морозов вспомнил и решил припомнить директору один недавний случай. Правда, честно сказать, он и сам его понял не до конца, и присутствовал на инциденте не с начала, но из-за своей природной проныцательности, кажется, догадался. Во время линейки, уже под конец её, когда все вопросы с присущей ему педантичностью Кенарь уже *обговорил*, он вдруг назвал фамилию Яны и с присущей ему

и всем административным деятелям косноязычностью, используя какие-то мерзкие недоговорки типа «а есть ещё и такие...» или «я думал, что ученица, которая является твёрдым хорошистом, твёрдо себе должна представлять...» и «не даром ведь её брат...» поведал недавнюю историю на дискотеке, суть которой, как с трудом (и ужасом!) понял Морозов, сводилась к тому, что тов. директор повстречал Янку где-то в коридоре в объятьях чувака из Петровки, который на пять лет её старше, и он же, подобно её братцу, широко известен своими ратными и прочими подвигами. Или «не совсем уж совсем так...» (очевидно, не совсем в объятьях) – «во всяком случае, мне так показалось...» Лёнечка был шокирован не меньше всех остальных, но чисто эмоционально, ведь с другой стороны рационально он твердил себе: «Ну и что ж такого-то?!» Яночка ему нравилась за то, что пресловутое учительско-обывательское «благоразумие» ей было чуждо, и она как-то даже неосознанно пыталась бороться против него, пусть по-своему, примитивно и спонтанно, но всё же... «А на той-то неделе тоже наша Яна общалась, но все мы видели, с кем, и тоже все мы его знаем...» – короче, «получается – да, Яна? – кто хочешь подходи, только надо быть крутым...» И он услышал, как в рядах старых кто-то негромко брякнул: «Пьяная баба манде не хозяйка», и показалось, что краем уха услышал это и директор, и что на мгновение краем губ улыбнулся... И он увидел, как помутнели-увлажнились её красивые карие глаза, как сверкнули знакомой по взгляду её братца яростью, как кровь прилила – красиво, будто румянец – к её лицу, и она стала вдруг слегка красновато-пышущей и растрёпанной, как после длинной пробежки на физ-ре (или ох-нормального секса!) и свом почти ещё детским, наиграно-подростковым, но уже по-женски красивым, томно-грудным голосом произнесла над всеми: «*Нем! Неправда!*» И она заплакала, закрыла ладонями лицо и убежала в класс. А потом ещё сидела на уроке, превратившемся в некое обсуждение, тоже закрывалась и тихо плакала, утираясь тыльной стороной ладони (он даже хотел проявить смелость – и по-рыцарски, по-рей-баттлеровски предложить ей свой платок, но он был какой-то уж совсем маленький и детско-непрезентабельный) и изредка страшновато сверкая глазами и проговаривая: «Нет, неправда». Классуха и «весь класс» её как бы поддержали, но всё это было тоже всё равно как-то по-школьному мерзко, а сама Яночка под конец уж утешилась жеванием жевачки, а тут ещё с поддержкой и с завсегдашней фамильярностью «Можно у вас посидеть?» пришли два товарища-старшеклассника, уселись на заднюю парту и оттуда громко вещали: «Ничё, Янух, не реви, всё будет ничтяк», а негромко перебрасывались ещё некоторыми рассуждениями: «Ну чё, уж пора начинать... Не на этой дискотеке, так на другой – или Олег, или Лапа опять приедет... А чё, все порются, и Яночке пора уж тусить... а то уж совсем... Все, а она типа не как все. Другие вон мелкие, страшные, ноги как спички, а того... а Янка сочная вся, нормальная – особенно поп-па!.. у!.. Правда братан, говорят, сказал, что кто Янку тронет, того прирежу. Я х.ею с нево, но он же сделает!.. Но Лапе-то или даже Олегу похрен наверно, тем боле, что она и сама токо к ним и липнет – тоже ведь нашла к кому! Я бы вот её!.. Ну ничё, подождём...»

24.

Учитель математики, бормоча уже «Сучка, заморыш вонючий, убью!..», немного запалившись, остановился у дома Мирзы, как бы всё ещё определяя, тот ли это дом или нет. С того планта – то бишь того посёлка, с той улицы на том берегу речки – то есть, проще говоря, если смотреть от школы, прямо с её порога, то прям и увидишь вдали этот домик – весь светло-беловатый и маленький на фоне тёмных других, стоящий немного особняком на некоем пригорке, без деревьев и кустов вокруг и почитай вовсе без оградки, потому что она давно развалилась и большую часть её уже поистопили в печке.

С-ор, с его почитай что профессиональным интересом к зодчеству, отметил, что белым дом казался из-за того, что половину его составляли сени, сделанные, можно сказать, из дерева, а на самом деле что называется кой из чего, обитые дранкой и обмазанные, но вроде бы по-нормальному не оштукатуренные, а прямо почти как у него на родине, то есть и раствор-то этот не на цементе или извести, а на коровьем помёте и глине, и, уже судя по тому, как он осыпался, и эти компоненты экономились, а в основном в нём солома да песок. Кирпичная же часть дома была также оштукатурена (в отличие от соседних домов, да и вообще, наверно, всех домов деревни), но тоже вся облупилась,

осыпалась, обнажая более ранние слои, уже штукатурку на извёстке, но с сильным преобладанием песка, оправданным, как вы поняли, не какой-то особой технологией, но только послевоенной низкотой; крупные, старого производства, тёмно-красные кирпичи были нейтрализованы сверху тем же раствором, рассыпавшимся-растёкшимся из пазов между ними, из-за чего издавала всё и выглядело светлым. Во многих местах кирпичи были выщерблены очень сильно, а кроме того, были две трещины во всю стену, и даже напрашивались мысли, как домик еще стоит...

От ветра качалась антенна, сделанная из трубок от раскладушки и какой-то палки-коряги, и закреплённая несколькими слабыми проволочными растяжками сбоку крыши. Весь домик, казалось, содрогался с каждым порывом, и казалось, что даже голубоватое мерцающее сияние телевизора и пробивающийся через крайнее оконце с одинарным стеклом вокал Листьева (да, ещё не Якубовича! – 2008) на мгновение гаснут и прерываются, как ещё в недалёкое время поздней у нас электрификации и само электричество... Впрочем, подумал учитель, это наверное проводка и шалит, а не антенна (а на самом деле особенно хреновы провода, идущие от деревянного столба у дома к изоляторам, вкрученным вверх у крыши), и осторожно, даже боясь разбить, постучал в *однойное*, как здесь говорят, стекло – сначала показалось: *треснутое*, а на самом деле составное из фрагментов.

После коротких вопросов и ответов в сенцах появился свет, и его пригласили войти – объяснить и показать, где конкретно, потому как «так ведь никак не найти: рано ведь внуке курить-то... хоть все и знают, что курить...» Полы под тяжестью человека сразу закрипели, и когда бабка захлопнула дверь, весь дом опять будто заходил ходуном, и сразу ударил в нос этот непонятный и неприятный запах, который тут у всех в сенях, а у некоторых и в домах. Что-то такое застарелое, залежалое – все эти изначально полусгнившие доски, находящийся тут же за занавеской ларь с зерном (которое тоже ведь гниёт, к тому же мыши со всеми их продуктами жизнедеятельности), всякая столетняя утварь, засохшие, то замерзающие, то оттаивающие остатки съестного, запасы, и к тому же ещё и помойное ведро, и, как показалось С-ору, самый обязательный компонент – непеременившийся запах клеёнки, которой обязательно застелен стол, а то и два, какие-нибудь полки, а то и обиты стены.

«Зато на двери подкова, – отметил опять про себя С-ор, – и не какая-нибудь декоративная, а самая настоящая – большая, ржавая, старая наверно».

Бабка зажгла свет и тут на бурчание «чёрного» сообщила, что «мáтря-то опять на работе на сутках, а сам-то опять *венчается* (т.е. по-нашему, «является», пьянствует) где-й-то». Гость стоял в пороге, тяжело дыша и отфыркиваясь от неприятного запаха, а теперь ещё от липшей прямо в усы и нос плисовой шторы, так и источающей из себя пыль и мелкие ошмётки паутины, тоже все в пыли и сами почти в неё превратившиеся.

В центре композиции – а точнее, посередине единственной комнаты – сиял буквально-таки старого образца деревянный диван, обитый несуразно красным дерматином, наполовину облупившимся, изрезанным и сплошь прожжённым сигаретами. Рядом с ним, и так же, как и он, как тоже отметил вошедший, «на единственной изящной вещи» – национальном ковре, правда очень грязном и примятом, всё усыпанном пеплом и даже горелыми спичками и окурками (так и кольнуло в сердце: «А этот даже и получше моего!..») стояли три предмета для курения, напомнившие когда-то более привычный восточный кальян – собственно пепельница, сделанная, кажется, из алюминиевого держателя автомобильного зеркала, и две консервных банки с обработанными краями, в одной лежали крупные бычки, а в другой уже вышелушенное их содержимое – можно повторно набить и покурить. Это было понятно даже и ему, никогда табака в рот не бравшему. Напротив дивана у стены – телевизор, чёрно-белый, не маленький, но с таким тусмленным изображением, что смотреть его можно только при выключенном свете – тем более, что посредине комнаты, прямо над диваном, ярко мерцала лампочка без абажура, на изогнутом буквой S проводе и вся засиженная мухами, в 60 ватт, если точно, – а мерцала потому, что мгновениями почти гасла, а чуть более длинными мгновениями, секунд до пяти, становилась как бы слабее, ватт до 40, а то, чего греха таить, и всех 20, и стоял он даже не на развалившейся тумбочке, как вы подумали, а на старинном табурете, неуклюжем, как бы увеличенном вдвое, в облупившихся местах всё в точках от жуков-короедов. «Это дефект ещё самого материала. И это конец 20-го века!..» – подумалось С-ору. Рядом

плоскогубцы – переключать каналы – «своего рода remote control!».

Впрочем, была тут и пресловутая тумбочка, а на ней и в ней – детали современности – магнитофон с расковырянной кассетной декой и сами кассеты, расставленные аккуратно и хаотично разбросанные, осеняющие пространство чёрно-фломастерными печатно-крупными надписями на бело-тетрадошных корешках: «ЛАСКОВЫЙ МАЙ/ЛАСКОВЫЙ БЫК», «ПЕТЛЮРА/НЭНСИ», «СЕПУЛЬТУРА/КАР-МЭН», «ДР. АЛБАН/ИНОСТРАНЩИНА»...

Ну что ещё? Покосившийся стол с клеёной и выщербленными треснутыми чашками, иконы-фотографии над ним, под ними – фото полуголых баб из журналов, оклеенные по бокам таковыми же объектами, но уже от жувачек (из всех трёх видов фоток глянцевые только последние. – 2008), шифоньер с разбевшимся и забрызганным зеркалом, крашенный той же краской, что и пол с табуретом, ещё один тубарет, железная кровать – запроващенная, с навешанными на грядущки выходными вещами, ещё две кровати за занавеской (торчат) – одна «полутораспальная» черепаховая, другая, как видно, самодельная деревянная, на них – пузатые подушки и горы белья и шмотья, уже самого повседневного. Слева от входа – чулан – крохотная, тоже как бы отгороженная занавесками комнатка, служащая кухней, а заодно истопной, а заодно и туалетом (только по-маленькому, когда уж совсем холодно, и неохота выходить на улицу – тоже пахнет помоями), а раз в неделю (а то и в две) – ванной (из сеней заносится оцинкованное корыто) и прачечной (оно же)... Вообще сама-то комната (т.е. все «комнаты», весь дом) весьма, так сказать, небольшая; стены побелены извёсткой, все осыпавшиеся и, кажется, буквально на глазах осыпающиеся, так и источающие в воздух эту свою сыпучу, а ещё, конечно, и копоть, и пыль с паутиной... Три крохотных низеньких окошка – уже двойные, занавешенные, с торчащими сквозь «выбитые» занавески лапами-коряжниками от цветка-дурака (алоз) и пропечатывающимися на тех же занавесках ржавых пятен от железнобаночных кадок. И ещё дрова лежат в чулане у плиты и калоши стоят вот здесь, в пороге под ногами... И прямо сказать, холодно-вато и здесь, пахнет, кроме прочего, гарью и выгоревшим безвоздушьем (это как бы тут, вблизи) и одновременно (как бы там, в глубине комнаты, кажется, вверху у потолка) – затхлостью, сыростью и плесенью. Кроме того, невыносимо резкий запах от всех этих гадостей, связанных с курением. То есть, можно сказать, всё как несколько десятилетий назад...

Деревенские избы, размышлял пришлец, какого-то там века, ну наверно, 19-го, когда их показываю как музей, выглядят куда привлекательней. Всё аккуратно, досчато-бревёнчато, половички, занавески, утварь (у, тварь!)... печка, чугуны-ухваты, тяжёлые железные утюги... лучина... копоть, конечно – топили, говорят, чуть не по-чёрному... солому стелили (или летом траву) на пол и на настилы, где спали – всё это, конечно, не сравнить с нашим непередаваемым уютом и колоритом, но всё же не такое охальство, как вот это!..

Бадор, один из первых в селе получивший квартиру современного типа (типа коттеджа) невольно подумал, как хорошо живётся ему самому: большие комнаты, отопительная система, ванная, туалет, большие открывающиеся окна, мебель наконец, телевидеоаппаратура, новенький японский музыкальный центр, цветомузыка... компьютер скоро куплю... просторная кухня, красиво отделанная им самим рейками, со множеством самодельной же деревянной утвари... холодильник, тостер, миксер... аквариум наконец, самодельная подсветка, цветомузыка та же... все эти красивые поделки – вешалки из лакированных коряг, резные доски-мешалки, скульптуры из песчаника, ракушек и прочей морской невидали, – так поражающие гостей – нерадивых, мало чего видавших в жизни селян...

Братья Морозовы, помнится, как только он приехал несколько лет назад, тоже напросились через других школьников к нему в гости и тоже были весьма поражены. И поражал их в том числе тот же контраст: сами они жили тоже в старом доме, но более-менее отремонтированном, и всё же получше – как-то почище, поцивильней – чем семейства Мирзы, а тем паче Яхи или там какого-нибудь Папаши... Лошадники – лошади почитай прямо в сенях, сено-солома, вонища-навозище, и зимой, и летом, зимой холодище от постоянного хождения по неиссякающим надобностям скотины, летом духотища всё равно, плюс из-за названной причины – мухота, весной и осенью – страшная грязь – всё в основном, можно сказать, из-за того же... И алкаши: постоянно затёрта брага в большом бачке или фляге, в двух, а то и трёх бачках или флягах, стоит воняет – и старшие, и сами

младшие Яха или Папаша постоянно ныряют в неё с кружкой, – потом выгоняется – запах сивухи и соблазн только усиливаются... и постоянные возлияния (у Яхи только отца Левона, у Папаши – ещё и матери), постоянные «гости», пьяные скандалы, а то и драки... У них же, Морозовых, только у бабушки была такая же скромная обстановка – конечно, исключая такую уж грязь, тесноту и всю эту мерзостную убожественность, которую продуцирует разжирание (да ещё в не меньшей степени и курение!), и они привыкли к ней, но всё же не могли представить себе жизнь без некоторых удобств родительского дома – таких, как цветной телевизор, чистая, мягкая постель, мягкая мебель, тепло и ванна... – впрочем, последняя у них только-только появилась, и хотя воду в неё надо греть уже не кипятильником в ведре, а титаном, но всё равно очень долго и воды мало, а туалет и по сей день на улице... Но и тут даже сохранилось кое-что от веками заведённых традиций: как правило на месяц холодную зимой берётся в дом только что отеленный телок (телёнок), а весь апрель всегда гостей шумные и вонючие цыплята... да и самогона иногда гонится – без него, как универсальной валюты или смазки, ни один сельхозпроизводственный процесс не стоит и начинать...

Белохлебов же жил на несколько домов: в одном, тоже у бабуки, всё тоже было примерно так же по-старинному, но тут он только, можно сказать, ел и спал, в другом доме (соседнем) у него устроено что-то типа склада – тут целые горы, тюки и сундуки со всем чем ни на есть – так сказать, припасы на жизнь будущую («У! у тебя, дядь Лёнь, как у фараона!» – смеются по этому поводу братья), и одна отделанная комнатка, где тусовалась (ночевать всё же гребовала – почти каждый день уезжала домой в город!) дочка, а третий, огромный и чуть ли не трёхэтажный, он потихоньку строил в самом центре села.

25.

Дальше пошла полнейшая бардель, которую, впрочем, многие и ожидали. Какой-то дуралей, вместо того, чтобы выключить свет в раздевалке, вырубил рубильник, и с необычным дурачим воодушевлением все бросились туда...

Кенаря, не церемонясь, швыряли и даже пинали, кое-как заволокли в кабинет биологии. Была целая толпа, и не успел Ган взмолиться: «Падцаны, харэ, ну харэ же!..» – как на фоне этих невнятных призывов к порядку ни с того ни с сего, безо всякого плана и провокации начался собственное погром. Брала и кидали – кому что под силу – парты и стулья – а все они и они с железными ножками!..

Это было что-то неопишное: почти в полной темноте, в замкнутом пространстве класса, почти что над самым лежащим в центре комнаты закукленным в мешок директором, как от автоматных очередей в американских боевиках непрерывно и с грохотом летело стекло и прочие внутренности шкафов со спиртовыми препаратами, и особенно эффектно – два довольно больших аквариума – кстати, любимое детище С-ора. Причём бросали, не зная друг на друга – ведь надо было чуть разбежаться, чтобы запустить стул или кидануть парту – а успел ты отбежать обратно или нет – уже твои проблемы. А уж на Кенаря и подавно никто внимания не обращал. Тем более, что он стоял в дверях и тоже вещал что-то невнятное типа гановского «харэ»...

(Сам же он, хвадивший адреналина и впечатлений инициатор, едва завидев его, и поняв, что вместо оного ополоумевшие пьяницы бугаи – ну конечно же! – заграбастали полозившего в коридоре Яху, а кроме того, судя по очутившемуся здесь директору, наверно ещё и выломали дверь класса, быстро ретировался – побыстрее к бабانه, описать весь небывалый кавардак.

Сначала начинаешь, думал он на бегу, вроде всё нормально, ясно и прикольно, потом сам ужаснешься, думаешь «Зачем всё?» и «Как такое вообще...», и хочется, чтобы всё было сном, а потом всё настолько разгоняется само собой, всё вокруг кружится и мельтешит, и появляется второе дыхание, как будто какая-то сила наполняет тебя и ведёт сама, и тут даёшь по полной, как и все – куда вывезет! – а успокаиваешься только когда всё кончилось и надо писать. Впрочем, только садишься за стол – нападает то же волнение, сдавленное где-то внутри, как пружина, – как будто всё опять повторяется. И повторяется – но уже в миниатюре...)

Сажечка же, который был, что твой цирковой карлик, водружён главным фермером сотоварищи прямо на главный стол в коридоре и плясавший было под аккомпанемент Белохлебовского

баяна, припевая что-то непотребно-патриотическое и прихлёбывая из горла, а чуть позже, когда все смылись, всё боялся слезть – ему, как с похмелья или по обкурке, чудилось, что стол под ним настолько высоченный, что слезть с него самостоятельно никак не представляется возможным! – наконец-то кое-как, аки переевший престарелый кошара или же молоденький неумелый котик, чуть не на когтях спустился с его краю по скатерти, стащив, конечно же, её за собой...

Через минуту-другую он уже самоотверженно, словно зазомбированный солдат будущего, бежал под ударами «стихий», между нагромождений стульев и парт, *спасая рыбу*... Вектор «спасения» ему, судя по всему, задала сковородка, которую он неизвестно где и почему захватил – он сидел на корточках, а потом прямо-таки ползал в осколках аквариума, разгребал и загребал их руками, стараясь выбрать крупных красных меченосцев и их «сосельдей по несчастью» гуппёшек.

«Буду жарить – буду!» – причитал он.

Когда набрал почти полную сковороду (конечно, не преминув при сем изрезать все свои сухонькие, промасленные до костей ручки, из коих, однако, супротив ожидания от их и его сухости, обильно текла кровящица!), невзначай столкнулся – в коридоре уже – с директором. Тот ему что-то говорил, но он не понимал и всё как загипнотизированный, то повышая голос и отрывисто, то переходя на причитания полущёпотом, сообщал: «Буду жарить, буду! Буду всё равно... Бу-ду!! Буду жарить, жарить буду!.. Рыбы нажарю... пожарить рыбки... рыбоньки поднажарить, эх... Ну, пожарить, да, да... Буду!!» При этом юрод ещё как-то щерился, причмокивал, посасывая зубы, неприлично ковырлся во рту окровавленной рукой и вроде бы даже кое-что жевал.

Когда уж совсем обезумевший от увиденного (да и от последних событий вообще!) Кенарь тоже как-то так машинально или гипнотически притянул к себе его вторую конечность, явно что-то сжимающую и скрывающую у пояса или за спиной, – чтоб убедиться, что «он, каналья, гад, хрустает сырую рыбу пополам со стеклом и лыбится!», то увидел в ней порядком обгрызенное восковое яблоко.

26.

13 марта

Часов в одиннадцать утра Серж направился к Белохлебову. Во дворе фермера не оказалось, и Серёжка решил зайти к нему домой, поскольку его распирало кое-что тому поведать. Дверь была открыта, бабка видно ушла к соседке. Из «избы» (главной большой комнаты) доносился храп, в отдалении напоминающий «умело аранжированный синтез звуков живой и неживой механики» или, иными словами, «когда стоишь у окна с прасятами с тачкой, а Ган выкидывает от них навоз, а рядом тарыхтит трактор».

Белохлебов, завернувшись не сказать уж что в рогожу, но в суперстарообрядное изветшавшее покрывальце, что называется дрых без задних ног на старом раскладном диване. Рядом на полу возлежали баян, двустволка и пустая бутылка от польской водки «Распутин».

«Так, понятно», – с улыбкой от всё более разгорающегося внутреннего предвкушения одобрил Серёжка, ещё раз огляделся (никого!), наклонился прямо к самому уху фермера и что есть мочи заорал: «Подъём!»

– А?! Что?! Ка-а-ак?! Фу, это ты что ль, Серёжк?

– Нет, не я! Сорок пять секунд, дядь Лёнь!

– Ох, Серёжа, как же мы вчера забардэли!.. – вздыхал Белохлебов, почёсывая спину. Всё хорошо понимающему Серёге видно было, что у главного фермера, когда он уж было встал с постели, от одного слова о вчерашнем потемнело в глазах, и он осел опять, как бы ослеплённый. И ещё потрясывало. – Ох приятно было, весело!.. Я в гармонь содил, плясали, барахтались все, все!.. А потом, апосля школы-то, ещё дома у меня – выпивали, веселились все, все!

«Кто все? Знаем мы вас, товарищ прапорщик: как пить дать один сидел, жрал, орал песни – бабке спать не давал!» – усмехнулся про себя догадливый Серж.

– Как жь я это люблю! – Продолжал изливать похмельный восторг души вчерашний гуляка. – Я вот вишь... да что там я – кажный серьёзный деловой человек! – как там у вас в школе говорится? – «Какой же русский?..» – хоть и из ума сшитый, а всё равно ка-ак возьмёт да и...

– Да, дядь Лёнь, не говори... – мягко согласился юный вестник, подставляя своё плечо для опоры

старшему, и всё с тем же внутренним чувством как бы между делом добавил: – и не только ты...

– Как?! – встрепенулся Белохлебов, остолбенев – вот-вот опадёт обратно...

– Так. Сажечка уехал к Генушки.

От простого этого предложения, как уже и было понятно, фермер свалился назад, на спину, и даже засучил ногами.

– Кагда?!! – вопил он. – На чём?!

– С утра, дядь Лёнь. На МТЗ своём... твоём.

– Крыса седая чахлая! Убью ведь обоих! – Фермер как-то перекатнулся на спине и приземлился на пол – почти на корточки. Схватил ружьё, попрыгал к сейфу, где был ещё и пистолет.

Напяливал форму с отпоротыми знаками отличия, похожую на извечное облачение Фиделя Кастро, спотыкаясь и путаясь в штанинах и рукавах, на ходу отдавая распоряжения Серёжке и пришедшей бабке.

27 (epentheticum-2).

Здесь необходимо сделать паузу нашему повествованию и отметить, что особенно сильно я искал (и особенно сильно надеялся на его энергетику и неординарность) один эпизод повести, написанный, как вроде я помню, в отдельной тетради с большими листами и зашифрованный полностью. Это был порноэпизод, собственно, может быть, и не относившийся именно к этой повести, но всё же про Яночку, и, как мне казалось, по-молодому яркий в своей расхожей теперь жёсткости – он бы стал, по моему замыслу, украшением и своего рода кульминационным завершением произведения (ведь, как я не вчитывался, ничего кроме подростковых соплей я в оригинальном тексте повести не нашёл) – каково же было моё удивление, когда, расшифровывая, я постепенно осознал, что тем же самым является и этот хваленый и вожделенный в воображении «порноэпизод»! Возникла ещё версия, что он был утерян, а это не он, но скорее всего, что всё же таковой и существовал только в воображении, и то сильно модифицировавшись уже впоследствии.

Тогда я решил восстановить его, то есть, простите, написать заново.

...И сейчас, спустя 15 лет, иногда просыпаюсь, чувствуя тот же самый образ, таящий где-то внутри глаз, таящийся где-то глубоко в этом визуально-предметальном пространстве, он же почти автоматически (почти, потому что иногда, видно, даже и с моим собственным усилием!..) всплывает, мерцая – насколько может *мерцать* ткань – впрочем, натянутая очень хорошими выпуклостями – живыми! – доступными в пределах вытянутой руки! – а на самом деле, конечно, абсолютно трансцендентно недоступными! – ярко-синяя, похожая вроде на тот невыносимо энергетичный синий цвет, что называют индиго – этот же образ всплывает и теперь при всяком воспроизведении в мыслях понятия «эротизм», «эротическое».

Некоторые уже догадались, может быть, что так сбивчиво и туманно я завёл речь что называется *всё о том же* – всего лишь об Яночкиных спортивных штанах, синих с бело-чёрными полосками-лампасами, – появившимися на ней чуть ли не в день ее пятнадцатилетия, и которые и свели меня с ума. Конечно, насколько можно свести 14-15-летнего. Иногда мне кажется и представляется, что вот если б я теперешний работал, допустим, в школе учителем (или даже что называется попал в прошлое чрез нехорошо названную таперича «червоточина» или «портал» складку времени или на худой конец его машину), то увидев Яночку на расстоянии вытянутой руки и ощутив на расстоянии ее тепла, теперешний я, познавший до болезненной ломоты в членах все номинации анального секса (кроме себе-пассивного), сошёл бы с ума в более буквальном смысле и/или отважился даже на то, что так часто делают в своих школах и семьях «тупые скотины» америкашки. С другой же стороны, конечно, мозг всё-таки тоже взрослеет и набирает критическую массу, это затрудняет непосредственное восприятие реальности, но делает его более культурным, и посему что подростку не даёт спать, окультуренному утончённому дядечке может даже не дать спать по другой причине – отвращения. Но я стараюсь не отказываться от более глубинного слоя своей культуры и, что твой Набоков бабочек (тоже св. рода аристократ, г-н и м-р, таинственный своей благопристойностью), пытаюсь наловить сих неуловимых образов, и даже тоже попытаться привести их к некоей целос-

тности, подобной не гербарию из сухих бабочек и жуков, а его же (слоя, наверно) гибкой до такой степени, что может в некотором роде считаться живой, системе художественной реальности.

И если уж выразиться ещё конкретнее (а то я никак не могу), то речь, конечно же, ведётся не о штанах как таковых, а об ее жопе в них, а ещё вернее – об них совместно, так сказать, в комплексе или системе. Извините.

У Маши Шараповой теперь есть такая фотка, где она стоит в упруго-устойчивом, спортивном таком рачке, настойчиво выставив-выпятив нам свою попу в спортивных штанах, и через них просвечивают нам те самые трусы с окантовочкой. * Просто отпад! Никакие купальники, стринги и голые пораскुरоченные-раздроченные дабл-дырки здесь и рядом не являлись! Только, естественно, попа для такой медитации (эх, хорошо бы картинку-то в 3D!) должна быть не слишком маленькой и не доже большой – в аккурат как у Машутки (ну, может, чуть-чуть, побольше, конечно...).

Моя ЯНА. Смугловатая кожа ее спины, торчащие трусы...

Нельзя сказать, что «вся ее поза дышит сладострастием», но кое-что, некое осознание, в ней уже проснулось, и когда она наклоняется, чтобы поднять ручку, или как будто бы неспециально нависает, облокотившись на парту, зачем-то прямо совсем сильно, как бы прямо над ней, устремившись, как и все, рассмотреть результаты контрольной – конечно, она осознаёт и чувствует, что все мужские взгляды (в основном, к счастью, единственно мой иногда плюс ещё Рывдьяньера, молодого учителя или С-ора) устремлены на неё, на ее привлекательно созданный зад в этих спортивных штанишках... О индиго! О проступающие в натяжении рубцы самых сексуальных в мире «совковых» трусиков!

Ходить в коротеньких майках и блузках, выгодно оголяющих торс с пупком, тогда ещё было не принято, мини-юбки тоже вызывали удивления и нарекания – самым писком моды и пределом эротики были лосины – они в основном были розово-блестящего или голубого цветов; о платьицах и комбинезончиках-шортиках в деревне вообще никто не помышлял; коричнево-чёрные юбки от девчачьей школьной формы носились только по особо будничным случаям; а спортивные штаны и были самой что ни на есть повседневной одеждой – причём и девочек, и мальчиков. Причём для первых при хорошей фигуре особым шиком считались штанишки в обтяжку, а у меня, например, были шикарные пришарованные чистосинтетические штанцы со спортивными полосочками и клиньями-вставками опять же розового и голубого цветов. Джинсы-варёнки (так называемые «Мальвины») давали по сравнению со спортивными трико не в пример более скучное представление о женской анатомии. Полуголые тела и почти полностью голые женские тела в повседневной рекламе по ТВ не мелькали, каналов «после шестой кнопки» с их так называемыми эротическими фильмами (что, как и зачем прививают эти убогие постановки с несносными америкосными мырдами – как раз конца 80-х – начала 90-х гг., – улыбками, переговорами и позами – отдельная тема исследования, которым почему-то никто не занимается) и рекламой у нас (а кажется, что и в стране вообще) не было, гламурных и порно журналов тоже, а кабеля, DVD, компьютеров, сотовых и Интернета и подавно. Вот и неповадно. Были, только появлялись у бедных видаки, но это чуть позже, и вообще особая статья. Короче, можно сказать, что несколько лет пределом моих мечтаний было увидеть просто двшку (желательно моего возраста – 12-16 лет) с хорошей фигуркой в трусах. Самой откровенной передачей, как говорили, была аэробика, но она меня особо не возбуждала, наверное потому, что спортсменки были всё же немного постарше (а именно: вдвое!), и операторы довольно-таки нечасто показывали то, что надо, а вернее как надо (условно от целого образа к частному, а не наоборот и не вразбой и в ущерб частному!); а фигурное катание и теннис показывали редко, да и вечером, когда все дома, да и не приучен, да и, честно говоря, никогда не лежала душа моя к спорту... – только к спортивным штанам!

28 (epentheticum-2).

Класе во втором я отчётливо понял, что такое «дружить» и что надо что называется «дружить с девочкой», выбрав по своему и всеобщему максимализму «самую красивую из них» (читай: «самую красивую из класса» – без вариантов), а для этого надо «обращать внимание», какового действия

* Кто автор не знам, посмотреть можно на otkisini.ru

существует уже два варианта: «плохой» – «дёргать за косички» и «хороший» – «давай, я понесу твой портфель». То есть, в отличие от анонимной и чисто «плотской» сексуальности дошкольного детства, сплошная романтика, идеализация или как там её – признак нашей культуры.

Я был стеснительный и выбрал второй. Но из-за этого же неотступного и, если можно так сказать, бурного стеснения я всё детство провёл только в фантазиях, как я, в очередной раз подгадывая так, чтобы при походе домой увязаться за Яночкой, скажу ей это «Давай я...» По-моему, я однажды всё же решился и сделал это – один раз. *Кое-как*, конечно.

Впрочем, как-то я вполне себе легко – наверно потому что сие на этот раз не было запланировано – достиг дото же самого, повадившись «проводить» нашу молодую и красивую училку. Мне было 8 лет, ей 23... И я ей сказал: «Давайте, я понесу ваш портфель». И она, покраснев, дала. И вскоре уже «*начали поговаривать*». Сначала меня вызвала на разговор мама и объяснила, что сие всё «неприлично» и «чтобы я больше не липнул» к Е. В., а когда и это не помогло (ведь я, как истинный джентльмен, не мог ей «сразу сказать» и всё прекратить по своему произволу), подобную беседу провёл уже директор. (А Яночку я тогда, судя по всему, избегал!.. Впрочем, она тоже быстро нашла мне замену.)

Объект же моего внимания, Янка, казалось мне и тогда, не испытывала особого стеснения: ходила *при всех* со мною домой (хотя прочие так не делали – «скрывались»), кроме того, *без свидетелей* (что говорит уже о чём-то?) подарила мне фото какой-то собаки – кокер-спаниеля, вырезанное, кажется, из журнала «Юный натуралист». Так для ча ж мене собачка-то энта?! – именно так вы и спросите. (Тем более, что я всегда любил *котов и богатырей*, и всегда широко пропагандировал это – выбором темы рисунка или доклада или довольно вольной её интерпретацией: например, нетрудно предположить, я что когда тема была «Зима» или «Лето», сезонный пейзаж служил у меня только обрамлением исторических или фелинологических сюжетов!..) Однако согласно тому же поверью, важен не подарок, а внимание...

Почитай же всю юность (пока не причастился, что твой Кастанеда пейотлю, расчудесному самогому – или пока не начались описываемые здесь события) я провёл в другой фантазии: я на велосипеде и предлагаю Яночке её подвести – чтобы она села на рамку. (Товарищ Губов растлил меня, поведая, как он подвозил подобным способом свою одноклассницу: она была в непривычной близости, и он разогнался настолько, что когда «как бы нечаянно» начал шупать её за «наливные буфера», ничего не могла сделать – «оставалось только кайфовать»!) Как ни странно, я и это воспринял – естественно, тоже *один* раз (подобно тому, как я всё же познакомился со своей мечтой из романа «Echo» – полумифической фотомodelью и нимфолесбией Уть-уть – сие описано уже в романе «Maximum Exxtremum»), и безо всяких там «буферов», поскольку они меня не интересовали, а больше другое – волосы, там, шея... Однако, Губову-то хорошо – он атлет. А я был довольно тщедушным, а Яночка весила наверное чуть ли не в два раза больше меня! Но я её всё равно домчал, по возможности ровно дыша и незаметно обоняя, почти до дому («почти» потому, что «братан Жека может увидеть»).

...Я помню эти майские дни, пронизанные не обычным, всеобще-заштатным (и довольно дурацким, как тоже казалось мне даже и тогда) пиететом по поводу весны, а чем-то странным и таким личным, чего сейчас уже почти нет... Каждый год, я помню, 25 мая, в день последнего звонка, у учеников младших классов занятий не было, и я с удовольствием отправлялся прямо с утра (по привычке просыпаться встав рано) в свой сад, где как раз в эту пору неожиданно вырастал и расцветал целый мир. Появлялась рослая трава, в которой заметно преобладали одуванчики – они были уже во весь рост, в расцвете, в самом цвете и в самом соку – и всё это буквально (можно вольно или невольно проверить); на косогоре за садом – сирень, и ещё ниже, совсем у реки – черёмуха, дарящая мимолётную эйфорию, ощущение, как будто всё происходит не здесь – а в тоже время здесь и сейчас! – но всё какое-то иное, новое, обещающее – как будто нет и не было (и не будет!) никакой школы, никаких долгих серых дней с жёсткостульным пристальным сидением и монотонной говорильней, никакого пространства прямых углов, геометрических фигур в шкафах и портретов на стенах, никаких осени и зимы... Ветра не было, сильно пекло солнце, ветви с лис-

точками уже немного скрывали тебя от посторонних взглядов, летали бабочки, пчёлы, стрекозы,* всё кишело жизнью, всё пахло и благоухало: яблони, вишня, слива, кружовник, малина. Ещё вчера, неделю назад, небольшие, но зато новые, свежие, ещё какие-то ручные, почти детско-игрушечные лопухи, колючки, крапива, простая и глухая, чистотел, кашки – теперь всё в настоящую величину – как будто у всех них – разнотравия – тоже именно сегодня последний звонок, и они, вырастая тут и там, «вступают во взрослую жизнь»... Обильная вездесущая крапива, перья чеснока, самого по себе выросшего под сливами и вишнями – обоих этих растений и заставляли всю вёсну нарывать по полному утрамбованному ведру цыплетам и поросётам – кстати, *в случае чего, отговорка, если кто застигнет*: мол, не просто созерцаю или «гуляю» (что само по себе в деревне не принято), а за делом – траву рву, а так – свобода!..

Да и весна, как мне кажется, была тогда другой не только субъективно, но и объективно: не такая ранняя, не скороспелая и спидозная, радиоактивно-гипертрофированная – с четырёхдневным цветением одуванчиков и лопухами в мае как в августе – как будто сбой в матрице, и июнь-июль как-то куда-то проскочили, – а постепенная, настоящая, с мягким теплом и уютом. Тихо вдыхаешь горячий, горячительный воздух и каждое мгновенье бессознательно осознаёшь – и даёшься диву! – что на улице ещё более уютно (и тепло!), чем дома... Главное в ней было – предвкушение и обещание лета, такого долгого и безбрежного – не то, что сейчас! – то есть, повторюсь, свободы. Свободы от школы, ежедневной обузы, мучений и распорядка. Всегда чувствовалось, что уже в первые по-настоящему тёплые дни конца апреля всё это даёт сбой, начинает понемногу отступать: девочки упрашивают учителя выйти «на природу» – и так чуть не каждый урок – вместо опостылевших классов, заёрзанных до жирного блеска на крашеной поверхности, изрисованных и искорябанных стульев и парт – сидение на солнышке, на зелёном ковре с жёлтыми махровыми пампушками одуванов. Субботники, перебирание картошки в школе и дома, её посадка, «походы» – «экскурсии», походы в больницу – на прививки с никому не понятными заклинательными названиями «манту» и «бэцэжэ»...

Вот и вспоминается мне один из таких походов в нашу сельскую амбулаторию, находящуюся на другом берегу реки, ещё дальше за домом Мирзы, а ещё проще говоря, рядом с домом Яночки... Почему-то с уроков отпускали не всех, а парами – нас, как «тех, кто хорошо учится», отпустили вдвоём с Яной. И мы шли по земляной насыпи моста, по накатанной колее... или её обочине, изрытых осами... или их страшными сородичами... так, что постоянно наступали на холмики вокруг их бесконечных норок и боялись наступить на них самих, и невольно созерцали всё это великолепие вокруг... Мутную тишину, стоящую – словно вяло опускающуюся с едва уловимым кружением в прозрачном, почти призрачном солнечном пространстве, будто тополиный пух или медленный снег, – над застоявшейся зелёной плёнкой ряски на речке... Наступающую на дорогу и речку растительность, свежую чешую от заколотой гарпуном рыбы, уже сухую, но всё ещё свежо и остро пахнущую рыбой... иной жизнью, сыростью, ряской и тиной... или какие-то признаки-остатки от застреленной из ружья щуки... Уже не помню... Честно говоря, всё это помню очень смутно, будто бы во сне...

А потом оказалось, что нам почему-то надо ехать в райцентр, чтобы нам сделали прививки там. Или это были какие-то повторные прививки... Или какая-то дополнительная медкомиссия... Для самых умных наверно – «отличников» и «хорошистов» (а вернее, уже именно вторых – ненавижу это слово!)... О, вспомнил! – так это ж была какая-то олимпиада районного масштаба. И вроде мы поехали вдвоём с Янкой, причём на узике-батоне, бывшем в распоряжении нашего сельского врача. (Кстати, соплеменника С-ора, к которому бабаня, когда уж болела, заговариваясь, всё обращалась «Илья Ираклич», и мне сквозь слёзы было довольно потешно: так звали врача, который ровно полвека назад спас ей жизнь. Тяжёлое осложнение после аборт, кажется, заражение крови, то есть верная смерть (на селе, где и сейчас-то акромя сего узика и двух методов лечения ото всего: анальгина и димедрола, а в самом крайнем случае – их вместе – особо ничего и нет, и где в ту пору

* Потом, к старшим классам, появились какие-то странные летающие насекомые: все чёрные и страшные, похожие на увеличенного комара или тощую осу, нечто среднее между мухой и стрекозой, которые, не исключено, всё опыляют вместо пчёл и ос, и их очень много, и всё это неприятно и даже почти что страшно.

после родов *на поля* выгоняли на второй день). Но как раз была её сестра из Москвы, с которой и отправили 25-летнюю будущую мою бабушку – у мужа сестры, какого-то второстепенного актёра, было знакомство в научном медицинском институте. И вот Илья Ираклич её спас – и мне даже кажется, что Бог специально *дал* её, мою бабаню, *для меня!*.. А Яночку, видимо, *специально* не дал. Ну да я понимаю...) Однако в воспоминаньях «пылкой фантастичной натуры» всё почти едино – и сон, и явь, и былль, и небль...

И вот мы едем. С ней вдвоём! Вернее, с нами ещё двое попутчиков: девочка и мальчик, класса из 2-3, тоже отличники на олимпиаду – словно сами мы несколько лет назад, ещё не «хорошисты», ещё не знающие укола сладострастия, а токмо всякие прививки, не знающие томления плоти и всяких там связанных с этим понятий и историй. Но *опыта* у нас ещё нет, мы ещё свежи, как одуванчики. Хотя, кажется, все мысли об одном. Я чувствую её напряжение – как два магнита в разных руках – то отталкивание, то притяжение. Уверен: она тоже думает о том же, чувствует всё это, сочная моя Яночка с раздавшимся тазом, потолстевшими ляжками, наливными буферами, большим, выпирающим холмом и натягивающим штаны треугольником, упругими ягодицами и нестерпимыми между ними ямочками... Пахнущая чем-то, как весна... Когда шли, я всё пытался отстать, чтобы подсмотреть всё это, посмотреть на ее задницу всё в тех же штанцах, а она, как бы не понимая, понукала меня!..

29.

Не переставая причитать-ругаться, бывший прапор напяливал форму а-ля Фидель Кастро, спотыкаясь и путаясь в штанинах и рукавах, на ходу отдавая распоряжения Серёжке и пришедшей бабке.

– Иди, Серёжа, заводи «Камаз», я сейчас.

Через несколько минут Белохлебов, забежав «на склад», и, видно, порывшись в своих двух стоявших в ряд холодильниках, явился с полметровой красной рыбой, полметровой булкой, двумя поллитровыми баночками пива и совсем маленькой, четвертьлитровой бутылочкой водочки.

– Жми, Серж, к Генурки. Я пока поем... Хочешь пива?

Глава фермерского хозяйства, одной рукой держась за ручку в кабине, чтобы не стукнуться на поворотах, а другой судорожно попеременно хватаясь за яства: отламывая булку, отвинчивая водочку, раздирая рыбу, откупоривая пиво – так что выходило почитай что одновременно, помимо всего этого, произносил ещё некий смех:

– Вот, Серёжка, я с похмеля, а ешь! Тьфу-тьфу, как бы не сглазить! – Он эффектным жестом поднёс к носу зажатый кончиками двух пальцев отщипнутый кончик багета, жадно-глубоко занюхал его и тут же стремительно жадно-губоко затянулся из бутылочки, зажмурившись и сморщив лоб, но без брезгливости, и чрез миг он вновь занюхал булкой, и сделал такой вид, как будто ничего и не произошло, меж тем как бутылка опустела ровно наполовину, а сам он весь равномерно как-то порозовел или покраснел. И как ни в чём не был продолжал разглагольствовать:

– Другие вот не могут. А я – ем! Никогда не похмеляйся утром. Не советую. Нужно супчика, чайку с сахаром, или просто вот острых таких продуктов вкусных поесть... Хотя... ой!.. и не лезет – через силу! Всегда себя будешь хорошо чувствовать, как я. Один раз правда было мне хреновато... ох, и грубо! – трясло – ну просто как кобеля, мутило, тошнило, башка раскалывалась, окоряживало прям всего, как парализованного – я не то что есть, срать даже не мог!.. Чтoб хоть чуть-чуточку полегчало, готов был не то что водки иль самогона, а хоть денатурата любого, хоть антифриза, хоть отравы для жуков выжрать! И мысль-то – не поверишь, Серёж! – была всё одна, как у наркомана – иль у Сажечки, кхе-кхе, кочетых ему в жопу! – выжарить! Стерпел всё равно – всю жизнь хорошо! Давай, Серёж, побыстрей, жми, не жалеи!.. Ну в общем... – Фермер опрокинул в рот бутылочку и на этот раз не токмо виртуально, но и действительно закусил – той же булочкой.

«То к нему придёшь, он чай гоняет, а то уж вот...» – думал Серж.

Пока они едут, следует уточнить, кто такой Генурки. «У него все на призывах» – говорила бабушка про таких людей, как Белохлебов, всем всегда обязательно дающих прозвища. И два основных его создания – что «Сажечка», что «Генурки» были вроде и уменьшительными и даже

ласкательными именами, но звучали в произношении фермера весьма неоднозначно. Геннадий Коновалов, 32 года, женат, двое детей, тракторист-машинист 3-го класса, живёт в соседнем селе Холмы. Был, как и Сажечка, помощником Белохлебова, но уж побольше полугода назад тот вышиб его за пьянство. Однако он всё же изредка прирабатывал в Белохлебовском хозяйстве, соглашаясь на самую чёрную работу на самых выгодных для фермерского хозяйства условиях, чем в основном и жил, а также другим редким калымом, но ему что называется хватало, потому как жена с детьми уехала от него в город. А Сажечка наш, в свою очередь, стал нащупывать в таком положении звёзд и светил своего рода плацдарм для исправления невыносимости своего. В последнюю их, двух помощников, встречу он и был застигнут Белохлебовым, стоящим на коленях подле возлежащего на одре из дров – как на древнем погребальном костре – Коновалова и произносящего: «Гена, ты одна для меня путеводная звезда... Ты – самая моя звезда!.. Я всё сделаю – *главное, чтобы ты жила!*...» Надо ли говорить, что он тут же получил от руководителя (которому, как вы поняли, приведённые слова настолько запали в душу, что он их запомнил *дословно* и потом не раз цитировал, а то и разыгрывал сценку перед Сержем, заставляя Сажечку вставать на колени куда-нибудь в лужу) увесистого пинчища, а гуру – дрыном по башке. «Я эту секту искореню! Вот увидишь, Серёжка, увидишь!» – чуть ли не поклялся тогда Белохлебов.

Серж с мастерством и проворством заправского взрослого водилы, а то и гонщика «Париж-Даккар» рулил по бездорожью; Белохлебов, колыхаясь и напутствуя, быстро и жадно поглощал закуску, с удовольствием прихлёбывая пивом.

– Может будешь, Серёжж, рыбу? Глянь какая.

– Спасибо, дядь Лёнь, я поел же с утра.

– А то давай я порулю... Побыстрей, побыстрей, Серёжа мой... давай...

«Как бы его совсем не развезло», – подумал было Серж. А потом подумал: «Да уж, жди! – в него полфляги влезет – хоть бы хны!»

30.

Дом Коновалова был деревянный (что значит: другая деревня!) и порядком развалившийся, и располагался на отшибе, на бугре, заросшем американкой, полынью и репейником, теперь являвших собой сухой бадорник. У дома стоял Сажечкин трактор, весь в грязи, как перекрашенный или вообще сделанный из земли. Дверь трактора, как и дверь дома, была открыта, а сам он стоял буквально въехав в то, что когда-то было крыльцом. Остался один столбик и кое-как держащаяся на нём покосившаяся крыша, перила и пол частично отсутствовали, а частью присутствовали под колёсами трактора.

Фермера вылезли из машины и пошли в избу. В сенях, конечно, был жуткий беспорядок, хлам и грязь, выразительно пахло дрожжами, сивухой и блевотиной. «Карты-картишки, всё с вами ясно!..» – пропел Белохлебов, несколько замешкавшись перед изъённой дверью, словно предвкушая. Серёга тоже предвкушал уже представление в стиле «Дядь Лёнь, прости!» и даже невольно представлял, как вечером будет пересказывать брату и бабушке.

И вот зашли: на полу валялся Генурки, свернувшись в клубочек, или как рапортует Белохлебов, «в согнутом состоянии», на его ногах в промасленных оборванных штанах и чудо-носках, дрявых до степени условности самого своего наименования, лежала маленькая дурная голова Сажечки, ноги же последнего были в сапожищах, облепленных грязью.

Полы и даже стены были истисованы грязными сапогами. Полураздолбанный Генуркин касетник стоял под столом, включенный в сеть, и щёлкал забытой на перемотке кассетой. В чулане Серёга обнаружил самогонный аппарат в действии.

Белохлебов обошёл спящих и, неспешно принаравливаясь и представления ради сделав ложную разбежку, со словами «Одиннадцатиметровый! Двенадцатичасовой!» выписал Генурки по отключенному месту классического пенчера. «Не хуже вчерашнего», – отметил про себя Серж.

Генурки дёрнулся и замямлил во сне. Белохлебов схватил Сажечку, приподнял и потрянул его. Весь красный и опухший, тот открыл глаза, пустовато таращась, видимо, пытаясь понять, кто он, где и кто перед ним.

– Лёнька... – голос его звучал издалека.

– Я те, сука, дам Лёнька!

Фермер швырнул помощника в чулан – так, что он загремел там в какую-то посуду. Принялся трясти второго.

– Генурки! Вставай, мой золотой!

Веки разлепились, глаза были ещё более красные, взгляд был ещё более нездешний и равнодушный.

Белохлебов, улыбаясь, бережно приподнял голову младшего помощника, приблизил к себе.

– Это ты, Ген?

– Вя...

– Ты, – констатировал Белохлебов, а потом с великим сожалением спросил: – Нажрался?

Совсем неожиданным было то, что Генурки в этот момент как-то вырвался, вскочил и, сильно ударив кулаком себя в грудь, заорал:

– Нажрался!!!

– Нет, какая наглость! – Начальник таким же способом отправил в чулан и Генурки. – Герой мне нашёлся! Марат Казей! Олег Кошевой! Повесть о Зое и Шуре! Как будто его фашисты допрашивали, фетишисты, а он: я! Щенок пузатый! Крыса чахлая! Я за тобой прибасать не буду!

– Давай прибаснём!.. – эхом отозвался из чулана Сажечка.

Белохлебов отщёлкнул кнопку магнитофона, выдернул его из розетки и бережно убрал на место.

Когда он заглянул в чулан, то прямо обомлел: на вёдрах и бачках полулежали оба помощника с полными стаканами в руках! Более того, не обращая никакого внимания на хозяина, они чокнулись и, трясаясь, морщась и обливаясь, протянули прямо у него на глазах по целому губастому стакану первача!

Белохлебов нашёл выключатель и включил свет в чулане, но он не загорелся, показал пистолет, снял его с предохранителя... Знакомый звук всё же привлёк рассеянное внимание пьяных. Они сразу вскочили (как им казалось), а на смом деле не сразу: довольно ещё покуртыхались, пытались устоять на расслабленных ногах, но всё же встали, порядком напуганные, и когда им уступили дорогу, вышли на свет божий.

Белохлебов схватил Генурки в охапку и, приставив пистолет, поволок из избы. Поставил к стенке, отошёл, целясь. Видно было, что герою всё равно – ему и так так плохо (или вместе с тем и хорошо), что наверно всё одно... Только хотел выстрелить, как тот упал – прямо как был плашмя, прям лицом в грязь. Тут фермер попросил третьего помощника, «неофициального, но самого вменяемого», принести из сеней бутылку с олифой, старую и всю в пыли, уж давно замеченную его прапорским хозяйственным глазом, – как-то он уж выспрашивал у Сержа: «Гля, олифу-то наверно надо забрать?..», на что получил ответ: «Да накой она тебе, дядь Лёнь? – она уж столетняя!», и, видно, напрасно: теперь и сгодилась! Повесил её на проволоке за край крыши, а Генурки поставил-прислонил так, что бутылка оказалась как раз над его головой. Отошёл.

– Прощай, друг Генурки... – тихо молвил Белохлебов.

На сей раз, когда опохмелка, видно, достигла души, жертва грохнулась на колени – опять в самую грязь.

– Дядь Лёнь, прости!!

– Нажрался?!!

– Нажрался... – теперь голос Коновалова звучал тихо и жалобно.

– Он тебя споил? – строго спросил фермер, продолжая экзекуцию, так сказать, инквизицию.

– Вмeste, дядь Лёнь, ей-богу, вместе.

– Самогон пили?

– Да, дядь Лёнь, самогончик. Только стопка набежит – мы её хлоп!

– Значит, набежит? Сами гоним, сами пьём, и хлоп, да?.. Вот и я вас хлоп! Прощай, Генурки!..

Сказав это, Белохлебов выстрелил в бутылку.

Генурки весь передёрнулся, как будто пуля попала в него, и вновь упал плашмя. Весь был забрызган олифой, которая ему самому показалась кровью.

Белохлебов стоял над ним, не то поразившись и глубоко задумавшись, не то закатившись, что и не продыхнуть, от смеха.

Серёжка что-то кричал ему. Фермер очнулся.

– Сажечка убёг!

Сажечка уже завёл трактор и сидел внутри, врубил сдуру девятую – трактор прыгнул и заглох. Снова завёл и врубил восьмую, резко отпустив сцепление, – трактор прыгнул и поскакал.

Белохлебов запрыгнул в «Камаз».

– Серёж, залезай!

И они тоже рванули с места.

31.

Сажечка выписывал кренделя по паханому полю – земля была как кисель – Белохлебов летел за ним. Начались гонки в стиле «Кэмел-трофи»: крутые виражи, заносы, пробуксовка, дым, струящаяся летящая грязь... в кабине – пот и пар, накал эмоций...

Как ни странно, Сажечка, который пару раз чуть не перевернулся, всё же как-то умудрялся сохранять равновесие и дистанцию. А вот охмелившийся Белохлебов, закладывая очередной резкий поворот, чтоб в который уже раз «пойти наперерез», вдруг зарулил так, что грузовик едва-едва не упал на бок. Тут уж и Серж, несколько раз уже неплохо треснувший лбом об «дверной косяк», воспользовавшись паузой – машина была парализована, сильно наклонившись на бок, так что водитель, получилось, теперь держался за баранку только потому, что скатился, чуть не вышибленный вовсе, вниз к Сержу – сказал несколько слов главному фермеру (в том числе, и как вырулить, чтоб не упасть совсем), а потом пересел на водительское место.

Белохлебов же, опять и снова как ни в чём не бывало, достал из-за сиденья двустоволку, патроны, зарядил и со словами «Ты в профиль, Серёжк, как бы наперерез!..» приладился в ветровое окно.

Началась пальба!.. Сажечка был уже у края поля, и его носило из стороны в сторону максимально сильно – несмотря на это (и на увещевания Сержа: «Дядь Лёнь, поверху-то уж не стреляй – убьёшь!») бывший прапор, выкрикивая между выстрелами и виражами: «Убью! А ты думаешь – ать!!! – я что хочу?! Покалечу! Ты, падла, у меня полгода будешь лежать... На-ка!!! Работать будешь – лёжа – похрен! – в инвалидной коляске... в гипсе и с гирей – бесплатно будешь – от-так!!! – вкалывать, тварьё алкашовское!»

Выйдя на дорогу, а с неё на луг, трактор быстро оторвался, погнал по холмам вниз, в ложину к речке, пока не скрылся из виду (Белохлебов ругался ещё пуще, одновременно умолял и заклинал гнать побыстрее и, конечно же, наперерез и в то же время ещё и местами пытался вырвать руль!), а потом по пойме поехал обратно.

Так, сделав небольшой крюк и некоторого рода даже обманный манёвр, он вскоре явился по пойме опять ко двору Генурки – и тоже «как бы с понтом как ни в чём не бывало».

Однако действительно (или по крайней мере, так показалось Сажечке, который потом всё и рассказывал) в состоянии «как ни в чём не был» пребывал «друг Генурки» – он полулежал в чулане на тех же бачках и «выжидая, как набежит, выжирал самогони ще».

Сажечка же, надо сказать, с молодости имел нрав крутой и даже злопамятный, если порою не откровенно зловредный. Одно из первых ярких воспоминаний детства, по словам брата Лёни, был сидящий на корточках с обрезом, перемотанным синей изолентой, Сажечка и окровавленная физиономия соседа дедка Пимча (отчество Пименович), его руки и одежда в крови... Выстрелы... Бабушка рассказывала потом, как Сажечка выслеживал дедку (вроде играли в карты по пьяни и что-то не поделили), караулил обидчика у их дома и всё же выстрелил прямо на улице около домов прямо в него – «Я Лёньку-то еле только успела убрать! Батюшки, сердце так и ёкнуло! Кричу: что ж ты, изувер, делаешь?! – дети ж тут играют! А он – сидит у оградки – глаза налитые: «Убью!» и «Убью!», и всё тут!» – как-то чиркнуло и рассекло кожу на лбу. Потом приехала из района милиция, и Сажечка наш ещё отстреливался, бегая от них огородами... Потом года полтора и отсидел за свою – уже неоднократно – дурь.

Теперь он приказал сотоварищу: «Садись в трактор и отвлекай! А я пока домой напрямки (на-

перерез, через речку – если по льду или вброд довольно близко) за обрезом сбегаю! Убью, падло! Отомщу за всё! Всю кровь мою высосал, собака, фашист, рундук еврейский!» – опрокинул полстаканища и правда погнался!

– Санька, не надуть можть... Там же ж и Серёжка-то!.. с ним в кабинке...

– А нех.й фашисту пригузничать! Порешу всех! Не будешь – и тебя! Гони!

И погнались. Генурки был пьян в раздуду, но всё равно при помощи товарища влез в трактор и даже тронулся. Сажечка, возбуждённый до такой степени, что его всего трясло от злости и он мог ещё проявлять, будто трезвый, чудеса резвости, пустился, как в молодости, бегом на зада, потом в низа – *наперерез*.

Генурки, который кое-как ехал незнамо куда, на полнейшем автопилоте, вместо того, чтоб отвлекать, буквально пошёл на лобовую... Когда на краю пашни «Камаз» дал по тормозам, открылась дверь и выпрыгнул Белохлебов с ружьём, тут же открылась и дверь МТЗ и во взбудораженную почву свалился Генурки. Он было даже побёг по пахоте, но уже через дюжину шагов на его ноги, и так нетвёрдые, тут же налипли «лапти» – по несколько кило земли на каждую – и он упал.

Слёзно умоляя: «Дядь Лёнь, прости! Не стреляйте, пожалуйста! Я за вас!», он буквально полз на коленях по пашне обратно, пока не уткнулся лбом в дуло ружья, а руками всё пытался обнять Белохлебовские сапоги, грязный, как чёрт...

– Ты-ык, сука... – процедил Белохлебов.

– Дядь Лёнь, прости! Я всё расскажу! Всё *отработаю*!

И вскоре они уже втроем мчались наперерез бежавшему наперерез.

Искомый объект был достигнут в тот миг, когда он переправлялся вброд. По приказу главного Серёжка врубился на «Камазе» в речушку. Сажечка, в шоке, в волне брызг, отпрыгнул в сторону – прямо в воду! До этого он шёл только «по яйцы», а теперь окунулся прямо и «с головкой»!

Под ружейным дулом и несусветным матом Белохлебова его помощник всё же выбрался на тот берег. Тогда тут же из машины был вытолкнут Геннадий Коновалов, который наподобие охотничьей собаки, по-собачьи резво по-собачьи переплыл ручеёк, и опять ползя на коленях, схватил за сапог уже Сажечку.

– Что ж, Саньк, такая уж жизнь у нас собачья... – как бы извиняясь приговаривал он, извиваясь по куге и грязи. Сажечка, в отяжелевшей от воды одежде, тоже упал, что-то барахтался, и так и не встал.

– Держать! – выкрикивал Белохлебов. Серж смеялся и, потешаясь, несильно вторил: «Взять! Ату!»

Только через полчаса юный водитель смог вырुлить на другой берег.

Когда главный фермер ступил на твёрдую почву, он начал уже вторую за сегодняшний день экзекуцию.

– Не бойсь, не бойсь, держи – тебя не буду! – провозгласил он и начал сидить в пинки оклемавшегося уже помощника, всё нравоучения ради причитая и всё же довольно часто как бы невзначай попадая и по второму.

Вскоре устал.

– Пусть тут и остаются, – сказал он. – Давай, командир, шей домой.

И они уехали.

32.

Белохлебов ещё настоял, чтобы они поехали в соседнюю деревню, чтобы забрать там с мучкомольни пару мешков дроблёнки для «бабкиной» скотины. «Куда ж ты, сука хапаешь-то всё? – вспомнились Серёге слова бабушки своей, – бабке уж 80 лет, а всё заставляешь за скотиной прибасать! Она так-то жизнь-то иё не видала с малолетства! А теперь ещё и тебя обрабатывать!»

Серж покорно повернул на большую дорогу, хотя и совсем недалеко, и чего доброго, тут могут даже попасться менты (и сильно уже проголодался!), по пути выразил хозяину беспокойство за судьбу оставленных у реки фермеров, да даже и фермерства вообще.

– Ничего, – зевнул Белохлебов, – а помнишь, Серёг, в том году-то этот кадр (Сажечка) тоже тут нажрался и даже уснул в дуплет у речки – ажник поутру ноги в лёд примёрзли! – и как с гуся вода

– сапоги скинул и домой! Лапы попарил с горчицей, недельку поковылял – и хоть бы хны!

– Спроси у гуся: не озябли ль лапы! – чтобы хоть что-то ответить, процитировал школьник тут же свою бабушку, а сам думал о своём. Намаявшись за день до невозможности, он уже как бы спал, доверившись непонятному пресловутому автопилоту, а перед его внутренним взором сами собою показывались и проносились похожие на сны или воспоминания картины, наполненные неким предчувствием, но не тревожным, а навевающим какое-то странное умиротворение.

Он вдруг представил, как они вот едут, и подъезжают уже к улице своих домов, мягко сминая жирную чёрную массу грязи – как будто пластилин, навоз или глина... или перина... – поедая колёсами тонкий белый слой нападавшего снежка – почему-то кажется, что едут по простыне, и она от колёс пропитывается, как ткань кровью, вязким чёрным соком – как будто чёрно-белый фильм... – немного буксуют, и у дороги у сада видят тёмный силуэт брата... «О, Ган тарантасит!..» – говорит младший Морозов, а сам думает: видно, из сада только идёт домой. Ежедневный ритуал: после уборки скотины – и до ухода с портфелем и сумкой с банкой молока на ночёвку к бабانه – а сначала, конечно, в клуб – незаметно (так всё никак его и не настигну – некогда, блин!) исчезает на часок в темноте сада. Там он берёт какие-то палки – срывает с деревьев прутья и сам с собой фехтует ими, подбрасывает – да так увлечённо!.. и главное – как-то прямо быстро-замысловато, как будто кунг-фу изучал! И хреначит их друг об друга, пока все не попереломает – типа пока один какой-нибудь Брюс, нинзя или Александр Невский не ухайдокал целый отряд! Потом отец ему как-то говорит: «Зачем ты разбрасываешь палки?! Я только соберу – на другой день опять всё в палках!» А он ничего и не ответил. Я-то знаю!.. А откуда ж я-то знаю?.. Видел как-то... Так когда? Не помню чё-то – совсем наверное маленький был... С кех пор, как говорит бабушка, хреначит! Чуваку уж трахаться пора, а он... Впрочем, мне тоже...

– Во-во! Я знаю, чем это кончится! – фоном, как радио, говорит Белохлебов.

Вдруг представляется почему-то, как Гану представляется эта картина. Он стоит у сада и думает, представляет всё это, а сам как бы ещё уже думает, как бы это ещё в своём писанине описать... Что лежит Сажечка на том самом сегодняшнем буторке, на кочках, растянувшись на бережке – дрыхнет, промоклый и грязнищий, а ноги в воде... Лежит как на перине, только чёрной, вокруг темь и ни души, и снег ложится на него, равномерно покрывая (как это, саван что ли?) – уже не тает, как на мёртвом. И постепенно ласты его в сапожищах уже во льду... И стоит над ним высоко сияющий белый круг, а от него столбом прямо в речку бьёт острый столб света... Чё-то я со столбом переборщил... Ну, может, не бьёт, а давит, как там этот говорил... Остап Б'ендер. (И всё же я умный – почти как Ган!) Блестяще-белый, как лезвие... да и вообще весь лунный свет острый... (А всё же вот как я могу написать, думает Ган.) А в этот миг у него в доме, в нескольких сотнях метров отсюда – если бы встать, свет даже можно увидеть – зажглись окна. Жена их зашторивает, устало вздыхает (уборка скотины закончена без мужа), включает детям и себе телевизор, думает... (Ну ты, брательник, загнул – просто телепат какой-то! И о чём она думает?!) Ну во-первых, о кастрюле на плите – остыли щи или разогреть... Ладно, отвлэк – вернёмся к Сажечке. Никому он не нужен, Сажечка (размышляет Ган дальше), и ему никто не нужен, и так он может в любой миг, допустим, вот сейчас, запросто сгинуть и пропасть, и сам знает это, а всё равно как бы сознательно жрёт и бедокурит, не взирая ни на что и ни на кого – даже на Белохлебова!

Пока это всё мельтешело в воображении Серёжки, они и правда выруливали уже на свой плант. И всё так и было, только фары вот не учёл – темень уже спустилась глаз коли – а вот и фигура Леонида, только уже с ранцем через плечо и сумкой...

Надо ли говорить, что пострадавшие не сильно раскаялись. Доползли до дому Генурки и продолжили свой отступнический банкет. А немного за полночь была и третья экзекуция.

33.

16 марта. 8:03

Леонид Морозов не любил посещать, как он говорил, одно заведение. С самых младших классов, каждодневно просыпаясь из утра, недовольно восклицал: «Опять в барду!» – для него хождение в школу было тяжелейшей повинностью. Он всегда приходил на пару-тройку минут позже

звонка на урок, хотя идти от дома бабани ему было ближе всех. Особенно его раздражала зарядка, введённая директором, к которой надо было приходиться ещё на пятнадцать минут раньше.

К своему удивлению и даже некоторой гордости (как бы «за проделанную работу»), на сей раз он шёл туда даже с интересом, чуть не бежал, чувствуя себя инициатором и хозяином. «Что-то явно из всего этого выкристаллизовывается...» – думал он.

Переобувшись на мерзкой сырой тряпке у порога («Надо С-ору сказать – пусть нормальное что-нибудь положит, фак!») и сняв куртку в раздевалке, он швырнул сумку с учебниками на подоконник и отправился напрямик в учительскую.

Тихо постучал, заглянул и, учтиво поздоровавшись и извинившись, попросил С-ора выйти.

Директор, сидевший на недавно купленном здоровом и мягком диване, весь покраснелся и за метался по нему.

Морозов посмотрел учителю прямо в усы и скомандовал: «Let's go! Они уж небось заждались!»

На двери предпоследнего в левом крыле класса (№7) кроме таблички «Кабинет истории» висела ещё одна: «НЕ ВХОДИТЬ!» и как бы невзначай рядом отирался верзила Губов с кастетом и явно не в духе.

Леонид пристально посмотрел на охранника, а потом ещё пристальнее на учителя. Тот помялся, побурчал и вытащил из кармана тысячу. Зубы товарища Губова немного погромыхивали, да и всего его заметно подконокрачивало; Бадор что-то сердито проорчал в усы, а Ган: «Да, да. Жрёт!». Он воспроизвёл свои взгляды ещё раз, и Бадор нехотя добавил ещё такую же бумажку. Губов выхватил деньги и резво устремился по знакомому всем адресу.

– В кабинет принести? – уточнил он.

– А как же. Только смотри не выжири!

– Ды уж неможоту...

Наконец-то учитель открыл замок кабинета, и они вошли.

В центре стоял стол из сдвинутых парт. На нём живописно располагались остатки вчерашнего «ужина». На полу у окна стоял школьный музыкальный центр, вокруг него были разбросаны – а частью и распотрошены-раскрошены кассеты; и тут же в таком же состоянии – сигаретные бычки. У стены стояли две кровати, заправленные чистой и какой-то даже атласной постелью. Кроме того: Яха в одних трусах спал у кровати, ноги его, все грязнище и угловато-костявые, находились на постели; Мирза, свернувшись на полу на подушке, дрых на полу, как котёнок; малой Швырочек, закатавшись в покрывало, лежал под столом – короче, вся шаражка...

Вся эта сцена напомнила Морозову недавнюю сцену у Генурки, обрисованную Сержем, как он её себе представлял – почти как дежавю...

На столе стоял грязный сапог, на столе и около него валялись несколько бутылок, банок и стаканов, еда была вся раскрошена и набросана вперемешку с осколками посуды и передавленными маринованными помидорами и вишнями из компота, пятна которого напоминали кровь. Яхины пожитки, видимо, специально были разбросаны повсюду: не только на полу, но и закинуты на шкафы, а второй сапог залез в кашпо с традесканцией! И конечно же, классная доска была украшена соответствующей надписью и уделана смородничным вареньем с вклепанными в него бычками, теперь уже подсохшим и являющим миру своеобразное художество наших школьников, по коему наглядно можно увидеть «то, что у них внутри» или «то, что хотел сказать автор».

– Рота, подъём! Вставай, друг Яхин! – поприветствовал присутствующих лёжа Морозов, кивнув ассистенту, чтобы тот подымал Яху.

Яха зашевелился и задёргал ногой. Швырочек уныло посмотрел из-под парты.

– А тебе, шершавый, между прочим, сегодня в школу идти – у тебя контрольная по математике! Вот и твой классный руководитель, прошу.

С-ор смухордился.

– Бь-лять... – осёкся Швырочек, – сёдня первым математика!

– Решили домашнюю задачу? – «нашёлся» Бадорник, не найдя что сказать, и как бы решив подыграть.

– Ага, бля, решил, – сказал Мурза, и перевернувшись (и опять так же свернувшись) на другой

бок, – вчера до трёх часов решали!..

Двенадцатилетний Швырочек, позыржав похмельно-пустоватым виновато-вороватым взглядом по присутствующим, всё-таки выполоз из-под парты и начал искать школьные принадлежности, и даже весьма жалобным голосом пытаюсь что-то спросить у присутствующих лёжа.

– Пенал не забудь, Витёк! – сказал, не меняя позы, Мирза, и все заржали – даже С-ор.

В дверь постучали.

– Кто-о та-а-ам-м-фр?.. – не вполне членораздельно проорал Яха, всё ещё находящийся на границе миров сна и яви.

– С-ор ***вич, вы тут? Откройте. Я посмотрю, что у вас за ремонт! – естественно, это был директор.

– Да мы... не могу... Это сюрприз... Мы тут с... Сашей совещаемся, с какой стороны вмонтировать диапроектор...

– С каким ещё Сашей? Откройте сейчас же!

В это время Яха встал, пошёл за штанами и, подскользнувшись на вишнях, бражнулся. При этом он выругался нецензурщиной, а также схватил бутылку и запустил в стену.

– Это что там у вас?! Сейчас же открывайте!

– Это... экспонат упал.

Яха даже хяхать не мог по-атитекторски: видно, хреновато ему с будунища. Надувшись, выкатив красивые глазки, уставившись, как баран на новые ворота, на Бадора, шатаясь, вихляясь и прыгая, он нервозно напаяливал штаны, причём задом наперёд.

– Какой, к чёрту, экспонат?! Мы сейчас выломаем дверь!

Кенарь постучал ещё минуты три и ушёл: дали звонок на зарядку.

34.

16 марта. 8:20

Морозов тоже пошёл. А учителю сказал: «А вы куда? День велик. Надеюсь, вы всё поняли». С-ор понял и покорно полез за сапогом.

Пока он лез, динамики, вывешенные почти в каждом классе (самое новейшее техническое новшество от нашего Кенаря, реализованное, конечно же, Бадорником), зачали извергать зловещие, никак не приличествующие моменту звуки «Раз, два, три...».

– Витёк, Рая, выруби ты эту побардень! – вскричал Мирза. – «Металлику» давай! «Иде?!»

Приказание исполнил Швырочек, воткнув свой любимый медляк из «Роксет», а у громкогоговорящего утренняя зарядку, оторвал провода.

Бедный грузин С-ор достал сапог и принялся одевать Яху, который брыкался и дарил всем нечленораздельные выкрики, среди коих относительно ятными были лишь «Ды уди ты!..», а также матерные слова и обидные прозвища.

Вдруг в дверь начали бить так, что посыпалась штукатурка.

– Кто?!

– Я! – отозвался, не переставая содить, Губов.

С-ору пришлось открыть и даже, всячески опасаясь быть встреченным Кенарем, шибко сбежать в коридор к крану помыть стаканы.

Как ни странно, г-н Губов в точности выполнил поручение Гана. И теперь он, весь дрожа – наивно, от волнения – тянул свою опохмелочную дозу, и когда выпил, оно сразу прекратилось. Швырочек, который уже стоял при нём наготове («А ну, шаршавый, к ногтю, дай-кась!..» – чуть склонив голову, тоже немного потрясываясь, зажимая себе нос и отворачиваясь-морщась), быстренько дал собой занюхать – для этого он употреблялся Губовым постоянно, и имел даже кой-какие проценты. Тот же поданной тем же ассистентом метровой линейкой отковырнул с пола резанку какой-то вчерашней колбасы и, ловко поддев её, подбросил вверх, после чего довольно точно словил губастым ртом и, пару раз жевнув, проглотил. Малой заплотировал, но получил не награду, а по лбу линейкой. Желая продемонстрировать, как быстро избавился от вибрации в членах, Шлёпин кивнул помощнику, чтобы тот поставил налитый стакан на край линейки, а наш артист на вытяну-

той руке преподнёс его Яхе. Фокус, однако, не удался: Яха-то был ещё не охмеленный! Он уронил свою дозу, за что тоже получил по кудрям.

После смеха и напутствий взявшись за второй стакан, Яха, поднося ко рту, долго морщился и стонал, а потом набрал самогону полный рот и вроде бы поперхнувшись – бьюсь об заклад, что нарочно – отфыркнул его в лицо С-ору!

Все стали удыхать ещё пуще и под шумок похмеляться. Охмелился своими «присяжными процентами» даже немного поломавшийся («При учителе неудобно...» – «Ды ладно. Он шас сам с нами выжрет. На, Куржо!») Шывырочек.

После этого обслуживающему персоналу была дана ещё парочка заданий: «Принеси ведро воды, чтобы мы могли умыться!» и «Собери чё-нть закусить!».

35.

16 марта. 8:45, 9:35

Леонид Морозов сидел на занятиях в соседнем с кабинетом №7 классе, смотрел в окно, за которым ярко сияло весеннее солнце, и по подоконнику барабанила весёлая – или наоборот невесёлая, унылая, как и всё в школе – капель... Прозрачные, блестящие искрящиеся капли то и дело лениво – тем не менее, ускоряясь! – пролетают свой видимый путь, эффектно – но невидимо – разбиваясь... Впрочем, почему невидимо – брызги так и окропляют стекло, ниже, в которое он и смотрит, сияют, радуются... и ползут вниз... Он поймал себя на том, что не может теперь впасть в то тупое, но уютное забытье, в которое впадал раньше, отбывая бесконечные часы «барды» – те из них, когда удавалось просто сидеть и слушать – никто не спрашивал и не устраивал безобразий – когда, допустим, не было Яхи, не было Яны... и ничто, кроме спокойного созерцания своих мыслей и бурчания лектора не беспокоило...

Но он не любил такую погоду. Он любил, когда пасмурно: плавные мелкие снежинки или хлопья в марте и ноябре – вот это поистине вдохновляет – и просто на какое-то невыразимо томительное ощущение себя и природы, и потом, конечно, и на писание. А если хочешь драйва – стихия – метель или ливень с грозой!..

Он почему-то вспоминал, как всё это началось, почему-то в мельчайших деталях сами собой «вспоминались» рассказы Сержа о его визитах к фермерам, но как бы уже прошедшие словесную обработку (в самом деле, уже прошедшие), оформившиеся в более-менее внятные строчки, которые теперь может прочесть и понять каждый, но одновременно с этим и такие личные, «одинокие», «свои», что, конечно, обусловлено тем, что теперь происходит некий обратный процесс: они как бы проецируются обратно – как кадры киноплёнки, когда-то *снятые* с действительности, и он видит всё это в образах, как настоящее – обработанная реальность, даже *не свои* впечатления, оживают и смотрятся как свои собственные и настоящие.

Серж, Белохлебов, Сажечка, запорошенная снегом техника на задах... Падают капли, или скорей снежинки, которые сразу, растворяясь на земле, превращаются в капли... растворились совсем – плавные капли-удары – то там, то там, в каком-то неведомом плавно-непрерывном порядке – как будто кто-то на компьютере зашаривает, подумал Леонид, и явно не просто текст, а как пить дать тоже проходит «Соло на клавиатуре»...

Учитель говорит что-то про то, что «Человек пишется с большой буквы», и Леониду представляется, как некоторые буквы, рассыпанные по земле и всему вокруг – чёрно-белая картинка из множества семенящих-меняющихся капелек-букв (потом это будет уже «Матрица!» – 2008), – вдруг преображаются и сами собой, автоматически вырастают, как в программе «Ворд» – и все имена – не только Яна! – даже С-ор, Папаша и Сажечка! – перерастают в заглавно-буквенное написание...

Вот немного и получилась прежняя медитация... Но сейчас всё равно всё внутри заполнено каким-то волнением, заботой, предвкушением...

Морозов же младший тоже размышлял, и по сути, о том же, ну, уж точно о тех же... И ещё о брате. Ган мой остроумен в доску, думалось ему, токмо остроумие своё он проявляет только со мной. Чтоб он вёл себя по своей сути, с ним нужно постоянно близко вожжаться. Вот бы его это

остроумие да на публику! И теперь он наверное и хочет расширить свои таланты.

И Серж невольно улыбнулся: вспомнил один пример леонидовского остроумия, ещё давнишний, когда всех этих импровизированных «беспредельных» гулянок не было и в проекте (хотя он, кажется, и тогда уж фантазировал об опохаблении Кенаря и учителей!). Был какой-то открытый урок, где присутствовали и мы, мелкие, и старые – Папаша, там, Брюс, Шлёпин, Суся. Кенарь нёс что-то про Африку, про её природу: «А вот, говорит, пеликан, всё такое, и он в свой мешок под клювом может набрать десять литров воды!» А Ган на это негромко так, как бы между делом: «На нём до Тамбова можно доехать и обратно!..» Все так и ушли в покот, и весь урок потом ржали, что бы кто ни начал говорить!..

Сидя уже на втором уроке, который «по причине сбивки в расписании из-за отсутствия 7-го кабинета» проводился тут же, Леонид Морозов услышал, как и все прочие, знакомые звуки...

Учитель физики, устами Яхи прозванный за свой большой рост Рыдваньером, как раз пытался получить от класса формулу количества теплоты. Леонид уже тогда задумывался (а иногда и высказывался – благо, что сей молодой учитель видел в нём интересного собеседника и человека – может быть, не с такой уж большой и каллиграфически-прописной буквы, как в литературе, но с физически твёрдой, плотной и ровной печатной «ч» – и в глазах Морозова сам являлся именно таковым), что само, допустим, это словосочетание «формула количества теплоты» звучит для уха ученика как тарабарщина или, скажем, магическая формула, не обозначающая в реальном мире ничего жизненно-реального, и единственная причина существования которой – непонятно кем заведённая традиция – «так надо». То же Морозов говорил и о других знаниях, упакованных в определения, формулы и графики (особенно, конечно, по алгебре и геометрии), которыми с утра до вечера пичкают учеников, которые по окончании заведения дай бог умели бы читать (медленно, со сбивками, почти по складам), писать с ошибками заявления и написать без ошибки свою фамилию, и считать купюры, изредка прибегая к калькулятору – то есть, как минимум лет пять обучения отходят Котофей-Иванычу под его пушистый хвост. Учитель, естественно, не разделял точки зрения ученика: доказывал, расшифровывал формулы, рассказывал о достижениях науки, а особенно техники («Представь: скоро телефоны будут без проводов – можешь куда угодно идти, ехать и говорить! В телевизоре будет не 3 программы, а 23, а может и 100!») – короче, весь источник так присущую нашему времени веру в прогресс.

– Старую? – устало-уныло переспросил Морозов («Всё равно, никто больше не вспомнит!..»):
 $Q = c\Delta t$, где $c...$

Учитель должен растолковывать, исподволь думалось ученику, внушать, почти что как гипнотизёр. Уж не надо, может, приговаривать к каждому слову на манер Кашпировского «Я даю установку», но можно же внятно интонировать, выделять главное и после него сильно сказать: «Так, запомнили». И повторять и растолковывать, пока хоть один ученик говорит, что он не понял (особенно если в классе их меньше десятка, как в сельской местности!). А то что получается: задача учителя – только кое-как прогнать текст из учебника – как правило, крайне невразумительно, бегло, блёкло и вяло, что называется впопыхах и без разбору, а то и почти уж нечленораздельно, а после добавить: «Кто не понял, прочтёте дома по учебнику»...

– А скажи-ка, Лёнь, лучше, что там у вас за ремонт? – вдруг перебил учитель, улыбаясь.

Надо сказать, что звуки были явно не строительно-ремонтными, а несколько иными: музон, топот да присвист, пьяные возгласы типа «Опа!» да «Оба!» и звон посуды.

– Сейчас наверно полы мостят и обивают релином, – установил Морозов, едва сдерживая улыбку.

...Причём это же должен сделать на следующий день (или урок) и любой ученик: пересказать тот же текст из того же учебника! Разница лишь в том, что учтиля получают за это зарплату (и если уж в наше время не статус, то уж точно своё неоправданное высокомерие!) Да какой-нибудь Белохлебов-прапор лучше объясняет! Чуть не Сажечка! Или я... А уж о Папаше и говорить-то нечего!..

Наверно всё же улыбнулся, но старался этому противодействовать, и стараясь, аж как-то больно растянул мышцы на лице.

– Да? Я так и подумал. Садись.

Физик тоже улыбнулся – свободно и широко: он всегда так улыбался, с завидным постоян-

твом, а распаяясь-забываясь, ещё и прыскал слюной, как иногда Мирза или всегда как их общий прототип доктор Ливси.

...Тем паче, что сами школьные сведения, которые нам внушаются, почти что все настолько упрощены, искажены и так «интересно» подобраны, что вполне можно сказать, что они попросту не соответствуют действительности. Не соответствуют современной научной картине мира – принесите видному учёному – а лучше выдающемуся! – учебник по его дисциплине и спросите, что он думает – он только рассмеётся!.. Когда смотришь на портреты учёных (или литераторов), висящие на стене в классе, то само уж по себе это вызывает какую-то тоску: кажется, что они такие же скучные люди, как учителя и их предметы – на самом деле это не так!

Леонид знал, что Рыдваньер тоже немного не чужд профанации, и в каком-то отношении тоже почитай его кореш. Он ведь едва не ровесник Кенаря, а выглядит в отличие одного, напустившего на себя солидность лишних лет двадцати (!), совсем по-свойски, почти как мальчишка. Сразу вспомнились две презабавных истории с его участием.

36 (epentheticum-3).

Пару лет назад, когда окончивший вуз Рыдваньер только приехал и поселился с молодой жинкой в домике на отшибе, он сразу привлёк внимание всей честной компании, тогда, впрочем, только нарождающейся. Атитекторством тогда верховодил Яха, но начали себя проявлять и братья Морозовы, были тут, конечно, и их приезжий сосед Перекус, и Мирза с совсем малолетним всепронырливым Швырочком.

По традиции в ночь пред Рождеством воровали сани. Молодёжь, группами и так же в санях, выждав время почти до полуночи, разъезжала, озорничая и выпивая, по селу, выглядывая во дворах сани. Их надо было вытащить, подтащить ко своим и, держа за оглобли, увезти на центральную площадь села, где из этих саней, специально водружая их друг на друга, сооружали огромную кучу, которую поутру обокраденные коневоды приходили *разбирать*. Это, конечно, была своего рода соревновательная игра. Ведь в основном владельцами данного вида транспорта были уже довольно пожилые дедки, традиции хорошо знающие, а поэтому заносящие в эту ночь сани в пристройки и чуть не в сени, привязывающие их проволокой и цепями, а иногда даже сторожащие с ружьём, а то и с целым экипажем в засаде, который тут же мчит наперехват. Короче, экстрим, дай дороги.

Но, видно, поскольку ночь-то всё-таки непростая, и якобы резвится нечисть, то всё из года в год идёт кувырком. Во-первых, всегда начинается сильная метель, так что ничего не видеть, не хочется выходить на улицу, а хочется спать, особенно выпимши. Во-вторых, хозяева саней, то как-то закружившись в хлопотах, то выпив, то из-за метели, а чаще и всё вместе, как назло именно в этот день обо всём забывают, а пришедшие сторожить, чтоб не стырили, и помочь изловить проказников, стопка за стопку быстро спиваются и тоже напрочь забывают, чего ради весь сыр-бор. Очуживаются они только тогда, когда выйдя помочиться, кто-то не разведёт руками, и охая и матерясь, не забежит мгновенно обратно, голоса: «Ох, черти, украли! Упёрли сани-то!» Или когда Яха, по особой своей дерзости, ещё не пошлёт какого-нибудь Швырочка стукнуть в окно или не швырнёт в оное куском льда.

И тут тот же Яха решил себе и своим компаньонам ещё более усложнить задачу: предложил свозить сани в кучу не перед клубом, как обычно, а перед домом нового учителя! Мотивировал он только тем, что тот «дурачий, может и выскочить!» Все были не против, и Серж даже предложил свезти туда же и все уже сваленные у клуба сани!

Это было, скажу я вам, нечто. Крутые виражи, лихорадочное мельтешенье всего в снегу и во тьме, скрип полозьев, страх, опасность и наслаждение, крики, ругань, погони, Яхина кобыла в мыле, дёргающие-виляющие оглобли в руках... гвозди и раны от них, азарт и жар, хмель не от вина, пот и тряска, вода на себе от талого снега, от проруби в реке, куда чуть не провалились... приходится ведь жарить напрямик, наперерез, напролом – через самые непроходимые препятствия: сугробы, узкие проулки, пахоту, сады, буераки и речку...

А уж сколько так называемого адреналина добавил своей некой «дурачестью» и настырностью сам Рыдваньер, невозможно сказать!

Чтобы «объект» осознал, что его обеспокоили, Яха предложил бросать огромными ледыш-

ками ему в железный гараж... И вскоре он осознал и каждый раз выскакивал с какой-то палкой в руках, и мчался как спринтер (один раз было чуть не поймал подскользнувшегося Мирзу!), но всё же не мог настигнуть... грозился кулаком, орал фамилии и просто «Убью!»... Попытался отвезить сани прочь от своего дома... но их всё равно опять подтаскивали прямо к порогу... Короче, занимался всю ночь!

К счастью, ему кто-то пояснил, что, мол, обычай такой, не обижайся, и никаких последствий сие озорство не имело.

Второй случай уж был куда более зазорным, поскольку совместно с Яхою тут уж выказал свою фантазию и Ган. В результате скучной дождливо-слякотной безклубной осенней ночью они решили устроить некое подобие Ночи Саней – подёргать во всех учреждениях и у частных лиц все очищальки и тащить их всё туда же – к порогу уважаемого «прикольного» учителя Рывдьяньера.

Усилий пришлось приложить немеряно! Гараж уже был окрашен, и в нём была машина, поэтому сидеть по нему кирпичами было особенно болезненно. Кроме того, жена была на последних месяцах беременности, а времени уж собачья полночь, да ещё орали «Рывдан, выходи!» – надо ли говорить, что учитель был особенно злой. Когда он включал свет и выскакивал, сердце так и уходило в пятки, все начинали дохнуть... тут-то оное сердце и те пятки и пригождались – только сверкали, лишь бы по грязи, кочкам и лужам не упасть! Убегали от его дома врассыпную кто куда: кто на свет далёкого фонаря – до клуба и даже дальше оного, кто под бугор к речке и за неё, кто прямо в совсем в темень – через дорогу с непроходимыми колеями, в пахоту, грязь и кочерыжки, на колхозное поле... Как ни странно, он никого не смог настигнуть, и всё повторилось раз до шести!..

На седьмой уже и очищало не осталось на примете поблизости, и Серж предложил сходить за таковой на дальняк – к больнице. Поход был долгим, там взяли и бутылочку сэма, больших усилий стоило и выкорчевать здоровенную тройную (треугольной формы) особь и тащить её через всю деревню...

И вот у соседнего с учительским заброшенного дома, преодолевая буквально последние два десятка метров и внезапно нестигшее всех опьянение, из последних сил тащил в основном Ган (другие уж чуть совсем не бросили), а сам ещё, побуждая разбредаящихся, возбуждённо-громко комментировал и хвастался:

– Прикинь, Рывдан щас опять выскочит – а тут та-акая очища...

И вдруг – в углу между стеной дома и забором кто-то стоит, вжавшись!

– О, да это Губов! Чё это ты тут... – только и успел прибавить Ган, как фигура отделилась и оказалось, что это...

– Ребя, Рывдан!!! – закричали все и кинулись врассыпную.

Ган от неожиданности успел лишь отпустить очищальку и отскочить на пару шагов. Мгновенно подскочил педагог, схватил за куртку, и удивлённо заорав «Морозов?!», залепил тому в ухо оплеуху – ох, и сильно! Потом вторую, попав в челюсть, – пока тот, спохватившись, не отпрыгнул в сторону.

Изо всех каких-то кустов, по всей ночной, совсем не похожей на день, окрестности доносилось неподдельное удыхание. Тихо удыхал и сам Морозов. Рывдьяньер озадаченно почесал репу (представляем: отличник и кореш – тащит очищальки!), плюнул и пошёл домой...

Только придя домой, к бабане, Морозов вспомнил, что завтра первым уроком ОБЖ, предмет, который теперь разграничили для мальчиков и девочек, и поскольку Яха и Мирза уж месяца как два *бросаю* школу, он будет сидеть с учителем один, тет-а-тет в маленьком классе за партой, которая впритык с его учительским столом. А ведёт, как вы догадались...

37.

Вдруг дверь класса распахнулась – всунулся Хлебов, а пониже – маленькая красноватенькая башка Сажечки.

– Брательник не тут? – громко обратился фермер напрямую к Морозову.

Леонид успел только очнуться и удивлённо пожать плечами. Белохлебовская физиономия тоже была красная, а ещё и опухшая.

– А зачем он Вам? – как бы отвечая за ученика, угодливо вмешался учитель.

– Да так, поговорить. Сидел я, это, Лёнь, дома и вдруг скучно стало. Думаю, зайду к Сержу, погугарим... Послал этого... А потом вспомнил: так он же в школе!

Учитель хмыкнул, Морозов тоже. Ученицы загалдели.

– Ну думаю, тогда и до школы доеду на «Татре» – покажу машину, а то он и не видел!.. И там, думаю, *интересно* шас – всё какое-то развлечение, пока делать-то нечего... Где... ну, *это...* как *и*?

Учитель улыбнулся и кивнул на одну из стен, из-за которой недавно доносились звуки бардели.

Морозов внутренне торжествовал: «всё уже идёт само собой».

Серж был быстро снят с урока. Бадорника, дабы не привлекать внимание Кенги (Кенга – новый вариант прозвища директора!), решили не трогать; Мирзы тоже не было: он для чего-то был вызван домой; поэтому решили просто поговорить, посидеть по-простому, без гановских формальностей и изысков, как и без него самого.

– Я вот что, Серёжа мой, с будунища-то подумал: видно, *конец света*-то скоро уже...

– Беляк скоро, а не конец света! – вклинился Сажечка, который *формально* вроде как числился за непьющего.

– У тебя уже наступил! И каждую неделю будет – забыл, как жрал? – Белохлебов не преминул намекнуть на то, что это он, как он выражается, *сдерживает* Сажечку, что «закодировал его своим внушением».

– Сам-то на умняках давно?! Непитуший ты наш, святой прям! Вчерась токо жрал! – не унимался помощник, желая, наверно, раздуть конфликт, чтобы потом как-нибудь свести его к пьянке и полученным стрессом её и оправдать.

– Брысь, гультепа! – отмахнулся главный, сам что-то высматривая – показалось даже, что зыркает, нет ли выпивки на столе... или под столом...

Серёга очнулся, теперь до него дошло, о чём «зачал гутарить» экс-прапор. «И вправду, как бы он это... не того...» – подумал ученик и сам же себе мысленно возразил, что «если уж в такую хитрую-хищную лису белочка вселится, то уж и точно тогда всё вверх дном!..»

– Тебе ли, дядь Лёнь, об этом проповедовать?.. Это в пору Гану моему, Куржо или там священнику какому-нибудь...

– Тебе ли не знать?!! – орал что-то своё Яха, а сам уже еле сидел...

– Ну вы, наверно, наливайте, – как бы между делом бросил Белохлебов короткую аккуратную реплику «в сторону», а дальше продолжал уже театральным тоном: – Ой, Серёжка, боюсь я!.. Ей-ей, как Ган-то твой тогда подшутил, и запасы-то могут не понадобиться! У меня тогда от книжки какой-то валялись две станицы – я у бабки что ли схватил её – думаю: всё равно слепая, как она говорит, не видит не кляп! – печку на улице разжигать, где дроблёнку запариваю... Ну а тут прочитал – и книга какая-то, как бабка называет, *божественная* – ну, церковная... И у Лёньки потом спросил, как это всё можно понять. Но он, конечно, ничего особо путного не изложил, только вот типа пошутил, да так какую-то галиматью про коней каких-то красных... с огненными гривами!.. да звездопады!..

– Застрашал прям, – отозвался Сажечка, отворачиваясь-изготавливаясь, наконец-то решившись «под такие разговоры» принять от более юного ассистента маленькую стопочку. Он, казалось, сам понял свою удачную двусмысленность (о своём ли боссе или о живописуемых оным картинах Апокалипсиса?) и подумал, что это очень глубокомысленно – «не то что этот полкан твячет».

– Звёздочку! Звёздочку свою!.. – вещал Яха.

– Молодой он ещё, короче. А я вот и призадумался...

Фермер столкнулся взглядом с пьяными глазками Шывырочка, наполнявшего стаканы. До Сажечки, казалось, ему нет никакого дела.

– Ну ты ж, дядь Лёнь, говорил, что всё развивается: наука и техника, фермерство...

– Ды не знаю, Серёжка... – Фермер опорожнил стаканище, а Шывырочек по привычке придвинулся-нагнулся к выпивающему, но Белохлебов не понял, чего от него хотят (на мгновенье даже мелькнула мысль: не к ширинке ли?! тьфу же!..), отодвинулся-отвернулся, затем выпростал и протянул ему пару купюр и тихо-отрывисто сказал: «Токь не патошного». Сажечка и Серж было

засмеялись, но фермер напустил на себя ужасно серьёзный вид и, прокашлявшись, громко продолжал: – Не знаю, Серёжа... И с похмелья так иногда тяжело бывает, а всё равно, как бы наиболее всё ясно становится – о жизни, о жизни всей, Серёжа... Да смотри вон, что вообще деется: в магазинах ни хрена нету вообще, курева нет! – «Родопи» варёные да «Прима» по карточкам! Ничего вообще не производится – скоро вообще все товары закончатся! Заводы стоят, Союз развалили, весь распродали, что твой колхоз!.. И все колхозы опять же. Лётку вон нашу, где я служил, всю растащили – ничего не осталось!..

– Ды ты поди и тырил, – тихо произнёс Сажечка, – холодильник-то не оттуда приволок?

Белохлебов удостоил помощника презрительным взглядом, но явно решил ему потрафить (а потом, может, по обыкновению и подшутить), обвёл взглядом «потухших», сидевших с закрытыми глазами Яху и Шлёпу, пустые стаканы на неприлично грязном столе и вновь продолжал...

– Там ведь понимаешь, Серёжа, закачано всё было на века! Миллионы денег, тонны железа, аппаратуры, аппаратуры, бетона, асфальта, техники! И кругом повсеместно такое! Если нападут – чем отражать?! Ведь и стояло всё веками – и заводы, и все объекты, и колхозы – а теперь враз всё порушилось! И вся еда (и выпивка тоже нерусская... Сходи, Саш, из машины «Распутинку» принеси – польскую!), вся еда, продукция, вся куда-то делась! И кто будет выращивать её – охламоны вот такие?

Он кинул ключи помощнику, но Похватилин умудрился не поймать их!

– Тьфу! – смачно плюнул Белохлебов, закуривая плохо тянущиеся «Родопи», предлагая пачку Серёжке и Шывырочку. Обычно он не курит...

– И вообще всё какое-то уж не такое... Видаки у всех – фильмы любые, порнография везде продаётся – к чему это приведёт? В той же школе вы уж что называется (прозвенел звонок) в отказ пошли – в наше время такого не было...

– В отрицалово попёрли! – Сажечка возвернулся, довольный.

За ним показался и Морозов-старший, совсем в тему напевавший «Со мач траболь ин зе ворльд».

Узрев вновь вошедших к нему, Белохлебов не поленился повторить свою проповедь и для них. Причём начал обобщение с очередного проступка своего «любимого родственника и профонда-помощника».

– Уж прикинь, Серёж, сучка-то вот эта опять к Генуркам летал. Ночью, хороняка хромая, выждал, как все улягутся, завёл трактор – причём К-700 ведь! – и поскакал! Выжрал у него, но смекнул – всё ж я-то не зря его настрашал! – что ежели завтра на работу не явится, капец им обоим... И типа, *не сильно*, глаза налил и поехал обратно – авось, думает дубок-то, к утру доеду... (Вот каков ведь человек-то бессовестный, а!..) И как раз по пути решил заправиться – «всё равно утром заправляться, а то Лёнька скажет заправляться, а я скажу: уже заправился, поперёд тебе!» – а там у меня, ты знаешь, в посадках бочка стоит с соляркой... И хорошо хоть по колхозному полю... – залил, сука, все 600 литров и давай колесить – круги нарезать! Нет, по полю! Всё поле прикатал – живого места нету! Как нечистая его кружила! А искатал-то 500 литров! Это надо всю ночь кружить непрерывно и плюс день до обеда! Всё пожёт! Я приехал: стоит, дрыхнет – как так и надо!

В предвкушении принятия спиртного помощник с поразительным равнодушием выслушал и про себя, и всё прочее, но под конец белохлебовских излияний его рудиментарное и угнетённое классово-историческое сознание, сжимавшееся как пружина, всё же не выдержало:

– Ты уж как бабка старая – причитаешь! Там было-то литров сто, а сжёг полтинник от силы. И видак пока у тебе одного!.. ну, от силы человек у восьми. А компьютер точно уж у одного, как у барина! А если б колхозы-то не разваливать да Лётку не растаскивать – чё и тебе б досталось?! Всё чё получче выгадываешь, сквалыжничаеть, хапаеть!.. Уж вся ваша порода известна: и батяня такой тоже деловой был, а уж дед, всем уж известный, до того уж додельный, мелочный – кажную щепку, провыльку какую-нибудь на дороге подымал – домой тащил! А где он теперь?! Горб токо нажил, а в дело не пустил!..

– Молчи щенок пузатый! – отмахнулся Белохлебов от помощника-правдоруба, как от надоедливой мухи или и впрямь как от треплющего за штанину маленького щеночка, толкнул стул с ним ногой, и тот брыкнулся на спину – благо, что на спинку.

– Как там сказано-то было, Леонид? – обратился он теперь к Морозову.

А Леонид, надо сказать, слушая, сочинял уж в уме некий текст – вроде «начало нового романа о фермерах»:

«У всего человеческого зла и пороков есть второе название: деньги; и у всего людского добра и приятностей жизни сей тоже есть другое название – деньги. Они, мои любимые и хрустящие (нет, лучше зачеркнуть!), появились давно, и это было крупнейшим шагом в развитии общества, как, скажем, изобретение колеса. Они, портреты президентов и вождей, кругляки-таблетки, растворяющиеся с аспириновым шипеньем только в царской водке, или даже раковины и шкуры, по идее суть средство, а не цель, то есть мерило труда, сотворённого тобой добра или зла. Теперь же – впрочем, как и тогда, и протогда, и пропротогда – они явились целью жизни каждого человека, скинув эту «жизнь» в пропасть беспозвоночного существования. И вся теперешняя человеческая жизнь представляет из себя игру в уривание денег. Кто как может. Некоторые хоть играют в эту игру как бы нехотя: мол, вот работаю я, мне платят деньги – не могу же я их не брать или выкидывать прочь – жить-то надо! Другие уж прямо говорят, что «бабки» – вещь необходимая, в хозяйстве завсегда пригодится, и вследствие этого стараются побольше играть, иногда – краплёной колодой. Третьи, а может 33-и, берут доллар, вешают его на грудь, на гвоздь в красном углу (уже даже не «Чёрный квадрат»!) и гордятся им и молятся на него; и оное доставляет им удовольствие; причём, чем больше долларов, тем больше удовольствия... и тогда они тебя, честный гражданин... из двух первых категорий... проиграют в рулетку... – как Герасим Му-му!.. или как Сажечка Жулечку!..

...А вот к какой категории относятся все граждане фермера во главе с дядей Лёней Белохлебовым, вопрос туманно-спорный, однако... однако...»

– И последние станут первыми, – напомнил сочинитель, вдруг осознав, что, возможно, всё, что он пытался сейчас изложить, есть лишь косноязычное подведение к тому, что он только что сказал.

– Во-во! – поддакнул с полу Подхвятилин, чья обида была сразу же пересилена тем, что он, волею судьбы оказавшись на полу, кое-что тут обрёл, а именно: бутылку с остатками самогона, граммов до пятидесяти.

– И что?! – Видимо, не понял фермер. – И что там дальше?

– Те, кто выставляет себя благочестивыми, то бишь приличными и бескорыстными, на самом сами молятся золотому тялку!

– Какому ещё, в рот, телку?!

– Я видел, видел! – катался, насмехаясь, по полу Сажечка, тоже ничего не понимавший, – смотрю: а он, кхя-кхя, огляделся, что никого, мол, нет, и прям перед тялком своим на колени бух! И давай яму... (Тут оратора стали несколько перебивать удары пинком, но он всё равно продолжал, а укатывался – и в прямом, и в переносном смысле – всё пуще.) ...ему кланяться... а... акх-ха... А он-то... мбёкает... а он – всё... акх-ххя... всё... кланится... а!!!

38.

Дальше, естественно, пошло ещё дальше.

Сажечка, осознав новый плацдарм для своей страсти, стал наведываться в школу не только у свободное от занятий фермерством время (не знаем как у фермеров, а у колхозников такового не бывает), но и в рабочее. Дважды бывал тут даже Генурки, и однажды Белохлебов их накрыл. Это было уже что называется публично, и директор обратился уже в сельсовет и в милицию...

Уже в тот день, 16 марта, пьяненький Сажечка, не вняв предупреждениям Сержа (за-ради гостей оставившего занятия), выбег по нужде («Ды я ментом – никто и не заметит!..») во время урока. Как раз шла физкультура – построенным по росту шестиклассникам дана была команда «Бегом марш!», и они по обычаю шеренгой начали кружиться по коридору... Малорослый чудо-фермер как раз пристрял последним и для чего-то, не отставая – хоть и был в раздуду – и от души по хлопку подпрыгивая, нарезал три круга! А когда он всё же попытался отделиться и выскочить из строя по направлению к раздевалке, то был принят училкой за Подхвятилина-младшего, и она долго орала ему вослед (в том числе пугая отцом с его ремнём с именитой уже бляхою-подковой, что Сажечке

показалось совсем нестрашным, потому как уже давно покойным, «а ремень-то вот он, у меня на штанах!».); а потом, когда он, средь бела дня обдул угол школы, после чего так же зажмурившись и не обращая внимания на окрики и команды и смех детворы, вернулся, и пробежав полкруга, нырнул в крыло коридора, пошла жаловаться к директору...

Яха же в этот день, ведя параллельный разговор со Шлёпой – а на самом деле такое подозрение, что с самим собой! – помимо прочего ещё и провозгласил: «...И кобылу свою приведу сюда, Звёздочку!! Сбрую всю привлаку и вилы... Отсюда буду на работу ездить!..»

Друг наш Яхин был уже никакущий, и затем своим чередом началось такое, что сие заявление, конечно, мало кто запомнил... Кроме Морозова! Он после сказал брату, чтоб тот ненавязчиво напомнил об этом атитектору и «внушил Яшке, что «почему бы и нет?» И некоторые ничего особо странного не увидели в том, что вскоре у порога школы всё было в навозе, а потом и у одного из окон выросла целая куча... А когда уже – несмотря на все старания С-ора! – свежие куски конепродуктов стали валяться по коридору, а из 7-го кабинета вонять конезаводом, а вечером и поутру, поговаривали, у школы – а что самое страшное: и прямо в ней! – стал видаться призрачный силуэт всадника – кому без головы, кому с копьём или трезубцем, кому одинокого купальщика, мальчика-коновода...

Всё это, как вы догадались, объяснялось вполне себе прозаично. Яха, который бросил ученье, чтобы работать, обрёл в стенах школы свой новый кров, свою идеальную жизнь и счастье. Когда пару раз Ган заметил его в школе *в конской одежде* (то есть той, в которой он занимался единственной приемлемой в его представлении работой – возжанием с лошадьми: их кормёжкой, снаряжением, объездкой и прочим обучением, ездой на них «по делам и просто», а в основном, конечно, чистой от них навоза, «а акромя того и от бардяных тялков» – и сие, конечно, равно дома и на работе), старом грязно-засаленном шмотье-рвань, заправленном в кирзачи и кожаные рукавицы, в кепке с козырьком на глаза, что делало кудрявого егозу-подхалима выглядящим совсем поцыгански, лихо-залихватски – наверно потому, что сие ещё суть первые годы такой деятельности – в противовес, например, его отцу Левону, от того же усохшему, сгорбившемуся и потускневшему – однако, спецодежда сия настолько сильно воняла и даже пачкала пол и мебель, что даже попытался немного попенять ему, что «может уж не стоит уж совсем...», а Бадору передал через Сержа, чтоб «лучше следил за санитарным состоянием здания».

Понятное дело, что Яха, который, как известно, был необычайно горазд на подобные штуки, своего не упустил. Он ныл Сержу, что «Левон мой Тер-Петросян не даёт житья... да и матря заколебала уже...» – мы забыли упомянуть о сопутствующей современному колхозному коневодству профессии... или страсти... Короче, она рудиментарно проявляется даже у фермеров-индивидуалистов, занимающихся земледелием... А если вдуматься, может, это и есть сама суть профессии – ведь человек, как и по Фрейдю, занимается самообманом-самообменом: думает, что жру, потому что работаю, мол, работа такая, а на самом деле наоборот – это только способ ежедневного пьянства. Да что Фрейд! – на русских он, говорят, не действует – два каких-нибудь коневода, скотника или сторожа, едва оставшись наедине, сразу понимают друг друга с полуслова: «Ну что?» – говорит один, а второй уж знает, об чём речь, как будто всё предыдущее, вся их профдеятельность была только ширмой для людей и начальства, с отговорками для жены «Работаю, работа такая», прелюдией к тому, что необходимо начать в любой свободный момент. И не секрет, что работе как таковой сие не мешает, а скорее даже и помогает...

В общем-то, вскоре наш Яха ввёл кобылку в класс и собственноручно отгородил ей своего рода угол, выставил нижнее стекло окна, чтоб выбрасывать навоз. Привёз также, как и обещался, свой рабочий инструмент: вилы с особенной самодельной ручкой, обмотанной в нужных местах изолен-той и вырезанными на ней инициалами владельца и ещё словом «КАР-МЕН». И как и полагается, несмотря на очередную бардель до трёх утра каждое утро в шесть часов утра «как штык» выезжал на ней на работу, а вечером опять...

Правда, вскоре он стал опаздывать, и даже прям сильно. Костерил на чём свет стоит Бадора, заставлял его будить без пятнадцати шесть, невзирая на свои утренние протесты, а утром ещё пущегулся, брыкался и даже и до рукоприкладства... потом тужил и наказывал опять...

А матрjá же его приходила в школу – отчего-то прямиком к Сержу, который переадресовал её к учителю математики, причём на дом. По словам соседей, оному было высказано всё «за Яшку мово!», и «устроили тут шалман!», и конечно, «усы повыдеру!», а потом даже смахнула с тумбочки знаменитую троичную скульптуру, в которой природа, по мнению автора (С-ора) запечатлела в своих замысловатых коряжниках три стадии развития человека – только почему-то без высшей, и посему очень напоминающую процесс превращения её Яхи в Левона и далее в расчудесного японского крокодила, а в коридоре ещё и оборвала – «шобы неповадна была!» – оба кашпо!..

И вот раз, когда Яха, просыпаясь, подумал, что Куржо пришёл его будить, в дверь «конюшни №7» сильно и настойчиво стучали – выпучив шальные ягнячьи, налитые кровью глаза, сказал: «Ёксель-моксель, птеродоктиль!» – и зачем-то сразу надел штаны – но впопыхах и спьяну задом наперёд – так, что ширинка была на заднице (на самом деле, как вы видели, надевать их таким макаром ему было уже не в первой, и они уже растянулись, промаслились и изгваздались в говне настолько, что не было уже решительно никакой разницы), подошёл на шатких ножках к двери и вскоре, приговаривая про птеродактиля и крокодила и сполупьяну не обращая внимания на голоса снаружи, попытался открыть её торчащим изнутри ключом... Но никакого ключа не было... И тут он понял, что Бадор должен открыть его оттуда, и вообще разбудить и одеть, и вообще... и...

В дверь ударили так, что посыпалась штукатурка, а в пол ударила струя мочи от Звёздочки – так полетели брызги...

Это и была милиция из района.

Через полчаса делегация уже ломилась в дом к учителю математики, и вскоре даже вломилась... Каково же было удивление, когда оказалось, что он сбежал: вместе с женой, всеми своими пожитками и поделками – исчезла даже новая очищалка, которую он три дня тому себе вкопал!

Делать нечего, в федеральный розыск уж за какую-то мелочёвку подавать не стали, потом некоторые даже его видели – живёт себе в другом селе. Морозовых потеряли немного, но Белохлебов, человек в районе известный, и хоть и жадный, но кое-куда всё же вхожий, сразу всё замял: говорят, что менты приезжали потом *бардеть* в той же школе: гармонь, шашлыки, водочка, самогон, всё такое...

39 (epentheticum-2).

И вот мы вместе! Нас грузят в уазик... Или, пардон, скорее всё же в москвич-пирожок мужа нашей училки по русскому. Эта будочка-пирожок вообще-то не предназначалась для перевозки людей, но мы, конечно, частенько в ней ездили в район. Такая поездка называлась «ездить в бункере», потому что будочка железная и там внутри абсолютная темень – может, только крошечная дырочка у пола, да над ней ещё узкая щёлка от дверей – душно и жарко. Там было два сиденья по разным сторонам с полметровым прогалом между ними, на который обычно клали доску, чтоб сел третий пассажир; одно сиденье было сделано из сиденья автомобиля или, лучше предположить, вынуто из коляски мотоцикла, и потому довольно большое и мягкое, второе – просто из досок или ящика. Но самое главное, всё это можно было определить только на ощупь, потому что темно... (Хотя, по идее, я должен же был видеть интерьер «будочки» при свете, когда садились, а вообще-то и раньше – но отчего-то убей не помню.)

Итак, Яночка заняла, конечно, лучшее место, детишки уселись на второе, тоже относительно неплохое, а я по своей стеснительности приловчился на доску, как питушок на шест, сгорбившись и упираясь башкой в потолок. И мы поехали – было невыносимо. Физически-то ладно, а внутренне прямо совсем. Лох и трус, твердил я себе, даже не мог... И ещё невыносимо тяготило меня, что у меня с собой был плеер – предел тогдашних моих мечтаний, *почти* воплощённая мечта. Почти потому, что это была китайская фуфлыжная штамповка с красненьким обтекаемым корпусом. И ещё потому, что когда я скопил на него бабушкины подарочные деньги, и наконец-то купил, братец Серж стал активно ныть, и настолько, пупок сопливый, сильно, что ему тоже купили точно такой же. Но он, как водится, сразу свой изломал. После чего стал ныть опять, и ещё пуще (несмотря на

свою чуть не с пелёнок проявившуюся самостоятельность, в таких случаях он предпочитал методы прямо-таки младенческие, впрочем, бывшие наиболее эффективными). Тогда знакомый нам Рыдваньер подсказал, как приделать к сохранившемуся моему плееру ещё и Серёжкины наушники, чтоб слушать вдвоём. Дома это мешало, но не очень, в школу я чудо техники не брал, а тут решился – вроде поездка, олимпиада, Яна, и я «типа крутой пацан», – а вот и никак!..

Двое наушников – это абсурд. И хоть и шумно и темно, всё равно заметят, что я включил, зашкрипит механизм, польётся музыка, последуют вопросы... может, просьбы!.. И скорее даже – от второклассников-хорошистов – вот обида будет! Ведь вообще-то я и взял его «на всякий случай» – чтобы самому предложить ей послушать. Но мы ехали всё дальше, времени было всё меньше, молчание всё суше, стук сердца всё чаще... Наверно, уже полпути!..

Я решил сделать ладно уж не на пятёрку, так хотя бы «на тройбан», и всё же просто включил его, а потом последовали вопросы. Я дал пацану одни наушники, потом вторые девчонке. Тут Яна спросила сама, и я долго впотьмах изымал, передавал, искал где что (хоть дома часто пользовался им во тьме перед сном, а вернее, перед тем, что всегда ему предшествовало – воображаемым экшаном с Яночкой, с разными ракурсами и деталями, в несколько заходов!), как включить...

Вдруг она, бывшая такой равнодушной и далёкой (даже в ночных фантазиях она была отстранённо-холодна и слегка высокомерна, что возбуждало ещё больше!), – вдруг она оттаяла и сама предложила мне сесть на её место, а она – о Боже, моя мечта!! – ко мне *на коленочки*, «и будем слушать вместе»!

Бессознательная потребность (хотя во многом и на основе сознательного стереотипа-слогана «надо расслабиться» и предлагаемых способов как это сделать) откинуться в кресле или развалиться на кровати, выключить свет и заткнуть уши музыкой, и желательно, чтобы при этом кто-то ещё «орально стимулировал»... А для меня лучше всего этого было особое состояние покоя, когда ты одновременно ещё находишься в движении – едешь на машине или лучше на поезде. Движение довольно размеренное, мерно и мирно стучат колёса, жизнь имеет однозначно направленный вектор – к пункту назначения, спешить некуда и нельзя, и выбора почти что и нет. Разве что сесть или лечь, попить или не попить чаю... Впрочем, и совокупляются в поездах довольно часто – даже в сортире...

Сначала, когда она села собственно на колени всем весом, я уже через минуту жёстко отяготился и был уж не рад и ужасно на себя злился. Меня и тогда выводили из себя все эти послабления себе, и я решился взять себя в руки – и взять в руки её. И я решительно и хватко взял её за мягкие тёплые бока и притянул к себе, подвинув ее попу ближе к себе – с коленей на ляжки и таз. Лился Ace Of Base, стучала и прыгала дорога, стучало сердце, сердца, я впервые почти обнимал её, легко, но крепко, вдыхал её ближний запах... или не впервые – если не считать той поездки на велике... или это что ли позже было?..

Эх, я ещё не задумывался тогда, что вполне возможно *уже тогда* у неё в глазах стояли и распускались-разрастались, как всепожирающая махровая приторная желтизна одуванчиков, порнокартинки от «любезно» показанных ей «продвинутым» Гонимым (за компанию с её сестрёнкой, его подружкой, и неизменным Мирзой) видеофильмов. А в ушах, быть может, уже стояло полуосознанное, расслабленно-нетерпеливое, вырывающееся наружу, прорывающее пелену школьной серости-скромности, как остро пришедшая весна, как моя животная природа и сверхчеловеческое неосознание-нео-сознание её и мои штаны, такое неестественно естественное *оно*: «Come on, fuck my ass, please! Stick it in my fucken dirty shithole!»

Внутри меня всё замирало и сжималось, член прямо лоснился юношеской слизью... и утыкался ей в промежность – туда, куда устремлялись все мои взгляды – реальные дневные и виртуальные ночные, все стремления и мыслеобразы, все виртуальные интимно-глубокие проникновения!.. Вскоре я почувствовал (и она!), что он не просто уже тикает, мерно, а потом толчками, а прямо-таки бьётся, устремляясь «навстречу своей мечте» – такой уже близкой... горячей... и склизкой!.. – через четыре слоя ткани, почти-почти преодоленных – казалось, двойной хлопок и двойная синтетика вот-вот расплзутся, прожжённые страстным желанием, как будто раскалённым металлическим штырём!..

Я перевёл руки ей на живот – горячий, гладкий, погладил его, стиснул...

Не сговариваясь, мы сняли наушники и отдали их и плеер детишкам...

Она стала поёрзывать на мне, опираясь, отталкиваясь ногами от пола, тереться попкой, даже напрягать ягодичи, так что мой эрегированный уже донельзя ощутимо вбирался между них, чувствовалось её горячее тепло, и смазка пропитала наверно уже все четыре разделительных слоя...

Взять её за грудь я не решался; то, что можно в таком положении целовать в шею, в ухо и даже в рот я не знал... Я тыкался только в волосы, которые, супротив моих ожиданий, оказались для лица не «шелковистыми», а какими-то уж очень неприятно-колючими...

...И потом я высвободил из своих спортштанов и семейных трусов, а она сдвинула свои спортштанишки и бело-школьные трусики с окантовкой и широкой резинкой, надвинулась, раздвинула, больно опираясь на мои ляжки своими... И я как-то сразу попал и вошёл куда надо!.. Наверное у меня было просто сверхжелание и много смазки, у неё мягкая, влажная и открытая (наверно, интуитивно, непроизвольно потужилась от того же желания?!) маленькая возделенная задняя точка (наверно, не такая уж маленькая), впереди было мокро и мягко-волосато... а в то же время вроде тоже как-то немного жестковато... Она как будто просто села на него и замерла. Я кусал её шею...

Я не знал, конечно, что всё не так уж просто – что вот она села ко мне на колени, поёрзала попкой, упиравшись и задирая штанишки, и всё само собой вошло в самый тесный и глубокий контакт... что надо иметь хорошую сноровку, но от природы почему-то знал уже, что проникновение в заднее, как говорили древние китайцы, должно быть неторопливым, но неуклонным, как капля стекает по лепестку вниз. Я ожидал тепла, стремления в сердцевину и его максимум, ожидал, что *там* будет всё самое горячее, но было только чуть тёплое, если не равнодушно-холодноватое...

Через несколько мгновений, на каком-то особенно большом толчке, всё кончилось, она – кажется – заорала, впившись ногтями мне в ляжки, я прикусил язык, и тут же мы остановились, и едва мы успели надвинуть штаны, как уж распахнулась дверь... и грянул свет, и с молниеносной вспышкой мысли «Постойте: а что, если наушники мы надели сами (ведь непонятно, был ли шум мотора или тишина: такой был гул в ушах и передоз эндорфинов!..), а детишки, наоборот, всё слышали?! – представляю!..» я проснулся...

Длинное предисловие автора о рукописи, найденной в стене (во сне), и немного о себе

Итак, как мы помним, в начатом предисловии мы остановились на том, что юношу и начинающего писателя Морозова, как и всякого подростка, привлёк феномен винопития.

...Но скажу сразу, что заинтересовало оно меня не само по себе, а как алгоритм некоего альтернативного поведения и восприятия реальности, то есть, ни много ни мало, открытие новых горизонтов бытия – ну и конечно, и творчества – ведь теребить котов далее стало вовсе никак невозможно.

Уже тогда, в старшие школьные годы, проявилась в моей писанине социальная критика, замешанная на ироничном, почти презрительном отношении к природе человека – однако, исконно не без сочувствия и лиризма, поскольку именно прозревал в интересных личностях её неоднозначность и двойственность, если не тройственность; много смехового начала, экшн-сюжетность, вездесущий эротизм опять же (даже в кошачих историях к 12-летнему возрасту автора появилась какая-то кошечка Дымка!..); рефлексия уже присутствует, а вот метафизика и богоискательство едва-едва только проклёвываются.

Именитых уже в узких или не совсем кругах «Чертей на трассе» я написал 13 марта – 1 апреля 1995 г. (рукопись с лит. правкой начала – август 1997). Этот рассказ я перепечатал потом на машинке, пытался куда-то посылать, с ним же фигурировал на филфаке... Конечно, талант мой никто не оценил. Оценила его только Репа (О. Т.) – так мы с ней и познакомились (месяца через три бессловесного сидения за соседними партами) – он даже друзьям своим его «зачитывал», и «все дошли» (кажется, среди них как раз был Санич). Потом О.К., О. Фролов, другие... – и именно этот текст зачитывался на наших самодельных литературных вечерах (пьянках) кружка имени Зелёной бутылки

с бычками в так называемом «курятнике». Поэтому сам этот «настр» (так М. Скворцов обозначает настроение, творческий настрой, а за ним неустанно повторяет О' Фролов) некоторого ироничного что ли, всё же постоголевского, но всё же и позитивного в чём-то, творческого отношения к жизни сей, её пародирования, театрализации (от скуки да немощи наверно?!..), почти кастанедовского служения и «неделания», «профанации» (термин немного переосмыслен в идеологии и эстетике «ОЗ») пошло именно от него. К тому же он оказался созвучен (я не отрицаю, что и под влиянием) великому роману «Мастер и Маргарита», по которому мы все (О.К., О.Ф. и я) писали выпускные сочинения, дипломы и рефераты, и который особенно сильно и избирательно ценил О.К., не особенно ценивший наш с О.Ф. творческий поиск, а особенно и избирательно – мой. Видимо поэтому я и считал это произведение хронологически первым, а про другое почти забыл. Но суть не в этом.

...К обеду третьего дня я не выдержал – встал (был уже оч. слаб) и выжрал в сенях заржавевшую воду из умывальника – там её было ровно две протекающих пригоршни. Хочется сказать, что это меня и вернуло к жизни, но вообще-то процесс был более длительным... Но тут я вспомнил, что может вернуть меня к жизни – вспомнил, что «в последний раз» (в сентябре 1999 г., когда я приходил в пустой дом уехавшей бабушки – как раз забрать рукописи стихов, а после написал стих «Автобиография/автогеография») за печкой (а вернее, плитой) я припрятал книжку одного психолога или мага, «дающего положительную установку». Книга была формата А4 и с большими белыми полями – и я пару раз уж начинал её использовать для записей каких-то своих произведений, а потом и открыл для себя оригинальный жанр – отвечать на высказывания оригинала и комментировать их. Ответы были, конечно, афористичными (ну, условно говоря, на «Жить надо по благодати» писалось «Вот и х.й-то, блять!» – что поделаешь, молодой был, не понимал...), а какие комментарии, я уж и представить сейчас не могу.

(Вам ещё не надоело читать предисловие?!..)

В одном интервью я говорю так: «Не секрет, что уже с давних пор, с раннего детства я занимаюсь *ибупрофенством-атитекторством*, или *коногешитальтингом*, *бандерлажничеством*, и уже с младой юности оно связано с *дьюмейкингом* и *дьюмейкерством*. То есть это уже и были завязки «ОЗ» и всего остального. А кто в наше время разнообразен? – Маяковский что ли?» Для прояснения терминов я отсылаю желающих к другим своим сочинениям, но надеюсь, что и чтение данного текста, его контекст, немного прояснит их значение и назначение.

Так вот... Я оную нашёл и продолжил заполнять её ещё более корявым почерком (помню, писал под конец каким-то огрызком угля) и, думается, в ещё более радикальном ключе. Потом я вспомнил, что должны быть и другие рукописи – более ранние, и даже совсем, да ещё и катушечные плёнки – мы с братцем выполняли из подручных средств музыку (причём как *записи*, так и *концерты*) и делали по моим произведениям, а равно как и экспромтом, радиопостановки года так тоже с 1987-го. (Скажу и отвечу: «всем этим» я нисколько не стремлюсь «умалить роль О.Ф. (и проч. тож) в создании «ОЗ», а просто излагаю избранные эпизоды из своей биографии как «информацию для размышления». Насколько знаю, у О.Ф. тоже в детстве было нечто подобное, и тоже с припряжением братца, но у меня занятия сии «вос-производства явлений» (выступления короля музыки Киссера!) носили заведомо-завидный систематический характер – бедной бабушке порой оч. сильно надоедало, царствие ей небесное! Короче, ничего такого; всех вас очень люблю.) И я стал всё обыскивать, но ничего не нашёл. И тут меня пронзило – такая досада – Мастера (а вернее, там-то, в романе, типа Марго, конечно, а не его) за утерянное произведение – *неужель всё же горят??!!!!.....* Я вспомнил, конечно, *что* сгорело! (Дело в том, что нашёл я только разрозненные обгоревшие клочки в каком-то ведре с золой и шлаком и ещё какие-то совсем ранние отрывки, которыми было выставлено на полке – 2 полки по 2 м! – которые тут же с досады сжёг.) А этого – нема! Повесть «Российский Диснейленд», 1993 – впрочем, оч. короткая, ученическая, из которой интересна только задумка, и в которой находилась завязка её продолжения «Russian Disneyland-2», вполне себе повесть, разросшейся в целую общую тетрадь (которую мы с братцем стырили – в результате долгого лыжно-диверсионного похода – из вагончика фермеров, где и происходит действие 1-й части и о которых она и её продолжение и повествуют!), в которую потом я изолянткой вклеил ещё много листов и получилась целая пухлая тетрадь! Я вспомнил: чуть не каждое слово там было *гениальным!!!*

Сейчас уж так мне не стоит и пытаться! Молодость! Свежесть! Но нет.

Я даже решил заглянуть на чердак. Нет-нет, вы не правы – там и никогда ничего не было, даже света, только навоз и валяющиеся отгудова чёрные жуки, да ещё там испражнялась и котилась чёрно-белая наша кошка по имени Кóха. Лестница туда находилась в сенцах в отдельном закутке, отгороженном шторкой-занавесом, и кроме лестницы там стоял ещё ларь (кто не знает: это как бы большой ящик для зерна, прибитый к полу или просто отгороженный). И я полез, а потом и в ларь свесился с лестницы – посмотреть что там. Там был какой-то хлам, и я увидел и вспомнил, что задняя стенка ларя, бывшая собственно уже задней стенкой дома, была какая-то странная (сделана из досок, пустота между которыми была заткнута тряпками – довольно частый случай: при постройке не хватало кирпича), и тут же вспомнил, *какая* странная – двойная. Там был своего рода тайник. Свесившись туда, прям внутрь ларя и дальше запуская руку вовнутрь стены, я нащупал там свои сокровища. Сокровища детства и юности, «завязи наших барышей». Два пакета – и кассеты, и тетрадки. Правда, достал я, кажется, не всё – так что, несчастные будущие литердиггеры, дерзайте! Пока дом ещё стоит, и буквально недавно вот я узнал, что его продали товарищу Сибабé (неужели производное от Саид-Бабы?! тоже где-то у меня упоминался, по-моему, сей персонаж) – за 10 тыс. руб.! Мне хотя б половину этой суммы получить и то счастье. (Кстати, где ж и сборник афоризмов с комментариями на полях – неужто так и пылится, периодически разогреваясь, за печкой?! Честно говоря, я не хотел бы, чтобы его нашли.)

Надо ли говорить, что текст оказался не так гениален, как я себе представлял и надеялся. Правда, весь его я так и не прочитал (не могу перечитывать свои произведения полностью!), и сейчас, когда я, ваш, а ещё больше и его покорный слуга, перепечатаваю его и одновременно пишу это предисловие (находясь, кстати, именно на малой родине, жаль только, что не в бабушкином доме; а недавно прям я побывал – наверно, в первый или второй раз за последнюю декаду жизни! – в своей родной школе – давал интервью районному телевиденью, за которое мне – косвенно, впрочем – заплатили 3 тыс. руб. – такие гонорары иным насосам только снятся!..), мне остаётся в силу этого текста только *верить*. Я помню и верю, что в нём *что-то есть*, что в нём *есть всё*, что нужно для литературного произведения и даже шедевра.

Что касается литературной обработки/переработки текста. Естественно, сначала я хотел «оставить всё как есть». Но начав читать, сразу вспомнил, что манера изложения у меня тогда была простоватая (короткие предложения, описывающие действия героев или передающие какие-либо примитивные мысли, с редким, но, как говорится, метким вкраплением путано-длинных, претендующих уже на какую-то почти толстовскую глубину мысли или почти Достоевскую неопределённость и самоцельность-самозначность действия, и плюс диалоги, которые у меня прям с детства блестящи (:-))(!)), но уж шибко своеобразная – начиная от пропуска некоторых слов и заменой их кавычками (как, напр., я потом увидел у А. Цветкова-мл.: «Я вышел из и поплыл...», а предыдущее предложение было про лифт, поэтому и так понятно, откуда вышел), и кончая необычной пунктуацией и расстановкой акцентов, не говоря уж о словоупотреблении и лексике. Но, может быть, я и преувеличиваю... В итоге, я остановился на том, чтобы в основном оставить всё как есть, передать, где возможно, максимально близко к оригиналу, только лишь по возможности делав текст более адекватным – *чтобы написанное было понятно не только мне*.^{*} Конечно, с той поры прошло 13 год-

^{*} Ведь с другой же стороны, именно при написании «Эха» я осознал, что при этом пресловутом соблюдении общепонятности и адекватности текста индивидуальная стилистика, сам строй речи и мысли, а может быть, и всего худ. мира автора теряется и переводится – будто с иностранного. За счёт этого появляется литературность, тексты печатаются, и даже в «толстых» журналах, получают премии – как допустим, А. Иванов, Прилепин, Ключарёва или Елизаров, заслуженные лидеры этой новой волны отечественной прозы; однако пресловутое «сверхусилие», которого так требуют критики, в самую первую очередь может быть реализовано именно на уровне индивидуальности текста (коли уж Вы взялись за его написание), и поэтому они сами же, ещё вместе с редакторами и читателями, автору это дать не дают, и всё-это напоминает разговор двух элэнпэшников, которые зная себе подстраиваются под голос и манеры друг друга, якорятся, серьёзничают, серьёзно веселятся, а на самом деле всё это пое.нь.

В идеале (а на самом деле на практике!) речь идёт ни много ни мало как о написании текста, не имеющего себе аналогов – в основном в национальной литературе, а уж подавно и вообще в мировой – как например, сразу отличимы по стилю

ков, и многие вещи, мысли и темы мне давно не близки (как напр., все как правило меня знают по первому роману «Эхо» – а я уж обо многих там «глупостях» и думать почти забыл! – ну, может, *почти...*), но что поделаешь – логику произведения соблюдать надо, и вообще действительно ведь – правдыстинно, как говаривала бабушка, – сейчас так уж и не напишешь!

Вся моя надежда на то, что почтенная публика оценит мой рискованный жест: после почти тысячи страниц «взрослых» опусов выпростать из большого брутального мешка истории самые зелёные-неокрепшие ростки ошепелёвизма и не почтёт сие за какую-нибудь постмодернистскую выходку. Тем более, что «фишка уж старая»: на сопоставлении подлинного юношеского текста и комментирующего его современного, как вы помните, построена повесть «Настоящая любовь/Грязная морковь» (1994/2001)... Однако!.. Только вот сейчас отрыв в рукописях начало «Наст. любви...», чтобы указать дату, удостоверился в том, что я почему-то предполагал и чего боялся (ведь тогда оно предисловие надо было б писать «несколько в ином акценте»!). – обе повести написаны в том же самом 94-м году! Ну что я могу сказать? – наверно, в хронологии собственного творчества я, как и многие графоманы, не сильно так силён, я не литературовед, не критик, моё дело написать, ну ещё, может, издать... Могу добавить к вышесказанному только ещё некоторые сведения, о которых только что вспомнил и которые, пока рядом архив, могу уточнить.

В августе 1995-го, готовясь к поступлению на юрфак, я написал небольшую повесть «Козырной валет» с криминальным, можно сказать, сюжетом. Я показывал её друзьям, а также С. Бирюкову, но все как-то не реагировали, и я сам сказал на неё рашпиль, благополучно забыв. Но однажды на 3-м уже курсе мне пришла гениальная идея объединить «Валета» с «РосДиснейлендом», а заодно и добавить туда всё, что возможно, про бабаню, её домик и проч. И этим убивался не один заяц: в «Диснейленде» как-то до конца непонятно (вернее, в начале, где отсутствуют первые две главы), из-за чего учитель служит ученикам – и отнюдь не в библейском смысле. Просто говорится вроде, что он совершил какое-то преступление, которым юные следопыты его и шантажируют, и раз он так старается, то видимо что-нибудь серьёзное, может быть, даже и убийство (это теперь-то я могу представить и понимаю, что судя по всему нечто более тривиальное, напр., прелюбодеяние или кражу)... А в «Валете» напротив, героя-протагониста, юродиво-тёпленького дурачка-мыслителя-мага, насколько помню, кто-то в конце повести убивает (или что ли он просто загадочно исчезает, и, по-моему, даже с намёком на то, что самое автор тоже может быть в подозрении причастности к этому – «дабы завладеть его знаниями», почерпнутыми им в прочитанных, а изложенными в написанных книгах да ещё в таинственном его ноу-хау – некой доске навроде шахматной с вписанными в клеточную иерархию символами; по сюжету что-то наподобие рассказа Г. Ф. Лавкрафта «Наследство Пибоди») – а кому это нужно (неужели автору, тьфу, бяка!), никак не объясняется. Тогда пришло мне на ум сделать небольшую инверсию: учитель укокошил философа-юрода, «дабы ЗЕЗ» (сцена в стиле убийства Троцкого, подсмотренная через окошко-щель), а ученики (те же самые в основном!) этим его и шантажируют – т.е. начать с «Козырного» (а там почитай вся жизнь героя описана, начиная с бурной молодости), продолжить «РосДиснейлендом», а закончить ещё кое-чем. Вот вам и роман. Тогда написал только с дюжину страниц начала. Не знаю, может ещё и напишу.

Ещё одно: первая вставная главка (13-я) – подлинный отрывок из романа, который я тоже начал писать, датированный 93-м годом. Стихи тоже подлинные, написанные, правда, не в 16, а в 13 лет, причём для этих моих лет это был факт фактически единичный (данное стихотв. написано 18-19 августа 1991 г.); на создание поэтических текстов-миниатюр вместо прозаических я как раз стал переходить в 16 лет. Что поделата, наивно-слюняво-дегенератского лиризма я был не чужд всегда; но текст этого отрывка ещё читается как плохой перевод потому, что был зашифрован. Году в 92-м, начав писать «про девочек», я избобрёл для вящей конспирации собственный шифрованный алфавит – криптограммы его довольно похожи на латынь, или на её польскую или чехословацкую

и строю мысли творения Гоголя, Достоевского, Толстого или Платонова, но если б им придать хорошего современного редактора, издателя и корректора, то и от них остались бы токмо рожки и ножки.

какую-то поросль... Но чтобы его было труднее декодировать, я сразу ввёл в него гениальный принцип «от гриба» (естественно, тогда он ещё не имел такого названия): некоторые буквы имели не одно обозначение, а два или три, все абсолютно равноценные, могущие в тексте варьироваться как угодно безо всякой закономерности.

Вообще всё действие обоих «Диснейлендов» было подготовлено как раз реальными нашими с братцем акциями (мы обряжались в самодельные костюмы ниндзя и шпионили и проказничали...) – сие отражалось в записках, даже может в дневниковых записях или подобию отчётов (по-моему, это не сразу был роман), которые я вёл, если не ошибаюсь, с 1 мая 1992 г. Потом нас едва-едва не поймали (чудом! – вот бы мы за свои «диверсии» – ставшие почти уж без кавычек! – нарвались на очень крупные атата!), и мы не стали более играть в «Неуловимых мстителей» и сразу прекратили. Наверное, вскоре после этого я начал писать роман «Russian Ninja», но не хватило духу и сил, да и текст, сами видите, довольно безжизненный. Всё это говорю не для того, чтобы похвастаться и напустить вам в глаза какой-нибудь пыли, а просто вспоминаю, констатирую факты – ведь так и было...

Тематика произведения, надо сказать, действительно специфическая. Подзаголовок «О становлении российского фермерства», в принципе, соответствует действительности, но даёт нам не так много, как в нём торжественно заявлено. Это всё равно, что гениальный судя по всему (напр., по первой экранизации) «Тихий Дон» (который я, к слову, к сожалению, так и не прочёл) читать как повествование «о становлении» – «коллективизации у казаков и о борьбе «их» с контрреволюцией». Вторую тему можно было бы обозначить как «о кризисе (советской) школьной системы» и произведение рекомендовать (всё же) для ознакомления работникам наших приснопамятных школ. Ведь автору уже сейчас понятно, что не избежать ему упреков в натурализме изображения, а вместе с тем в его же искажённости, извращённости, да и вообще общей негуманистичности или даже откровенной (по другим источникам, сокровенной) антигуманности самого создателя произведения, причём во первых рядах зачнут выступать именно людишки из этой категории. Заявляем сразу: всё это неправда, мы утверждаем традиционные гуманистические ценности. Впрочем, очевидно наверно, что и на «становление» и на «разложение» автору довольно-таки наплевать, что для меня важнее всего личность (отчасти ещё и сейчас, но в то время особенно! – больше всего своя собственная), а с остальным (более глобальными и значимыми процессами!) критики-кырётники уж разберутся. Наш друг Виктор Иванів, хоть и не критик, а настоящий поэт, написал рецензию на мой первый роман и на первый роман Наташи Ключарёвой «Россия: общий вагон» под названием «На фуражке моей серп, и молот, и звезда» с подзаголовком «Новые радикалы и новые мученики» (!). И то, что он пишет там об «Echo», можно отнести и к рассматриваемой нами повести: «В начале 90-х годов... последние дни переживает советская школа – ослабленный механизм подавления изблёвывает один за другим шаблоны массового сознания. Школьный фольклор является, прежде всего, лексикой травмы, и это – одно из составляющих школьного театра насилия. Сколько его безымянных, безгласных жертв разбрелось по земле! Насилие идёт от игры – от невинной «американки», где проигравшего поворачивают спиной, заставляют садиться на колени и стараются попасть в него футбольным мячом. Меновая ценность союзной монеты ещё не девальвирована – так юбилейный рубль обменивается на коллективное гомосексуальное изнасилование – такова печальная история одного мальчика». Я всё думал насчёт гомоизнасилования, и понял вроде, что оно символическое, а не реальное (хотя и таких полно), и понял ещё, что всё равно, хоть и не страдаю особой гомофобией, не могу его соотнести с собой даже символически. Возникает вопрос: что же тогда сделала со мной школьная система?! Неужто, как выражается мой старший товарищ, «хрен уже довольно близко к задку поднесли», и всё? Да нет, насилие было (в широком смысле, конечно, а не сексуальное, и не только символическое), но не было никакого релакса и инджойитинга (если только в обратном, символическом, мазохистски-художественном смысле?!...) – было сопротивление и контрмеры – как раз то, что описано, и то, что написано.

Можно ещё добавить кое-что из недавно читанного мною знаменитого трактата Р. Ванейгема «Революция повседневной жизни»: «Что это за иллюзия, которая не позволяет нашему взгляду разглядеть разложение ценностей, развал мира, фальшь, разъединённость? Может это моя вера в

собственное счастье? Вряд ли! Подобная вера не может выстоять ни анализа, ни приступов боли. Скорее это вера в счастье других, неиссякаемый источник зависти и ревности, который негативным путём даёт нам чувство того, что мы существуем. Я завидую, значит я есть. Определять себя по отношению к другим, означает определять другого. **А другой, это всегда предмет. Поэтому жизнь измеряется по шкале пережитого унижения. Чем больше кто-то выбирает своё унижение, тем больше он «живёт»; тем больше он живёт упорядоченной жизнью вещей (выделено нами. – А.Ш.).** В этом хитрость овеществления, благодаря которой она просачивается, словно кислота в варенье».

С другой точки зрения, уже активности и ответа на вопрос «Что делать?», это выражено в ситуанистском же «Докладе о конструировании ситуаций»: «Настоящая экспериментальная направленность деятельности ситуанистов состоит в гармонизации более или менее осознаваемых желаний и времени/места для их реализации. Именно гармонизация окружающей среды и этих примитивных желаний способна спровоцировать осознание их примитивности и привести к спонтанному возникновению новых желаний, для реализации которых нужно будет создать новую реальность. Таким образом, можно себе представить вид ситуанистски ориентированного психоанализа, который по контрасту с разнообразными фрейдистскими последователями должен будет выявлять подлинные желания в данном месте и в данное время исключительно для их реализации (а не для сублимации, как во фрейдизме). Каждая личность, каждый человек должен находить то, что он хочет, что его привлекает...

Наши исследования могут быть интересны, в первую очередь, для индивидуумов, практически работающих в направлении конструирования ситуаций. Подобные люди все – и спонтанно, и сознательно, – являются предситуанистами – индивидуумами, участвовавшими во всех предшествующих экспериментальных движениях и почувствовавших объективную необходимость этого вида конструирования через осознание сегодняшней культурной пустоты...

Сконструированная ситуация обязательно коллективна в своей подготовке и развитии. Тем не менее, может показаться, что на период первых сырых экспериментов данная ситуация требует на главную роль “режиссёра” одного человека. Если мы представим конкретный проект ситуации, в котором, например, исследовательская команда создает эмоционально подвижное собрание нескольких человек на один вечер, мы без сомнения должны различать: режиссёра или продюсера, ответственного за координацию основных элементов, необходимых для создания декора и для выработки определенных инвенций в событиях (как альтернатива, несколько человек могли бы разрабатывать свои собственные интервенции, будучи в той или иной степени не в курсе планов друг друга)...

Впрочем, не знаю – я выражаю подобные вещи, надеюсь, не менее, а быть может, более тонкие и глубококомысленные, косвенно – в художественной форме.

Вот, например, уже упомянутый и всячески мною и всеми уважаемый старший товарищ поведал такую историю. Когда он работал в школе, то коллега его, вполне взрослый, адекватный и ничем не уродливый дядя, ставший за свои заслуги завучем, повадился ссать в руковину. Это была обычная эмалированная раковина в коридоре – мыть руки. И он туда наладился в достаточной степени регулярно – так что вот даже об этом стали прозреть посторонние лица – в основном вроде особо прозорливые коллеги, а может даже и ученики. Дело в том, что санитарный сей пункт находился в особенном месте – на нижнем полуподвальном этаже на пересечении путей в спортзал, душевые и в столовую и из них – так что как только раздастся звонок, магистраль сия мгновенно заполняется людьми (среди которых есть, кстати, и разгорячённые порозовевшие старшеклассницы, полуголые или в прилипших к телесам – особенно к складке-впадине между полупопиями! – спортивных штанах), и главное тут успеть приладиться и сделать своё дело за этот всё же существующий в данном (да и в других) случае материальный временной эквивалент понятия «мгновенно». Работаем, так сказать, на контрастах и на грани фола: «Здравствуйте, здравствуйте, девочки! Как ваши дела? (а я вот руки мою, обмывая вот заодно и края руковинки, кем-то видимо неохалужно оплёванные...)» Вот ведь... «То ли адреналина ему не хватало...» – с серьёзным видом рассуждает над курьёзным феноменом мой старший товарищ, а я уже дохну чуть ни до слёз, про себя думая, что такие случаи,

конечно же, говорят о природе человеческой куда больше и выразительнее, чем многие километры писанного в терминах отвлечённых.

Некоторые сравнивают «ЕCHO», например, с фильмом «Детки» («Kids»),* вызывающим чувство отвращения и в то же время сочувствия, тревоги и боли за своих детей, реальных и гипотетических; вызывается из запасников памяти немного подзабытое выражение (почему, интересно?!), – «опасение за будущее всего человечества». Автору же этих строк кажется, что он запечатлел некий новый период лишь в его начале (и самое начало – это конец 80-х, гласность и перестройка, начало 90-х, крушение Империи – т.е., у меня на сегодняшний день это именно *вот эти* тексты), а вообще я, конечно, мало представляю, чем и как живут современные подростки, никакого Советского Союза и не нюхавшие, – я тарашу глаза на список признаков «компьютерной болезни» – «неужели ж этэ не приколы?!», потом нахожу некую их внутреннюю общность с определениями «детей индиго», а уж при рассказах матушки, как ведут себя ученики нашей школы, просто плююсь и с трудом сдерживаюсь от а-ля старческого брюзжания... Особенно ещё меня поразил эстонский фильм 2007 г. «Класс», посвящённый той же проблеме, о которой я и пишу, – так называемом насилии в школе (отрадно, что как-то без акцента на времени, когда это происходит), весьма сходный со знаменитой лентой Гаса Ван Сента «Слон» (который в сопоставлении с «Классом» кажется туповато-слоняво-американской побарденью), только я, так сказать, перенаправляю векторы. А вообще такое прямое разрешение конфликта (ответ насилием на насилие) – самое простое, должны только совпасть во-едино некоторые факторы, и тогда – о ужас! – бойтесь возмездия!

Повторю ещё раз: сам я подобного, равно как и описанного в настоящей повести, не оправдываю. Пусть эти произведения служат своего рода предостережением для тех, кто является говном, и своего рода арт-терапией для умных, талантливых и угнетённых. Однако, сводить всё к развлекаловке и эстетизации уж никак нельзя, потому что красота здесь вполне условная, как бы в кавычках, и вообще она вещь зело хрупкая. Ведь вот, например, что такое Диснейленд у нас все уже давно знают, хотя кто не бывал, представляют его наподобие Макдональдса и даже иногда путают (что, возможно, даже и оправданно), но вот по каким-то странностям судьбы построить в России нечто подобное никто, кажись, и не пытался!.. Как вы знаете из произведений классики, традиции развлечений у нас богатейшие, однако между карнавальностью западной и нашей есть, нам кажется, большая разница. У нас в жизни мало культурности, серьёзности, методичной скучности, меры как таковой, а есть экстрим – «дойти до последнего предела» и некоторая мужицко-народная лукавость, такая доля шутки во всём, даже в самом горьком. Как видно, оба эти качества порождают и более глобальное третье – метафизическое измерение самого отношения к жизни. И посему выходит, что карнавал наш не запланированный и регламентированный, а чисто спонтанный – уж куда вывезет! Кому-то этого никогда не понять, но я вас призываю! Ведь акромья уж всего, вы знаете, наверное, что недавно наконец-то официально введено в американский английский прилагательное «russian», означающее что-то типа русского «смурной»: «I'm so fucken russian today!» Вот вам и русско-американские горки! Впрочем, слушаю сейчас «Тату» и надеюсь на лучшее.

Что же касается правдивости или вымысленности описанных событий – то, по-моему, они говорят сами за себя. А вот *что* говорят и *как*, я об этом и думал, и думаю. Впрочем, во избежание двусмысленности автор, начав своё произведение с эпохальной даты 12 декабря 1993 г. и мону-ментального предложения (достойно наследующего «Мяве с Мурзиком...», конечно же!) «Россия выбирала», предпослал ему предупреждение: «ВСЕ ОПИСАННЫЕ СОБЫТИЯ ВЫМЫШЛЕНЫ И НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ СЕЛА НЕ ИМЕЮТ. АВТОР ПРОСИТ ИЗВИНЕНИЯ (даже так?!) ЗА СОВПАДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОВ».**

* Вообще тема довольно разработана в постполитский-постнадпропастический период: здесь и «Hard Candy» (про деводжгу) и «Sweet 16» (про мальчика), и проникновенная история о том, как одна юница по-настоящему любила свою подружку и покончила из-за неё с собой, и ещё «Party Monster» («Клубная мания») – фильм о детках-баловнях, любящих клубится и всего чуждых, и «Город Бога» про детей-гангстеров.

** И ещё один пункт. То, что один из главных героев Бадор (С-ор) по национальности не является русским, и в разговорах персонажей сей факт как-то муссируется, не имеет никакого символического или политического смысла. Национальность прямо не указывается, инвективы обусловлены обычным бытовым национализмом, достаточно незлобивым и безопасным.

Моя деревня вообще мифическая, и никто из моих друзей никогда здесь не бывал. Прочие многие даже и не верят в само её существование.* Но однажды одной моей подруге довольно сильно суровых моих дней и ночей периода «Дью с Берковой» посчастливилось. И увидела она наяву, как бедный О. Шепелёв, абсолютно трезвый и бледный, указал куда-то, где кончалась расчищенная грейдером дорога, и виднелись во тьме одни сплошные необъятные снежные заносы, сугробы да заросли. Взобрался на почти в рост человека бугор от расчистки, встал там на колени, провалившись в снег, и долго стоял так неподвижно, только что-то подвывая и всхлипывая, несмотря на мороз и на увещевания уж затеребившей свой суперраскладной телефон розовошёркой подружки. Он ей заранее говорил: ты не поймёшь, лучше не надо; и не обижался после на неё за это. Вот и вы не поймёте (разве что самые некоторые), чего в принципе и не надо, хорошо, если прочитаете юную повесть сию – поразвлечётесь, узнаете много нового...

Я бы, конечно, как тот же Набоков хотел написать: воссоздать весь этот мир по крупницам, но я не Набоков** и повести мои будут скорбные и длинные (Асару Эппелю ещё лёгкая слава!). Я уж и начинал, да бросал... Можть потом продолжу... А пока – первый и массированный удар прото-«Общества Зрелища», анархии и не-согласия, жизни как искусства, «явления явлений» «себе и сильно» и проч. – из первых рук – пли! И никаких позёрства и мистификации!

...«Место силы», «намоленное место» – есть такие понятия. Бабушкин дом действовал и действует на меня на расстоянии, когда я к нему приближаюсь, – как дольмен (и даже кажется, что и не только на расстоянии самом близком, зоны видимости, но и вообще *любом*). Каждый раз, десятки тысяч раз, подходя к нему, к бабушке, или уходя от неё, от них, считал взглядом туда-обратно боковые окна школы, довольно зловеще стоящей по пути, а тут уже, здесь вблизи, – докасывался, считая их с особым нумерологическим порядком – 12, 7, 4, 3, 2, 2, – до колышек калитки оградки – своего рода самоизобретённая защитная магия. Заклинал судьбу и местность, чтоб были мы с бабаней вдвоём («а потом чтоб и не с ней»), – и помогало. Хотя конечно, всё это бабушка надвое сказала и вилами по воде (обратите внимание *на сами* эти выражения). Укореняешься в жизнь и в судьбу самоуверенно-самонадеянно – будто в первый раз входишь в штормящее море... А оно возьмёт и нахлынет всей мощью мутно-изумрудной пахучей стихии – *просто* берёт тебя, сбивает с ног, бросает, ударяет об острые камни, накрывает мутной холодной водой и ещё протаскивает, да и таскает-терзает себе по камням рёбрами и бёдрами, поигрывая, подсмеиваясь... – лучше уж выйти, да и вообще не входить! Другое дело – вёдры...

...Всё не давалась мне даже первая фишка из Кастанеды – найти во сне свои руки (т.е., если не ошибаюсь, через это осознать, что ты спишь, т.е. находишься в параллельной реальности, весьма похожей на нашу, и начать действовать там по своему усмотрению), но однажды я случайно заснул прям часа в четыре дня, и получилось. Я пришёл (во сне) к бабушке, стал стучать в дверь, потом

Кроме того, сообщается, что иноземец давно обрусел. Редакторы советуют автору вообще убрать эту характеристику персонажа, но она дорога ему как память: во-первых, так было в оригинале 1993–94 гг., а во-вторых, у героя есть прототип.

* На самом деле, современная деревня, сельская местность, какой я её застал (1990–2000-х гг.) является, в моём представлении, некоей «аномальной зоной». Не везде, конечно, дело обстоит именно так, но в основном необычайно обширная территория русской позднесоветской и постсоветской глубинки ввергнута в разруху и вырождение, причём довольно своеобразные и парадоксальные. Основная суть их – в урбанизме, который давно причудливо вьёлся как в уклад жизни, так и в склад личности селян. Объяснить в двух словах человеку не сведущему, то есть, хоть и допустим, не раз бывавшему в деревне, **но там не жившему**, практически невозможно. Здесь, может быть, уместна лишь метафора другой планеты с иной атмосферой, гравитацией и прочими законами (или довольно часто применяемая западными исследователями русской литературы аналогия с полевыми исследованиями в диких племенах), или новейшая шуточка **со смыслом** «А есть ли жизнь за МКАДом?». Надеюсь в будущих своих творениях прояснить этот вопрос не только гиперболо-иносказательно, как в настоящей повести, но и более привычно и адекватно, повествовательно-описательно.

**Набоков яркий пример того мироощущения, которое в начале недавно читанной мною великолепной биографии Проханова передаётся цитатой из романа «Дворец»: «Какое количество людей было вокруг меня – кормило, воспитывало, лелеяло! Целая рать прекрасных мужчин и женщин (причём, в контексте мысли Данилкина и мироощущения его героя, и живых, и мёртвых, т.е. славных предков. – А.Ш.) выстроилась, чтобы уберечь меня в этой жизни. У меня всегда было ощущение, что я был как бы птенец в окружении множества птиц...» У меня же наоборот имманентно чувствуется некая «безродность», возникновение самого себя не из рода, не из (или от) мира сего; хотя человеческое всё же проявляется и даже берёт верх, чему свидетельство это предисловие.

в окно, но она не открывала, и у меня так и защемило сердце (что уж не раз было): «А вдруг она умерла?!» Вскоре я полез в форточку (а она высоко и маленькая). Просунул в неё голову (памятуя о каком-то правиле, что, мол, ежели голова куда проходит, то остальное уж тоже пролезет), и осознал, что плечи уж точно в такой квадратик никак не пройдут... прислушался: ни дыхания, ни сопения не слышно... да и голову назад никак не высунуть... И тут я вдруг внезапно понял, что сплю. Мне стало так страшно (метафизически, онтологически), как никогда в жизни, как только при ясной мысли о смерти, или когда на 1-м курсе проснулся оттого, что перепивший сынок квартирохозяйки, уголовничек и алкаш, Ауар Колчижинал Френд поднёс мне к глотке нож, или как когда понял внутреннее устройство экзистенциальной Матрицы бытия в кэннэбис-бэдтрипе, описанном в «Дью с Берковой». Я выставил руки на подоконник (вот они!), легко от них отпружинил, и прям с ногами стремительно впрыгнул чрез форточку в дом!.. и проснулся.*

март – август 1994,

июль 2007 – октябрь 2008.

*При переработке повести я окончательно убедился, что одним из важнейших этапов писательской работы является творческий кризис. Он следует за первоначальным импульсом вдохновения и его плодами. Рационализация, структурализация – это редко даётся легко, особенно когда какие-то звенья цепи (сюжета) отсутствуют. Так, я обнаружил, что целых три самых ключевых сцены в рукописи отсутствуют! Первая выпала вместе с листами тетради, на вторую стоят ссылки, что она в другой тетради, которая утеряна, а о третьей вообще нельзя с уверенностью сказать, что она была написана! Тут-то я и приуныл. Но маховик творчества, разогнавшись, завихряет всё вокруг, подключает резервы бессознательного. Каково же было моё удивление, когда все эти сцены, о которых оставались только смутные представления и непередаваемые ощущения, приснились мне во сне – во всей своей неоднозначной красе и несурзных деталях.

Дмитрий ЛАЗУТКИН

я не один – нас таких тысячи
– тех кто хлопнул полмира но не нашел слова
для одной – самой важной записочки
главное – вовремя – это как дважды два...

но почему-то нам не сказали этого
не написали экстренно смс
и мы всё ищем темное ради светлого
нежных девчонок на кладбище мертвых невест

крошечка – я твои сны прочитал и забыл уже
крошечка – краны устали, увяли цветы
месяц над горизонтом внимательно выглажен –
видимо это воздушные наши мосты

видимо или невидимо – предположения
все остальное – крылья – свободный полет –
до упоенного солнцем – головокружения –
два разворота на месте и – полный вперед!

медленно плывут –
луна и лунь...
девушка в подкожных кружевах
одевает камушков лазурь

и трещит по швам
цыганский флаг

я тебя случайно раздобыл
и себя раздал по мелочам

черная вода –
должно быть ил...

раздели русалку пополам

Дмитрий Лазуткин родился в 1978 году. Окончил Национальный технический университет Украины. Живет в Киеве. Автор нескольких книг стихов на русском и украинском языках. Публиковался в журналах «Континент», «Воздух», «©ююз писателей», «Дети РА», альманахе «Вавилон», в антологии «Освобожденный Улисс», в интернет-журнале TextOnly и др. Лауреат литературных премий «Смолоскип», «Гранослов», «Культреванш» и др. Шорт-лист «Русской премии» (2006).

ей неловко да и нам смешно
пуговицы с неба – на воде

как-то вышло
кое-
как прошло
но осталось что-то
кое-
где

я тебя никогда не услышу
никогда не войду в твой подъезд
на трибунах становится тише
возвращайся в свой сказочный лес

мои ливни шумели – довольно
и довольно кричали коты
ты же знаешь – мне тоже не больно...
ничего-то не ведаешь ты

на посадку – кресты самолетов
уж недолго огням дребезжать
я забыл рассказать тебе что-то
я забыл тебе все рассказать...

Этих снежинок наглый полет
Невластен над пустотой.
Такая погода – сплошной лед –
Привычна для нас с тобой.

Все потому что кругом – твердь
Неважно – вверх или вниз.
И если разбудит товарищ смерть
Утешит – товарищ жизнь.

А ты созерцай – да только не ври.
И бей зеркала – в глаз.
Птицы твои – сплошь снегири,
Все – здесь и сейчас.

А значит – впивайся, вонзай, жги
Режь подкладку и пусть
Твои друзья и твои враги
Сами чувствуют пульс

Ведь вряд ли столь важно – да или нет
В сто раз важнее – куда
Тебя ведет безудержный свет
Меня уносит вода.

чем заняться птенцу госохраны когда уходит детство?
точнее
когда безнадежно ушло

куда податься военному летчику?
где бросить якорь космонавту?
моряку
куда лететь?

в ожидании боевых действий
боевых бедствий
и огромной любви
рассекаются камни
растекаются средства
се ля ви

и тогда одинокий ковбой
начинает бороться с собой
он стреляет в упор на убой
он прекрасен он супергерой

звезды в его горле – колючи
и душа его распахнута настежь:

вот и всё
хорошо
до свидания ложь и коварство
по искусанным венам бодяжная брага течет
и уже не помогут – ни церковь ни государство
ни корона ни войско
а все остальное не в счет

и как солнце в воде
равнодушно
к наживке рыбацкой
обрывается голос а музыка дальше звучит
...ни вражды ни тепла...

большерогие лоси удачи
сквозь листву
с чистым сердцем
упрямо
идут на лучи

то ли кровь течет по этим проводам
то ли мошки заболтались в лебеде...
ты читаешь мои мысли по слогам
я стараюсь чтоб они – не о тебе

снова окна расправляются во двор
и от этого слышнее голоса
но мне нравится еще когда – в упор –
лупит залпами внезапная гроза

только чьи-то возгласы от плит
отражаются и вновь не тяжело...
как им так случается любить?
как им так быть вместе повезло?

нежного заката полоса
месяц мой – точнее – месяц май
тихо
закрываются глаза
люди-люди
люли-люли бай

Геннадий КАНЕВСКИЙ

[харьков]

илье риссенбергу

и ошую лежат, и одесную
и нож, и вилка, и, прижав к груди
салфетку, мы ослабили десну, и
нарезали на порции весну, и
уверены, что лето впереди.

мне чудится, мы в харькове чудим
и пробуем дорогу подвесную.

я говорю, что говорят в аптеке,
и мне дают, что там дают всегда.
мелькают дни. летают города.
слепое солнце смотрит через веки,

не плава внутреннего льда.

[пар]

славно поют мертвецы стимпанка,
выпуская в медные трубки нагретый воздух,
укрепив оболочку на круглой раме,
поскрипывая шестернями и штуцерами,
поигрывая клапанами,
неся на носу фигуру в стальной панаме.

нас, местных жителей, эти звуки заворожили,
вот и стоим мы за гаражами,
железной стеной отгороженные от жизни.
нас позвали, а мы и не возражали.

славно встают мертвецы стимпанка
медной округлой суммой, початком голым,
в усиках-паутинках нитей и лестниц,

Геннадий Каневский родился в 1965 году. Закончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Работает редактором корпоративного журнала по электронике. Публиковался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Воздух», «Волга», «Новый берег», на сайте «Новая Камера хранения» и др. Автор книг «Провинциальная латынь» (2001), «Мир по Брайлю» (2004), «Как если бы» (2006), «Небо для летчиков» (2008).

в громе стрекоз, большеглазых железных вестниц,
из-под земли, пропитанной солидолом.

местные жители замерли в напряженьи,
с медными лбами,
с открытыми ртами.

чудо! – как они воздух секут винтами.

чудо! – как стреляют на поражение.

[вертоград]

сон напоминает его игра –
вентиляторные дуют ветры.
что ты заладил: жара, жара –
это, говорю, вертоград пресветлый,
зной, перетекающий из вчера
в медленное завтра, как полк ракетный
возит на параде, под шум офсетный,
толстого железного бога ра.

это дирижабль пролетел над мостом,
на борту имея клинописный лозунг.
это всё имперское входит в дом,
длится, не кончается – потом, потом –
жжёная резина, стоячий воздух.
в глиняных костюмах, в песке речном –
та же благодать, что в виноградных лозах.

умираешь? – впрочем, ты всегда мельчил,
сочинял ненужное, кривлялся сзади.
сложными движениями достают мечи –
лучший балетмейстер год их учил.
дай на церемонию взглянуть. не кричи.
не спугни забвение, бога ради.

[below]

проснёшься – на листке туман
и на виске туман,
привстанешь на мыски – туман.
не по-людски – туман.
проснёшься – тихо, как в раю.
но громко, как в аду,
тупое сердце-какаду
стучит «не узнаю».

к обеду время разойтись,
туману – разойтись,
напра-налево разойтись,
навек разойтись,
но нет того, кто мог сказать
иные времена,
и фразу «влажная страна»
по капельке связать.

тогда мы проросли бы вниз,
как нефть – стволами вниз,
все улицы вели бы вниз,
огни горели вниз.
овраги, полные воды.
плывут плоты домой.
шумят под каменной москвой
подземные сады.

[камера]

выпивает, не утирая рот,
но ему положено быть счастливым:
вот сейчас он медленно запоёт
про грозу, прошедшую над заливом,
про слепящий никелем бензобак,
про литое солнце из пушки в полдень,
как умеют юрьев и, может, порвин –
тарантеллу пальцами на губах.

и тогда закружится возле ног
рыжеватым псом, золотистым смерчем
лютеранский враг, левантийский бог.
этот ветер с моря не даст прилечь им,
понесёт в притон, а потом – в шалман,
за ещё одной, а тогда уж – баста.
за монетой медною нагибаться.
от сухого корня сходить с ума.

так в дыму от выстрела аронзон
не упал, а будто идёт по свету,
над заливом ходит, гремит грозой,
подбирает-ловит свою монету.
на пределе счастья блестит слюда,
шелестит вода, голубеет глина.
жизнь уже наполненная корзина.
смерть ещё нелепа и молода.

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

Михаил Михайлович, Софья Борисовна и Катя

Михаил Михайлович в изящной федоре с опоясывающей тулью черной креповой лентой вошел в автобус и сел рядом с пышной брюнеткой лет 35. Та читала газету, время от времени потирая кончики очень изящных пальцев, словно сбрасывая липнувшую к ним типографскую краску. По привычке он посмотрел на раскрытую страницу, обнаружив на ней свою статью – он был ресторанным критиком в местной русской газете – потом на женщину, проверяя ее реакцию на текст. Та читала и улыбалась. Ощувив на себе его взгляд, она повернула к нему лицо, улыбнулась еще шире и негромко засмеялась, словно чтение мешало ей сделать это раньше. У нее были белоснежные зубы и очень веселые карие глаза. Глядя на нее, Михаил Михайлович ощутил сильное волнение, и она это заметила.

– Почему вы смотрите на меня так пристально? – спросила она для порядка.

– Вижу, вам понравилась статья.

– Вы ее тоже читали?

– Я ее писал.

Она вернулась к газете, повела по странице пальцем, потом спросила с вызовом:

– А как ваша фамилия?

Он назвал. Действительно, это был он – написавший так вкусно и смешно, и вот теперь он сидел перед ней и волновался, как мальчик. Загорелый, в очень свежей белой рубашке и смешной шляпе. Кончики его седеющих усов были закручены вверх, и ей тут же захотелось прижаться к ним губами. Сердце ее дало тревожный сбой, в природе которого сомневаться не приходилось. Она себя знала.

– Так это вы постоянно пишете про рестораны?

– Я.

– А как вы знаете, куда идти и что заказывать?

– А я не знаю... – он пожал плечами. – Я пробую то, что мне предлагают.

– Кто?

– Жизнь, – улыбнулся он.

– Мне надо выходить, – она поднялась и смотрела на него с ожиданием.

– И мне, – сказал Михаил Михайлович.

Автобус остановился и, открывая двери, тяжело вздохнул, словно зная, чем кончится их знакомство.

Они были в том возрасте, когда в постели мало что может удивить, но в них вдруг проснулся совершенно подростковый интерес к этому, надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю, делу. Их руки, губы, языки все никак не могли вернуться из совершенно бесконечного поиска одних и тех же впечатлений, от проникновения в горячую и сочную плоть друг друга.

Вадим Ярмолинец родился в 1958 году в Одессе. Окончил факультет романо-германской филологии Одесского университета, работал в газетах «Моряк» и «Комсомольская искра». В 1989 году эмигрировал в США, работал в газете «Новое русское слово». Публикации прозы: «Октябрь», «Парус», «Столица», «Время и мы», «22», «Слово/Word», «Крещатик» и др. Автор трех книг прозы и очерков. Постоянный автор журнала «Волга».

У каждого романа есть своя музыка. Они часто слушали Нору Джонс, особенно выделяя песню *I've got to see you again* («Я должна увидеть тебя снова») – о страсти молодой женщины к пожилому любовнику. Михаилу Михайловичу больше всего нравилась строка *Lines on your face don't bother me* («меня не беспокоят морщины на твоём лице»), а ей – *Down in my chair when you dance over me* («когда я в кресле, а ты танцуешь надо мной»). Они занимались любовью везде, где только можно и нельзя, в том числе и в кресле.

У их романа было и свое вино – полученный в благодарность от какого-то ресторатора ящик вионье со смешным названием *AfterBefore*. Они, действительно, употребляли его до и после своей близости, видя, как это часто случается с влюбленными, в названии вина еще один знак, подтверждение неслучайности их встречи.

Их счастье было, однако, неполным. Обессиленный от любовной гимнастики Михаил Михайлович ехал в Бруклин к супруге, а Катя оставалась дома в своем нью-джерсийском Хобокене, это тут у нас за Гудзоном, куда время от времени заходил другой ее приятель – Гена. У Гены была своя жена и восьмилетняя дочь Маша, которых он все не мог решиться оставить – наиболее часто встречающийся тип полужанятых мужчин на пути женщин, которым за 30. У Гены был собственный магазин мобильной связи на Вашингтон-стрит возле пересечения со Второй, между ресторанчиком «Четыре Л» и офисом «Барбера риалти» в том же Хобокене.

Чем Михаил Михайлович отличался от Гены, помимо возраста и веса – скоро вы увидите насколько это важные параметры, – так это способностью быстро принимать решения: ресторанный критик легко ориентировался в любом меню и всегда знал, что хочет. Один раз, уйдя от Кати, он с такой болезненной остротой ощутил ее отсутствие, что у него заболел живот. Он кое-как доехал домой и, игнорируя волнение жены – «что с тобой?» и «на тебе лица нет, что случилось?» – не раздеваясь, лег. Жена, ее звали Софья Борисовна, между тем, не оставляла его, и когда вопрос «ты можешь мне, наконец, объяснить, что произошло» прозвучал в пятый, а может быть и в десятый раз, поднялся и уехал обратно в Хобокен. Не забыв надеть свою федору! Была у него такая черта – обостренное внимание к деталям даже в самые напряженные моменты жизни. Через 40 минут он был на месте. Выйдя из своего серебристого «бимера», он увидел, что свет у Кати еще горит, и даже представил, как любимая, стоя у кухонного шкафа, выбирает заварку, размышляя: мангово-имбирную или польский травяной сбор с шиповником? Бросив щепоть сухих лепестков в белый фарфоровый чайник, она заливает в него горячую воду, и та тут же становится ярко-бордовой. Звонок отделяет фантазию от реальности. Дверь открывается.

– Что случилось, Миша!

Обратите внимание – то же самое «что случилось», – но реакция просто противоположная:

– Я люблю тебя, вот что случилось. Мне так плохо без тебя, даже живот разболелся.

– Ты хочешь в туалет?

– Ты с ума сошла, какой туалет?!

Она отступает, пропуская его в гостиную, где сидит плотный мужчина в желтой полурукавке, синих шортах и кроссовках на толстой подошве. Он значительно крупнее Михаила Михайловича. У него большие плечи, руки, ноги и голова с ухоженной бородкой.

Михаил Михайлович вопросительно поворачивается к любимой, все еще поглаживая рукой большое место. Лицо Кати в красных пятнах.

– Это – Геннадий, познакомься.

Он протягивает ему руку, встряхивает.

– Геннадий.

– Михаил.

– Мы можем на минуту выйти в кухню? – спрашивает Михаил Михайлович хозяйку.

Она следует за ним. В кухне он берет ее за руку, чтобы привлечь к себе, наталкиваясь на неожиданное сопротивление. Легкое, но сопротивление.

– Я совершенно не могу без тебя, Катя. Совершенно. Видишь, вот – вернулся. Кто этот – в комнате?

Этот из комнаты уже стоит в дверном проеме. Сунув руки в карманы, склонив голову набок, рассматривает их с вызывающим интересом.

– Это у вас, что – так вот серьезно?

– Очень серьезно, – отвечает Михаил Михайлович.

– Как всегда, я узнаю обо всем последним, – открывает Гена домашний разговорник. – Я не понимаю, мне что – выкинуть этого клоуна отсюда, чтобы получить, наконец, какие-то объяснения?

И, правда, в наши дни не все относится к шляпе как к предмету гардероба серьезного мужчины.

Очень далекое, слабое, несформулированное за ненадобностью подозрение о еще одной связи его подруги вмиг вырастает до пугающей высоты волны и накрывает Михаила Михайловича с головой. Он – клоун?!

– Даятебещасблядьпокажуктоздеськлоун!!!! – кричит он, хватая со стола широкий мясной нож.

Вот он – захватывающий миг счастья! Цунами неподдельной страсти! Мужчина, способный ради тебя на все, но, Бог мой, почему же в такой дикой форме, почему так не вовремя?

Да, Михаил Михайлович, конечно, легковат – Гена легко отбрасывает его первый удар сбоку и тут же хватается за горло. Абажур летающей тарелкой пересекает потолок. Что-то валится и звенит. Своей левой Гена прижимает его правую – с ножом – к полу. Да, они уже на полу, среди осколков чего-то, но нож прижать тяжело и поэтому он снова в воздухе. Михаил Михайлович бьет соперника по большой голове, как бьют саблей, точно рассекая лоб надвое. Гена рычит и размазывает по лицу жирную кровь. Катя кричит незнакомым голосом. Михаил Михайлович, задыхаясь, выбирается из-под ослепшего великана. Теперь уже он хватается за шею и швыряет на пол, но вопль «Миша, не надо!» предотвращает расправу. Кухонная сталь втыкается острием в пол и пружинисто раскачивается, словно приглашает к продолжению потехи.

– Всё, всё, всё, ты должен уйти, сейчас ты должен уйти, – повторяет хозяйка, как заведенная. Схватив на всякий случай страшное оружие и, бросив его в холодильник, заслоняет дверцу спиной. – Ты должен уйти, Миша. Гена, я сейчас помогу тебе. Не трогай ничего руками, я все сделаю сама.

Забыл сообщить, Катя – медсестра. Она работает в местной больнице ветеранов вооруженных, в том числе и ножами, сил. Это очень кстати.

Дверь хлопает за Михаилом Михайловичем, и он не видит, как его любимые пальцы утирают вражеский лоб тампоном с перекисью водорода, стягивают края раны пластырем.

– Я сейчас отвезу тебя в скорую. Тебе надо наложить швы.

Подхватив с кресла сумку, она проверяет на месте ли ключи и телефон.

– Только об одном прошу тебя, – говорит Катя, пристегивая ремень безопасности и заводя мотор, – не говори, что это он. Придумай что угодно. Я одна во всем виновата, я одна. Я не сказала ничего тебе, я не сказала ничего ему. Это – моя вина, но я устала ждать. Я хочу семью, а не трахание в удобное для вас всех время. Точно как твоя Вика, между прочим.

Его Вика! Как забыть ее голос в телефонной трубке, когда она простонала ей: «Из-за вас, Катя, я не могу завести второго ребенка, вы понимаете это?» Она просто видела, как слюна тянулась у той от губы к губе и липла к зубам, когда она произносила: «В-вы п-поним-маете...» В таком отчаянии и на «Вы»! А этот второй ребенок ее просто доконал. Она не мужа крала у той, а куда большее. Впрочем, что значит крала? Это он ей покоя не давал, а не она ему. Вернется домой с работы – он сидит на скамеечке у входа, курит.

– Привет, как дела?

А в темной прихожей обнимет, привлечет к себе, большой, горячий, сильный. Сумка выскользнет из рук и все, на что хватит сил, так это попросить зайти на минуту в ванную.

Теперь сидит молчит. Естественно, все понимает. В отделении скорой говорит, что бросал нож в мишень на двери, а нож попал в металлическую раму и неудачно отскочил. Хорошо еще, что в лоб попал, могло быть и хуже.

– Вы хотите вызвать полицию? – спрашивает женщина в коричневой, как школьная форма, чадре за стойкой регистратуры. Глаза поблескивают в узком зазоре между обтягивающей голову тканью и ажурной занавеской. Не понять, что думает обладательница этих глаз. Подозревает

ли, что ее обманывают, или совершенно безучастна к посетителям-иноверцам? От ее отношения многое зависит – наберет ли сама номер полиции, когда они займут место среди ожидающих помощи, или тут же забудет о них.

– Не нужно, – отвечает раненый.

Они ждут вызова к врачу. Вокруг дремлют, стонут, молчаливо терпят боль, говорят по телефонам, смотрят беззвучный телевизор поздние посетители. «Райбек!» Это – он. Вообще он Рыбак, но уже привык откликаться на Райбек. Американцам так удобней. Он идет к санитару со списком пациентов в руке, тот проводит его желтым корридорм в смотровую, велит лечь на накрытый бу-мажной лентой стол. Он с хрустом ложится. Лицо в белой маске заслоняет созвездие ламп. Мелькает шприц, он ощущает укус иглы.

– Вам повезло, что рядом оказалась ваша знакомая. Она отлично обработала рану, но небольшой шрам останется. Как это вам так повезло?

Клац! Сверкает хирургический скоросшиватель. Клац!

Он снова рассказывает про метание ножа, осознавая, что жене эту историю он не продаст. Какого ножа? Где?

Поставив «бимер» на стоянку, Михаил Михайлович идет домой. Он не сомневается, что у парадного его поджидает мигающая огнями патрульная машина. Но машины нет. Софья Борисовна, словно приросшая к дивану, говорит дрожащим голосом:

– Ты можешь мне, наконец, объяснить, что происходит?

Как объяснить? С чего начать? С того, что он уже несколько месяцев непрерывно думает о другой? И с небольшими перерывами забирается в ее постель?

– Нам надо расстаться, – говорит он устало.

– Как? – вопрос на выдохе похож на прощание с жизнью: – ...ах...

– Раньше не мог решиться сказать, а теперь уже придется... – он усмехается.

– Почему, Миша?

Медленно и мучительно он восстанавливает картину измены и обретение своего краткосрочного счастья. Поразительно, все-таки, как тесно эти два процесса связаны. Не полюбишь – не изменишь, это он уже понял, а вот вторую часть уравнения – не вернешься – не спасешься – еще не выучил, потому что не пережил. И он думает, что все пропало, жизнь, как говорится, под откос.

Михаил Михайлович сидит возле своей законной супруги Софьи Борисовны и рассказывает ей понемногу о встрече в автобусе. Как пригласил новую знакомую на ужин в тот самый ресторан, о котором она прочла в газете, как она сказала, что пишет он лучше, чем там готовят, а он ответил, что с ней трудно не согласиться. «А ты ее сюда приводил?» – спрашивает Софья Борисовна о главном, а он отвечает, что нет, и переходит к их первой близости в запаркованной на стоянке у моря автомашине, когда ее запах вошел в него и пропитал насквозь, просто отравил, можно сказать. И как после этой встречи он стал бывать у нее в Хобокене, и она овладела им как болезнь, когда не знаешь, где явь, а где бред и что лучше. А теперь ему, наверное, придется сесть в тюрьму, потому что он раскрыл ее другому хахалю череп надвое, вся кухня была в крови. Так что теперь жди звонка в дверь и вывода из дому, руки за спиной, на глазах у всех соседей. Полицейский придержит его голову, когда он будет садиться в патрульную машину, дверца хлопнет, шоу кончится, прилипшие к окнам лица исчезнут в квартирном мраке.

Они лежат на широкой супружеской постели совершенно опустошенные, словно на крутом повороте жизнь выплеснулась из них. Они лежат, ждут звонка и незаметно засыпают. А во сне жизнь возвращается и начинает потихоньку сращивать разорванное, склеивать разбитое. Утром они принимают по очереди душ и завтракают в совершеннейшей тишине с надеждой на то, что допьют кофе до того, как их разлучат, но ничего не происходит. За окном плывет волнообразно колокольный звон из храма Пречистого сердца на Хэмилтон-авеню. Девять часов. Она высказывает предположение, что срок не может быть большим, ведь он не убил того. Если бы убил, его бы уже давно забрали. А она будет приходить к нему в тюрьму на свидания, говорить через

стеклянную перегородку, приносить книги, какие он захочет, а может быть он и сам напишет что-то. Он же всегда мечтал написать хороший детектив и говорил, что знает миллион совершенно потрясающих сюжетов о наших в Америке. Работа ресторанный критика, среди прочего, включает и слушание застольных историй, а вино развязывает языки лучше всякого следователя. Что ж, вот тебе и оказия! Не вполне ординарная, но, что поделаешь, в жизни случается всякое, и такое вот тоже – люди сидят в тюрьме, в том числе хорошие, просто не в меру нервные. Но, может быть, судья учтет, что все это было сделано в состоянии сильного аффекта, в приступе ревности. И жена подтвердит, что он у нее человек в принципе добрый, но вспыльчивый. «Таким уж меня наградила судьба мужем, Ваша честь, – вздохнет она. – Слегка припадочным, что ли».

Ах, Боже мой, Боже мой, ну чего ему не хватало дома? Они переходят из кухни в гостиную и устраиваются на диване. Она звонит на работу и сообщает начальнице, что сегодня не придет, почему – объяснит потом и, положив телефон на стол, закуривает первую за день сигарету. Он не просит ее пересест к открытому окну, потому что не выносит табачного дыма, а наслаждается тишиной и покоем дома, и тот начинает проступать из забвения, в которое он сам его отправил, во всем совершенстве своего стильного уюта – ковров, дорогой мебели, стеллажей с книгами, картин в меру именитых художников, цветов. Надо только не смотреть на хозяйку, достаточно ощущать надежное тепло ее руки на своей руке и... думать, что это не она.

Звонок телефона подбрасывает их.

– Твой?

– Нет, твой.

– Але?!

– Это – я.

– Да?

– Он решил не вызывать полицию, так что можешь спать спокойно.

– Хорошо.

– И еще...

– Да?

– Пока не приходи. Я должна все это обдумать. Я сама позвоню. Хорошо?

Он отключает телефон и кладет его в карман.

– Что она сказала?

– Что этот... Гена... решил не вызывать полицию и не возбуждать дела.

Откинувшись на спинку дивана, Софья Борисовна закидывает голову, по щекам текут слезы. Одна, скатившись, падает на выступающую из-под бледной кожи ключицу. Михаил Михайлович отводит глаза. Главное не смотреть, научиться вовремя менять угол зрения, довести это до автоматизма, реагировать только на голос, который остался таким же, каким был, сколько же это уже... двадцать лет назад? Нет, бери все двадцать пять, Бог мой, как жизнь-то быстро уходит.

– Я хотела бы сделать ремонт в кухне, – говорит неожиданно Софья Борисовна и утирает кончиком мизинца уголки глаз.

Это занятие, думает она, отвлечет его от потери. Да, она признает, что это – потеря. Сердцу, как говорится, не прикажешь. Своему-то вот она не приказывает. Другая бы сказала изменнику: «Пошел вон, подлец, видеть тебя больше не хочу!», а она хочет. Хочет, чтобы он подавал ей омлет с сыром и ветчиной на завтрак, потом кофе, как он умеет готовить в турочке, хочет с ним лежать в одной постели, потому что никого даже представить себе не может на его месте, рядом с собой. От этих мыслей ее собственное сердце готово разорваться от боли, но не разрывается, получая от мучения свое горькое удовольствие. А что, может быть, такая боль нужна любви? Для ее оживления. Как, знаете, бывает, колот иголками немеющую конечность или пропускают через нее электрический ток, а?

– Надо бы подшпаклевать потолок над холодильником, – продолжает она. – Там, где протекло осенью. Стены бы тоже неплохо освежить. Взять очень светлую охру, как ты думаешь?

– Давай, – соглашается он.

Они едут в магазин стройтоваров. Покупают галлон краски, фунт алебастра, пачку шпаклевки

и небольшой стол с удобным нижним ящиком для овощей. Она переместит на него миксер и эспрессо-машину. Когда они достают покупки из багажника, картонная коробка со столом раскрывается и содержимое высыпается на асфальт.

– Ножка поцарапалась, – отмечает она.

– Хочешь, поеду поменять?

Раньше бы только подняла брови удивленно – что за вопрос? – теперь избегает оказывать малейшее давление.

– Можно. Если настроение будет.

Он складывает рассыпавшиеся детали на заднее сиденье – на случай появления настроения.

Проходит неделя в ремонте. Он чинит потолок сам, он это умеет. Красит. Цвет для стен она, как всегда, подобрала изумительно, он так хорошо сочетается с зеленым абажуром над столом! Они обмениваются короткими репликами, привыкая снова говорить друг с другом, но яд, казалось бы, вырванного чувства, снова пропитывает его, и он украдкой нюхает собственные руки. Ему кажется, что Катин запах пробивается даже сквозь запах краски. От воспоминания о ней в животе возникает и сгущается знакомая боль. И она, там, у себя за Гудзоном, почувствовав его состояние, звонит ему и едва слышно выдыхает в трубку: «Приезжай». Все бросив, он несется на Запад, стараясь поскорей забыть растерянное лицо Софи Борисовны. Конечно же, она прекрасно понимает, что брошенная ей на лету фраза о срочном заказе – ложь. И он это понимает. Пусть! По пустоте трасс, по внезапному хлопку петарды и рассыпавшимися над кронами деревьев розовыми и бирюзовыми осколками он понимает, что сегодня – Четвертое июля. День Независимости. День Свободы! И это открытие вызывает пьянящее чувство, которое он подогревает страшным заклятием: будь, что будет! В памяти всплывает отключивший от родного языка голос его землячки Дины Верни: «Свабода, бля, свабода, бля, свабода!», и он смеется.

О, это первое после разлуки объятие, это ощущение полного слияния двух тел, словно вырезанных друг под друга, как символ слившихся инь и ян. Прочь с дороги мебель, в стороны одежда, дайте салют! Салют!!! Оглушенные, они лежат в воронке простыней. Теперь бы ему взять да и остаться в этом чудесном коконе, порвать связь с прошлым последним решительным движением. Даже не движением, а наоборот – неподвижностью! Нешевелением плеча под весом устроившейся на нем головы, нешевелением ноги, придавленной к постели ее – такой горячей. Ну, что ты там забыл, дуралей? Что оставил в своем несчастном Бруклине? Пару любимых итальянских мокасин? Лэптоп? Документы? Все документы у тебя в бумажнике! Верно, документы – в бумажнике, а лэптоп с любимыми мокасинами – не много стоят, но как одолеть многолетний рефлекс тяги в свой дом после наступления оргазма в чужом? Михаил Михайлович – человек ироничный и потому ответ на этот вопрос у него есть. Он лежит в ящичке памяти с табличкой «Анекдоты» и звучит так: «Апатия – это отношение к половому акту после полового акта». В каждой шутке есть доля шутки, пытается оправдаться он перед собой и, вздохнув, выбирается из-под горячего тела. Нет, анекдотом мотивы его ухода, конечно же, не исчерпываются. Куда сильнее опасение за то, что ему не выдержать напряжения жизни со значительно более молодой любовницей, и ее разочарования им долго бы ждать не пришлось. Что потом? Примут ли его на пепелище, оставшемся от его нынешнего, такого уютного дома?

Катя тоже поднимается, идет на слабых ногах в ванную, включает воду. Кран сипит, потом перестает сипеть. Когда она возвращается, он уже одет. Она обнимает его. Его пальцы скользят по нежной коже.

– Что ты будешь делать?

– Посмотрю что-нибудь на платном канале.

– «Вики, Кристина, Барселона» уже идет, – вспоминает он.

– Да? Отлично!

Они видели этот фильм в кинотеатре и решили, что посмотрят еще раз, когда его покажут по телевизору.

Мягко лязгает замок, он выходит на автостоянку перед домом. Ах, какое небо раскинуло над миром свой бархатный полог! Сколько звезд высыпало, какие яркие, сочные! С чем их там

обычно сравнивают поэты, со слезами, с бриллиантами, с чем еще? Какая неопишуемая никакими словами красота и свежесть! Какое удивительное ощущение полноты жизни! Как прокатившая по коже вибрация смывает груз прожитых, как говорится, лет. Нет, жизнь, в свете нынешней средней ее продолжительности для некурящих мужчин, не окончена в 50 лет! Надо только перетасовать колоду и разложить новый пасьянс.

– Эй, приятель! – окликают его из темноты.

Михаил Михайлович поворачивается и видит сперва огонек сигареты, потом – смутное пятно лица с белой заплаткой на лбу. Темная фигура приближается, в руке что-то вспыхивает металлическим блеском, телефон, наверное.

– Только не здесь, – говорит Михаил Михайлович, отступая к «бимеру». – Чуть отъедем, хорошо? Подумаем о ней, ладно?

– Ну, давай отъедем, – неохотно соглашается Гена и выстреливает окурком в темноту.

Две машины бесшумно выезжают одна за другой со стоянки. Михаил Михайлович, поглядывая в зеркало заднего вида, следит за фарами соперника, который явно решил оставить последний удар в их поединке за собой. Есть такие люди, не прощают никаких долгов. Ты полоснул меня, теперь я полосну тебя. Чтобы помнил. Куда ехать? Фары в зеркальце настойчиво требуют остановки, но он не торопится. Подальше надо отъехать, подальше. Машина Гены, натужно взвывая мотором, обгоняет его и сигнализирует о том, что пора съезжать с трассы. Рано! Оранжевые стрелки приборов бросаются вправо и «бимер» легко уносится вперед. Не машина, а ракета! Они мчатся еще минут пять, а может быть десять, пока Геннадий, опасно приблизившись и грозя ударить боком, не сгоняет его в рукав выезда. Они вылетают на узкую двухрядку, минуют мертвую автозапарку, какие-то темные озера, черное здание школы, почты, гигантский плакат «Ремонт корпусов и смена шин», вдруг начавшийся и кончившийся лесок и выезжают, наконец, к огороженным сеткой теннисными кортам. Под колесами шуршит гравий. Передняя машина останавливается, стоп-сигналы, вспыхнув, гаснут. Перебросив руку через спинку сиденья, Михаил Михайлович берет с заднего ножку от кухонного стола. Как она здесь кстати! От возбуждения его бьет дрожь. Никаких разговоров, никаких выяснений отношений, им нечего выяснять. Кто бьет первым, тот выигрывает спор. Выбравшись наружу, он не ждет, когда соперник выйдет из своей машины, а, забежав за спиной, высоко вскинув деревянный брус, наносит удар по высунувшейся ноге, а потом, когда грузное тело с мычанием вываливается наружу, еще один – и тоже с большого размаху – по голове.

«Бэнг!» – звенит полированный кленовый ствол. Не выясняя, каково самочувствие в очередной раз раненого соперника, Михаил Михайлович идет к своей машине, бросает оружие на заднее сиденье, оборачивается – Гена, разбросав руки по земле, неподвижен. Он возвращается к нему. В широко раскрытых глазах врага сияют звезды. Присев на корточки, Михаил Михайлович прикладывает ладонь к его груди. Чье это сердце так тяжело и быстро бьет в ладонь? «Нет, это мое сердце», – думает он. Потом достает выглядывающий из кармана шортс телефон. Интересно, как часто они перезванивались? Позвонит ли она ему сегодня? Он кладет телефон к себе в карман. Враг по-прежнему неподвижен. Далеко за деревьями свистят и хлопают петарды. Он поднимается и, перевернув тело ногой, Бог мой, до чего же тяжелое, достает из заднего кармана бумажник.

На обратном пути, проезжая мимо озер, Михаил Михайлович замечает темный проезд между ними. Притормозив, съезжает назад, сворачивает на узкую асфальтовую полосу и оказывается на автостоянке со столами для пикников на краю. Заглушив мотор, включает телефон и проверяет историю звонков. Гена напоминает о себе почти каждый день, иногда по несколько раз. Катя тоже звонит ему, хоть и реже. Сука, одного любовника ей мало. Вдруг телефон оживает и чуть не выпрыгивает из руки! На загоревшемся бирюзовым светом экране возникает: «ДОМ». Михаил Михайлович быстро выходит из машины, подходит к берегу озера и, сильно размахнувшись, забрасывает телефон в темноту. Бирюзовый светлячок описывает пунктирную дугу с прощальным «бульк!» на конце. Теперь бумажник. В нем – удостоверение, кредитки, визитки и три купюры по двадцать баксов, которые он перекладывает к себе в карман, я говорю о купюрах. Подобрал с земли камешек потяжелей, затискивает его в отделение с прозрачным окошком и тоже забрасывает в

темноту. Звук «плюк!» подхватывают и многократно повторяют первые крупные капли дождя. Он быстро идет к машине, ощущая, как намокают голова и плечи. Теперь – домой!

– Опять был у нее?

– Нет, дали срочный заказ.

У ресторанного критика – вечерняя работа, пора привыкнуть. Он ставит коробку со столом к стене. Софья Борисовна уходит. Когда исчезает угол света под неплотно прикрытой дверью спальни, он раскрывает коробку. Рассматривает ножку, нет ли на ней крови. Есть и, надо же, густой красный мазок – именно там, где дерево поцарапалось, выпав тогда из коробки. Он включает воду и ждет, когда струя смоем красный след, потом, намылив губку, долго трет это место, смывает пену водой. Куда там! Кровь впиталась в древесину, попробуй вымой! Взяв в ванной фен, он сушит дерево. Теперь надо пройти по царапине мелкой шкуркой, у него есть, и покрыть бесцветным лаком, у него он тоже есть. Положив ножку на стол под лампу и, приблизившись к еще влажному лаковому пятну, он видит – под розоватой пленкой законсервирован след преступления.

– Что это было? – вопрос подбрасывает его.

– Ничего, запачкалось тут.

– Ты что, убил ее? – о-о, эта ее проницательность!

– Нет, она цела.

– Жалко. А это ты кого?

Он разворачивает план сборки стола. Руки дрожат.

– Кто это был?

Как всегда, ее неумолимая настойчивость делает свое дело. На этот раз он рассказывает все быстро, точными короткими фразами, как пишет статью, завершая:

– А что я должен был делать? Он в два раза больше меня. Бык.

– Тебя кто-то видел?

– Я не видел никого.

Михаил Михайлович открывает холодильник, берет початую бутылку вина и пьет прямо из горлышка. Софья Борисовна закуривает.

– А если убил?

– Я не искал с ним встречи, Соня.

Взяв телефон, она уходит с ним в гостиную. Он слышит ее ровный голос:

– Если вы его любите, Катя, вы должны мне обещать, что никогда и никому, ни при каких обстоятельствах, не скажете, что он был у вас дома этим вечером. От этого зависит его жизнь. И ваша, возможно, тоже.

Он снова опрокидывает бутылку и громко допивает ее. Конца разговора он не слышит. Вернувшаяся из комнаты жена, кладет телефон на кухонный стол перед ним.

– Почему ты не можешь порвать с ней? Просто не отвечай на ее звонки. Перестань ездить к ней. Неужели ты не понимаешь, что пройдет еще каких-то пять лет – и разница в возрасте даст себя знать? Сегодня твой полтинник кажется ей пикантной деталью ваших отношений, а потом ее это будет только раздражать, неужели это непонятно? Старых не любят, Миша. Это – общеизвестно. Поэтому у старых небольшой выбор – они должны любить друг друга.

Он снова говорит о болезни. Любовь это болезнь, «шуба-дуба», как пел один любимый ими когда-то артист, а она спрашивает с совершенно неподдельным отчаянием:

– Почему я – не твоя болезнь?

– Ты была моей болезнью, – думает он. – Просто я выздоровел. Это как грипп – переболел одним вирусом – у организма выработался иммунитет. А вирусов много и они постоянно мутируют, поэтому на следующий год грудь снова заложена и из носа течет.

Обессиленные, они сидят и молчат. Каждому жалко себя. Потом Софья Борисовна, вздохнув, встает и идет на кухню. Достав овощи, сыр, маслины готовит греческий салат. Есть совершенно не хочется, в горле – ком, но надо занять себя чем-то. Михаил Михайлович выходит за ней, открыва-

ет новую бутылку, достает бокалы. Как все хорошо, как все налажено, зачем ломать это? И разве вино в высоких, тонкостенных фужерах или салат в белоснежных тарелках хуже какого-то там супер-тетрациклина для борьбы с очередным вирусом? Как сказать... Некоторые вообще обходятся без антибиотиков. Круглый год принимают ледяной душ, бегают по пять миль перед работой и никакие простуды их не берут. А на другого чуть подуло из приоткрытого окна и – приехали.

Красавица из-за реки больше не звонит ему. И он не звонит ей. Несколько раз она звонила Гене, но тот не отвечал. Вместо него позвонила его жена.

– Вы в курсе, что случилось с Геней?

– Нет, что?

– На него кто-то напал. У него тяжелая черепно-мозговая травма. Он лежит в коме.

– Какой ужас, – картина начинает проясняться. – Когда, где?

– Четвертого июля. Вы виделись с ним в ту ночь?

– Нет! – ее охватывает возбуждение несправедливо обвиняемой, голос дрожит. – Я прошу вас понять: я многократно просила его не приходить ко мне, оставить меня в покое! Вы можете мне поверить, что у меня не было ни малейшего желания отбирать его у вас?

В ответ она слышит усталое:

– Слушайте, какая вам разница – верю я или нет? Пусть полиция выясняет, какое вы имеете ко всему этому отношение.

Катя кладет трубку и говорит себе: «В ту ночь его у меня не было. Что еще я могу сказать?»

Время сгущается в ожидании новых звонков или, скорей, повестки. Сердце замирает всякий раз, когда она открывает почтовый ящик, потом отпускает.

Вечера Михаил Михайлович и Софья Борисовна проводят у телевизора. На столике перед ними – вино, сыр и виноград. Кино – плохое средство борьбы со страхом неопределенности, но другого нет. «Нет, есть!» – вдруг вспоминает Софья Борисовна, и достает с антресолей старые фотоальбомы. Михаил Михайлович смотрит на ноги стоящей на стремянке жены и отмечает, что они по-прежнему хороши – сухошавые, с мягко очерченными икрами и изящным от пятки хрящиком, четко прочерчивающимся каждый раз, когда она привстает на носках. Вернувшись, Софья Борисовна протирает замшевым лоскутком переплеты из тисненной кожи. Увы, эта красота – вчерашний день, в последние годы они смотрят фотографии на экране. Очень удобно, плюс изображение – полтора метра по диагонали. Они берут альбом за альбомом и рассматривают старые снимки, невольно начиная восстанавливать пошатнувшийся фундамент совместной жизни.

– Поразительно все же, – говорит Софья Борисовна, подавая ему раскрытый альбом. – Посмотри, как ты стал похож на отца. Раньше я этого не замечала.

Он вглядывается в подернутую вуалью времени сцену. Отец сидит на камне и держит его на руках. За ними – уголок пляжа с мутными фигурами отдыхающих и сероватое на любительском снимке Черное море. Ему лет семь, ребра торчат из-под смуглой кожи, он смеется. Отец лыс, у него мощные грудь, плечи, руки. Он – спортсмен. В правом нижнем углу фото – белая надпись «Большой Фонтан, 1969». Сколько тогда было отцу? Лет 50, наверное. И действительно, как они стали похожи, за вычетом мускулатуры, конечно. И волос. Он свои унаследовал от матери. Запускает руки в ее роскошные каштановые, отец говорил: «Люба моя, мне бы этого на две жизни хватило!» Отец так называл маму: «Люба моя», хотя звали ее Аннушкой. А вот эти, только намеченные у него две вертикальные морщины на лбу, и вот эти – у рта – от отца, только у того они прочерчены четко, глубоко, как будто мастеровитый скорняк заложил эти резкие складки. Америка, как известно, замедляет процесс старения.

– Смотри, эта какая хорошая, – Софья Борисовна указывает на фото, где отец, укрытый маскировочной сетью пятен тени и света, сидит в дачном шезлонге. На коленях – раскрытая газета, в руке – стакан. Рядом стоит мать с трехлитровой бутылкой компота в руках. Наверняка, позвал ее: «Люба моя, попить не дашь? Жарко ужасно...» – и она принесла. В наполняющей сосуд фотографической мути едва различимы светлосерые шарики абрикосов и темные точки вишен.

«Мам, пап, ну-ка не шевелитесь!» – дает команду маленький фотограф и, вращая рифленый ободок объектива, совмещает двоящееся желто-сиреневое изображение родителей, пока они не становятся одним ясным целым.

– Клац! – фиксирует вечность отцовский «ФЭД».

– Пить не хочется? – голос Софьи Борисовны достигает его барабанных перепонок, превращается в нейро-электрический, кажется так это называется, сигнал и спустя секунду-другую добирается до того самого ящичка с табличкой «Анекдоты». Где же нужный? Да вот же он – жена говорит мужу: дурак, не уходи от меня к молодой, будешь умирать, она тебе стакана воды не подаст! Муж не ушел, а умирая, думает: что-то пить не хочется. Сигнал летит к нервным окончаниям, приводящим в действие мышцы лица, и вызывает сперва ухмылку, а затем и смех. Мать налила отцу стакан компота, чтобы у него не было соблазна на стороне? Ерунда, отец всю жизнь любил только ее! Бравый фронтовик, вся грудь в медалях, он взял ее после демобилизации, совсем молодую, ей было чуть больше двадцати, и всю жизнь посматривал по сторонам, чтобы дать своевременный отпор возможному сопернику! Скажи после этого, что разница в возрасте не гарантия вечной любви. По крайней мере, со стороны того, кто постарше. А теперь что же, его Соня предлагает ему попить, пока еще не совсем поздно? Нет, поздно. Уходить ему уже не к кому. Но анекдот – жизненной не бывает! Содержимое ящичка искрит, и вот смех переходит в хохот со жгучей слезой и потом ручьем слез, которые, как дождь после страшной засухи, смывают с него тяжелую коросту вины и страха. И Софья Борисовна, радуясь произведенному эффекту, смеется вместе с ним и берет за руку и прижимает к теплой и мокрой щеке.

– Для меня смех – самое сексуальное проявление мужской природы, – говорила она лет сто назад, когда они были близки как, ну, вот как сейчас, наверное.

– А знаешь, что я вдруг захотела? – говорит Софья Борисовна, отсмеявшись и закидывая руки за голову.

– Что?

– Велосипед!

– Велосипед?!

– Все, решено! Покупаем два складных велосипеда с небольшими колесами, знаешь, есть такие? И будем кататься на них вдоль моря. Нравится тебе такая идея?

В ней оживает детский восторг. Она вспоминает, как неслась на огромной для ее роста «Украине», просунув левую ногу под верхнюю перекладину рамы, с седла она еще не доставала до педалей, по подбрасывающей ее грунтовке дачной улицы, и теплый воздух бил в лицо, развевал волосы, отбрасывал за спину заборы и деревья с белеными основаниями стволов, фиолетовые петушки на обочине, дома и лица.

Катя проснулась, как всплыла из-под воды. Потянулась, зевая, и так при этом прогнула тело, что даже хрустнуло где-то. Солнце лежало яркими пятнами на стенах, на полу, сияло на золотом орнаменте смятой простыни. Попыталась вспомнить, что снилось, и в этой попытке слепить из уходящих сквозь пальцы образов-намеков что-то цельное вдруг осознала, что беременна. Она явно чувствовала в себе присутствие новой жизни. Это было не столько даже ощущение, сколько знание – я больше не одна. Она поднялась и подошла к окну. Тихое и прозрачное утро стояло за ним. Дверца белой машины у тротуара отворилась, и показался мужчина в светлых джинсах и темно-синей трикотажной полурукавке. Поправив узкие черные очки, направился к ее двери.

«Одеться, – подумала она, – или так встретить?»

На ней была только черная шелковая рубашка на тонких бретельках. Пока не зазудел звонок, она прошла на кухню, достала из холодильника банку клюквенного сока и налила в стакан, который тут же бросило в холодный пот. Отпила и пошла открывать.

Визитер стоял в шаге от половичка, держа на поясе загорелые, поросшие блондинистым волосом руки, жевал жвачку, двигая мощной челюстью с тонюсеньким клинышком бородачки и такой же тонюсенькой полоской усов.

Насмотревшись на него, она зашла за дверь и сказала:

– Извините, я только что поднялась.

– Доброе утро, – поздоровался пришелец. – Я детектив Перрон из полиции графства. Я могу говорить с Кейт Хачатуриан? Ударение на «у», как положено у местных.

– Да, – она снова отпила сок. – Это – я.

Заныло в груди.

– Вы знаете Геннадия Райбека?

– Да.

И тут же вспомнился голос в телефонной трубке: «Если вы его любите, Катя, вы должны мне обещать, что никогда и никому...»

– Вы можете одеться, чтобы мы могли поговорить с вами?

– Да, конечно, зайдите.

Она ушла в глубину квартиры, а детектив Перрон, переступив порог, смотрел, как она ступала чуть полноватыми, но очень стройными ногами по мраморному полу и как вздрагивали выглядывавшие из-под пикантной рубашонки половинки ягодич. Вернулась, подпоясывая красный с птицами халат.

– Проходите в комнату и садитесь. Так почему вы спрашиваете о нем?

– Его нашли в Гаррисоне с проломленной головой. Он в коме.

– О, Боже... А когда это произошло?

– Вы не возражаете, если я вам задам несколько вопросов?

– Конечно!

– Где вы были вечером и ночью 4 июля?

– Дома. Так это случилось 4 июля?

– Кто-то может подтвердить, что вы были дома? Соседи, например.

– Кажется, они уезжали на уикенд к родственникам.

– Как я могу быть уверен в том, что вы были в тот вечер дома?

Она опускает горящее лицо в ладони.

«Если вы его любите, Катя, вы должны мне обещать, что никогда и никому, ни при каких обстоятельствах, не скажете, что он был у вас дома этим вечером. От этого зависит его жизнь. И ваша, возможно, тоже».

«Почему я должна верить этой женщине? – думает она. – Та защищает свое, что сейчас защищать мне?»

– Я была дома. Я заказала кино по платному каналу. Вуди Аллена. Этот заказ есть на моем счету. А почему в Гаррисоне? Что он там делал?

– Я думал, вы можете знать.

– Я не знаю! Но не думаете же вы, что я могла проломить ему голову. И потом... чем?

– Тупым тяжелым предметом, – привычно отвечает детектив.

– А следы там какие-то нашли? Какие-то, ну, я не знаю, отпечатки?

– Ищем.

– Если я не ошибаюсь, той ночью шел сильный дождь. Я поднималась закрыть окна.

– Верно...

– Стало быть, все смыло?

Он смотрит на нее изучающе, потом спрашивает:

– Как я понял, вы были близки?

– У нас уже давно ничего не было. Может быть, год... Но он иногда звонил, а иногда его жена.

А я хотела только, чтобы они оставили меня в покое.

– Его жена звонила вам?

– Да. Говорила, что из-за меня не может завести второго ребенка, – ее обдаёт волной возбуждения. – Как насчет меня?! Что если я тоже хочу ребенка? И мужа я хочу своего, а не ее.

Детектив Перрон с трудом отводит взгляд от узкой ступни и пальцев с аккуратным педикюром, проводит ладонью по короткому ежику волос.

– Хотите провести его?

– Зачем? У меня нет ни малейшего желания встречаться с его женой. Могу себе представить, что она мне скажет у его постели!

Гость поднимается, достает из нагрудного кармана заранее заготовленную визитку, протягивает ей. Хозяйка берет ее и тоже встает. Они оказываются совсем близко друг от друга. Он выше ростом, поэтому она смотрит на него, чуть отведя голову назад. Чего он медлит? Почему не уходит? Стоит, смотрит в беспокойные карие глаза. Сейчас толкнет ее логонько на диван и станет расстегивать пояс. Нет, не толкает. Жует.

– Если вы вспомните что-то, что может помочь следствию, звоните. Здесь мои телефоны.

– О-кей, я позвоню, – отвечает она, чувствуя, как сел от волнения голос, и снова вспыхивает от мысли, что он это слышит.

Виктория и другие

Вернувшись в участок, Перрон видит жену пострадавшего. Узкое осунувшееся лицо, серые глаза, светлые волосы собраны в тугий узел на затылке. Поднимается ему навстречу.

– Здравствуйте, Виктория. Есть что-то новое?

Он проводит ее в кабинет, который делит с тремя другими детективами. Четыре заваленных бумагами стола в углах комнаты, старомодные коробки мониторов, два зарешеченных окна, желтые казенные стены, нити паутины на обвисших лопастях мертвого вентилятора. Детектив Макаллан, прижав плечом трубку к рыжим кудрям, пишет что-то в блокноте. Кивает при его появлении.

– Садитесь.

– Я принесла вам телефонные счета за последние шесть месяцев. Их звонки я отметила желтым маркером.

– Они перезванивались в тот вечер?

– Нет. Но вы понимаете, что это не могло быть простое ограбление? Что занесло его на эти корты ночью? Он никогда не играл в теннис.

– Наша главная надежда на то, что ваш муж придет в себя и расскажет о случившемся. Что говорят врачи?

– Надо ждать еще 24 часа.

Рука сжимает руку так, что костяшки проступают из-под побелевшей кожи.

– Все идет от той женщины, детектив. От этой Кати. Я это просто чувствую...

– Может быть, – неопределенно отвечает он. Мало ли кто что чувствует? Чувства к делу не подошьешь. – Мы работаем над этим.

Собравшись с силами, она поднимается, и он провожает ее до двери. Вернувшись к столу, достает из верхнего ящика сигареты, закуривает. Струйка дыма добирается до потолка и укладывается на нем эфемерной – задом наперед – змеей. Звонит телефон – убийство в магазине спорттоваров в Юнион-Сити, надо ехать.

Крохотный офис залит мертвым светом люминисцентных ламп и муторным запахом разложения. У входа – фотограф с аппаратом наготове. Руки убитого раскинуты, кисти свисают с краев стола. Голова с сильно поредевшей растительностью неловко повернута. У основания шеи темный след от удара. Бейсбольная бита брошена на пол. Пришедшие могли, например, потребовать старый долг, а хозяин сказал, что сейчас денег нет. Тогда те, устав от его «приходите завтра», этот долг решили списать. Когда грабят кассу, убивают прямо у прилавка. Если вообще убивают.

Перрон видит на стене красный треугольный вымпел с золотыми буквами и лобастым профилем с острой бородкой.

– Русский? – спрашивает он, кивая на покойника.

– Павэл Лебедински, – отвечает детектив Макаллан. – Паша.

Он стоит на одном колене, в левой руке – включенный фонарик, в правой – пинцет с несколькими волосками в цепких лапках. Рядом – такой же коленопреклоненный техник из лаборатории

графства с раскрытым пластиковым пакетом наготове. Оба в резиновых перчатках. Маккалан кладет волоски в пакет и техник, запечатав его, раскрывает следующий. Маккалан, продолжая осматривать светлый овал на ковре, говорит:

– Русские, говорят, такое придумывают, что итальянцам нечего делать, а кончается у всех одинаково – ударом бейсбольной битой.

– Точно, – соглашается Перрон.

Вернувшись в торговый зал, он заходит за прилавок, приседает – на полке несколько коробок от обуви, под листом пестрой упаковочной бумаги что-то лежит. Приподняв лист, он видит темную рукоятку «Глока».

– Эй, Джим! – он поднимает руку, привлекая внимание появившегося в зале техника. – Кое-что для тебя.

Техник протискивается к нему, приседает рядом.

– О-о!

Перрон проходит по залу. Аккуратные ряды футболок и спортивных костюмов на вешалках, кроссовки на стенах, порядок за прилавком, нетронутый пистолет, все указывает на то, что убитый и его гости виделись раньше. Сначала в магазин вошел тот, кого хозяин хорошо знал. Когда они разговаривали в офисе, вошли остальные. Теперь надо ждать результатов сверки анализа ДНК-материала и отпечатков пальцев с образцами в базе данных штата.

Появляется Маккалан, говорит поджидающим у входа полицейским, что те могут выносить тело. Разворачивая черный пластиковый пакет на змейке, толстозадый коп пересекает зал, за ним тарактит разболтанными колесиками металлическая тележка.

По дороге в участок Перрон думает, что у него нет никакого желания оставаться на службе еще 17 лет, необходимых для получения полной пенсии. Он и сейчас мог бы открыть что-то свое. Например, компанию по установке систем безопасности. Ставил бы видеонаблюдение таким, как этот Паша. Камеру над дверью, несколько камер в зале и кнопку под столом. Трудно сказать, помогло бы это ему пережить визит своих товарищей, но шансов было бы больше, чем без камер и без кнопки.

На пересечении 22-й и Либерти он тормозит. Бензовоз с жирной надписью Lukoil на зеркальном борту цистерны, мучительными рывками – видимо, водитель новичок – въезжает на зарплатку. Детектив снимает рычаг со скорости, снова закуривает, открывает окно. Куда торопиться? На встречу с очередным покойником? Или с его вдовой?

Мысли возвращаются к русской, с которой он встретился утром. У нее густые черные волосы, смуглые плечи, тяжелая грудь. Смотришь на такую, на округлую тяжеловесность ее форм, и видишь в ней мать своего ребенка. Если бы она не была русской, он сказал бы, что она итальянка. Откуда-то с юга. В офисе он перебирает оставленные предыдущей посетительницей телефонные счета с желтыми отметками переговоров пострадавшего – хоть какая-то от них польза! – и набирает ее номер.

– Здравствуйте Кейт, это детектив Перрон. Мог бы я пригласить вас сегодня на ужин?

В трубке повисает молчание, потом он слышит:

– Ну, попробуйте.

Они встречаются в «Мару-Суши» на Вашингтон-стрит. В Хобокене всё на Вашингтон-стрит. Катя в черных свободных брюках и белой блузе навыпуск, искрящиеся волосы рассыпаны по плечам. Вначале разговор общий. Она ему рассказывает о работе в больнице ветеранов, а он интересуется – не надоели ли ей все эти раненные и пострадавшие. Она отвечает, что человек ко всему привыкает, а он замечает, что люди – разные, кто привыкает, кто – нет.

– Послушайте, – переходит она к давно заготовленному вопросу. – Я так думаю, что в своей практике вы сталкивались с такими ситуациями. Я имею в виду случай с Геной. Как это могло произойти?

– Жена хочет получить страховку и нанимает кого-то, чтобы прихлопнуть мужа, – высказывает предположение он. – Потом дает копам телефон его любовницы.

– Он был застрахован?

– Да.

– Мне казалось, что жена любила его.

– Или изображала, что любит.

– Есть еще какие-то варианты?

– У него могла быть любовница, – теперь он смотрит ей в глаза. – Он привык считать ее своей собственностью. Потом она нашла кого-то, кто имел на нее более серьезные виды. А этот Гена продолжал звонить, может быть угрожал. Тогда от него решили избавиться. Мужчины встретились без свидетелей и выяснили, кому достанется женщина.

Она чувствует, как краска заливает лицо. Такое у нее лицо. Чуть что – на скулах просто пожар.

– Похоже на ваш случай? – он усмехается.

Катя берет стакан с водой, лед звякает о стекло, делает глоток. Достав из сумки зеркальце, проверяет, не смазалась ли помада.

– А кем мог быть тот, который его ударил?

– Их могло быть двое. Когда Геннадий говорил с одним, второй незаметно подошел сзади и ударил. Там не было драки.

Катя разглаживает ладонью складку на скатерти. Молчание нарушает Перрон:

– У вас есть бойфренд?

– Это – профессиональный интерес? – снова брови взлетают, снова пожар на скулах.

Он молчит, ждет.

– Слушайте, мне не 20 лет, и я не уверена, что вы хотите знать обо всех моих любовниках. Я сама хотела бы забыть о них. О некоторых – точно.

Он наливает из кувшинчика в стопку остывшее саке, выпивает, словно для храбрости, потом спрашивает:

– Как насчет еще одной попытки?

В ее глазах мелькает испуг, не свойственный женщинам, привыкшим к безоговорочным победам, но он знает: женщины – притворщицы.

– Как вас зовут, детектив?

– Джейкоб. Джейк.

– Яша, – улыбается она.

– Яшя, – повторяет он. – Яшя, Пашя, почему у вас такие мягкие имена?

– Мы – мягкие люди, – говорит она и касается кончиками пальцев его руки.

– О-о, да! – смеется впервые за вечер Джейк, но не своей шутке, а радуясь предстоящему.

В машине, бросая быстрые взгляды на сидящего рядом мужчину – свою машину он оставил возле ресторана, ехать недалеко, – она с замирающим сердцем загадывает, что если у них, точнее у нее, все получится с ним с первого раза, то он останется с ней и станет отцом мальчика. Она уверена, что у нее будет мальчик.

– Решение в ваших руках, – говорит человек в белом халате Вике. Стекла очков перечеркнуты белым отражением ламп на потолке, на лице выражение сочувствия, сдержанного профессиональной деловитостью. – Его мозг – мертв. За легкие и сердце работает вот эта машина, – доктор кивает в направлении приборов у изголовья.

«Как же так? – думает Вика. – Как же организм может продолжать функционировать без мозга, ведь кто-то должен давать команды сердцу, печени, почкам...»

Двое стоят у открытой двери палаты, где лежит все еще живой организм ее мужа. В синем пластиковом кресле у стены – вжавшаяся в него светленькая девочка с очень пристальным взглядом исподлобья. Крохотные пальчики сжимают ручки розовой сумочки. На глянцевого клеенке аппликация – красные губки и голубая надпись ХО ХО – так обозначают поцелуи.

– Я слышала, что некоторые люди возвращаются, проведя в коме... годы...

– Чудеса случаются, – очень сдержанно, но достаточно, чтобы в ответе был ошутим научный скептицизм, усмехается доктор. – Но очень редко. При этом такая тяжелая травма мозга никогда не проходит бесследно. Даже если произойдет чудо, на которое вы рассчитываете, он не вернется к вам

таким, каким вы его знали. Мы называем это состояние вегетативным. Моторные функции могут...

Она перестает слушать врача. Хочет ли она, чтобы он вернулся к ней таким, каким она его знала, если произойдет чудо? Нет. И, преодолевая страх, Вика, наконец, решается:

– Хорошо, отключайте.

– Вам нужно заполнить некоторые документы.

– Хорошо, я заполню.

Она оборачивается к дочери:

– Маша, идем со мной, дорогая.

Соскользнув с кресла, девочка робко подходит к ним, берет мать за руку, прижимается к ней лбом, поглядывает на доктора.

Вика и Маша сидят на брайтонском бордвоке, наслаждаясь тихим сентябрьским солнцем. Осенняя прохлада смывает с нее горячий жар посещений больницы, похорон, общения с полицейскими, юристами. Она бы хотела начать ходить в театр. Ее привлекает возможность наблюдать за чужими драмами, не опасаясь быть вовлеченной в них. Вчера она зашла во французскую кондитерскую, и молодой белозубый продавец, видимо, хорошо знавший стоящего перед ней клиента, завершил разговор словами: «Ничто не кончается так быстро, как половой акт, и не имеет таких длительных последствий!» Мужчины захохотали, а она стояла как оглушенная – сказанное было про нее. Продавец дважды спросил, как может помочь ей, перед тем как она пришла в себя и вспомнила, что хотела тирамису.

Ее чувство к Геннадию нельзя было назвать любовью, той спокойной и деловой любовью, которая связывала ее родителей. У нее это было ожидание любви, обида за его измены, а главное – страх за то, что он узнает, что Маша – не его дочь. Когда еще кормила ее грудью, пристально всматривалась в игрушечное личико, искала хоть одну его черточку, и не находила. Она не сомневалась, что и он смотрел на Машу с теми же мыслями. Отсюда и страх – он спросит – его ли ребенок, а она, не наученная врать, ответит: «Не знаю», и – конец. Что будет делать тогда одна, без работы, без связей в чужой стране? Выходом казалась вторая беременность, чтобы уже наверняка – от него.

Она, конечно, понимала причину его холодности к ней, но только вины в этом своей не видела. Принудительно окольцованный, он своей нелюбовью к ней мстил тестю, а заодно и ей с Машей. Все заботы о девочке он еще до ее появления на свет поручил родителям – Марии Ефимовне и Евгению Семеновичу. Те, действительно, помогали Вике, пока Маша не пошла в дошкольную группу. Старики тогда перебрались во Флориду, ближе, как у нас тут говорят, к Богу. На кремацию приехал только свекр. Страшный как ящер, с обвисшей под подбородком сухой кожей, с трясущейся пятнистой головой, черными глазами. Забрал урну с пеплом и отбыл в свою страну цветов и венков, безмолвно разорвав последнюю связывавшую их нить. Мария Ефимовна, страдавшая диабетом, была на диализе и приехать не могла. Если умрет первой, заберет урну с собой. Пусть. Вика уже это знает – самый дорогой человек – ребенок. Твои плоть и кровь – буквально.

А Машей она забеременела случайно. На третьем курсе университета, она училась на факультете романо-германской филологии, соученица устроила дома оргию. У них на курсе это называлось словом «guess», но не переводилось как вопрос «угадай?», а расширялось как аббревиатура «г» и «с» – групповой секс. На вопрос «что делаете сегодня вечером», посвященный мог ответить вопросом – «guess?» – мол, догадайся. Родители соученицы, ее звали Женей, были на даче. Зажав полными бедрами сведенные ладони и раскачивая торсом – к парте – от парты, она, бывало, говорила: «А зудит у меня, девочки, ну просто везде». И глаза у нее мутнели. С курса на курс она переходила с помощью бородатенького латиниста Сережи Шевелева – доцента кафедры классических языков, где они постоянно забирались, и выходили потом в полутемный факультетский коридор, едва волоча ноги и делая вид, что друг друга не знают. Отец Шевелева был деканом их факультета. Еще Женя умела готовить убийственной силы коктейли из молдавского коньяка, кока-колы и кофейной настойки домашнего приготовления. Вику в группе считали тихоней – и Женя позвала ее только по просьбе парня из своей другой, не университетской ком-

пании – Геннадия. Тот с приятелями поджидал Женю после вечерней лекции и, заметив в гурьбе студентов Вику, попытался заговорить. Та испугалась и, сославшись на занятость, быстро ушла, а потом пожалела. Он показался ей симпатичным – высокий, аккуратно подстриженный, хорошо одетый и явно старше ее, что тоже привлекало. Направляясь к дому, то ныряя в густую тень деревьев, то входя в круги света на разбитом асфальте, она легко представила, как он сейчас шел бы неторопливо рядом, может быть, положив ей руку на плечи, а у парадного привлек к себе на прощание. Закрыв за собой дверь, она поняла, что хочет увидеть его снова. А когда Женя пригласила ее, сказав, что будет парень, от которого она тогда сбежала, с замершим сердцем согласилась.

Их было шестеро – трое девушек и трое ребят – собравшихся послушать музыку и потанцевать, но танцы быстро кончились и началось совсем другое. Guess what! Вика была так пьяна, что сил сопротивляться ходу событий не было. Она то смеялась, то плакала, то обнималась с кем-то. Раскачивался потолок, ходили ходуном стены, магнитофон пел *I'm a sex machine in town. The best you can get 60 miles around*. Рядом задыхались, стонали, вскрикивали с машинной ритмичностью, пока спасительная темнота не сомкнулась над ней. Утром, когда она перебралась через спящих и, стараясь двигаться по возможности бесшумно, направилась к выходу, паренек с шапкой светлых кудряшек окликнул ее из кухни: «Эй, кофейку-то хоть попей со мной, а?» Худющий, босой, в одних джинсах, он стоял у газовой плиты, помешивая ложкой коричневую пену над медной турочкой и улыбался. И солнце лило свой свет в окно за ним, наполняя кухню тихим утреним счастьем. Но ей было не до кофе, она хотела в душ.

Они продолжали встречаться с Геннадием и после той ночи, но, узнав, что она беременна, он стал от нее прятаться. Она звонила ему – мать или отец отвечали, что его нет. Она просила, чтобы он перезвонил, он не перезванивал. От Жени она слышала, что семья Геннадия собирается в Америку и им не нужны осложнения.

Так бы они и уехали, если бы ее мать, а потом и отец, не узнали, что случилось. Мать звали Тамарой, отца – Анатолием. Отец, хотя она боялась его гнева панически, не сказал слова в укор, а, похлопав рукой по колену, – во время страшного разговора они сидели рядом, – сказал негромко:

– Ты не волнуйся, Викуша, я с тобой.

По службе он, капитан ГУВД, встречался с разным и понимал, что случившееся с его дочкой еще не самое страшное. Напротив, оно сулило интересную перспективу.

– Он просто испугался, Викуша, – сказал он, привлекая ее к себе. – Это с юношами бывает.

И она прильнула к нему с благодарным облегчением, как хотелось бы прильнуть к тому, кто теперь бегал от нее, как от прокаженной. Тем же вечером отец привез ее в служебном луноходе к дому на Пастера, где жил Геннадий. Прямо напротив библиотеки. Ждали они его часа полтора. Отец, включив лампочку в потолке салона, разложил на руле газету, то читая, то поглядывая на улицу. Закончив статью, хрустел страницами в поисках новой. Когда Гена появился, отец погудел, привлекая его внимание, и махнул в опущенное окошко – подойди. Она сидела ни жива, ни мертва, боясь повернуть голову в сторону любовника. Гена подошел, а отец открыл дверцу, опустил ногу на тротуар и закурил.

– Ну, что Генаша, поздравляю, папашей будешь!

Тот молчал.

– Ты вроде как не рад?

– Пусть сделает аборт, я заплачу, – выдавил тот.

– Аборт я сделаю собственноручно, но не ей, а тебе, – отец сложил руки на груди, при этом китель на его плечах чуть не затрещал. – Так что, сынок, вы распишетесь, она родит, и поедете вместе. Америка страна хорошая, я бы и сам туда уехал, да здесь работы много. Так что поставь в известность родителей.

– А если нет?

– Тогда будете жить на родине и платить алименты.

Высокий и стройный Геннадий рядом с ее отцом оказался нескладным мальчишкой. А отец был из породы питбулов – возьмет кусок арматуры, натужится, побагровеет и свернет в узел. В кривой, но все равно узел. И Гена, бросив испуганный – она видела это – взгляд на ее защитника, сказал:

– Ладно, я передам.

– Ну, вот и хорошо, сынок, – похвалил тот. – Телефон ты наш знаешь, пусть мама позвонит. Тамара моя обо всем с ней договорится. Роспись, свадьба и все такое. Только не тяни.

В предотъездные месяцы Вика словно одеревенела и оглохла, не вполне понимая, о чем говорили с ней или между собой родители. Они часто повторяли тогда, что в этой стране жить стало невозможно, и будет только хуже. Родители Геннадия – очень пожилые по сравнению с ее, приняли ее на удивление хорошо, особенно Мария Ефимовна. Может быть смирились с судьбой, а может быть захотели получить от нее, оказавшейся тихой и ласковой то, чего не получили от сына. Поступив в институт связи, а по окончании его – в какое-то ателье по ремонту бытовой техники, тот дома бывал редко, и что делал, где и с кем, для них было тайной. Он их в свою жизнь не пускал скорей всего из-за большой разницы в возрасте и стеснений перед товарищами. Казалось, что жена, в смысле – Вика, если не вернет его, то хоть приблизит немного.

На вокзале Мария Ефимовна обняла Тамару и несколько секунд не отпускала, словно хотела закрепить многократно сказанное о том, что ее девочке и внуку или внучке будет хорошо с ними. Геннадий курил в тамбуре у двери. Вика с букетом совершенно бесполезных цветов стояла рядом, на перроне, готовая ступить в вагон, как только он тронется. Лицо Евгения Семеновича серело за пыльным окном купе. Время от времени он помахивал им рукой, прощаясь издалека. Здоровья даже говорить с этими людьми у него не было.

Тесть, хлопнув Геннадия по плечу, дал последний наказ: «Береги жену. Если что, с тебя спрошу, ты меня знаешь». И смотрел потом на женские объятия со скептической ухмылкой.

Оставшиеся в Одессе родители были уверены, что дочь, как только встанет на ноги, вытащит их за собой. Все это было многократно обговорено на семейных советах, но вышло иначе. Тревога телефонных переговоров ее первых американских лет – о жилье, о Маше, об успехах Геннадия, начинавшего свой бизнес – сменилась тревогой о новой работе отца. Из ГУВД тот перешел в частную компанию по обеспечению безопасности.

«Большую ответственность взял на себя, – вздыхала мать на другом конце земли. – Не знаю, что будет, Викуша. Скучаю по тебе так, что не передать, а, все же, рада, что ты там. Беспредел у нас просто жуткий».

Потом родители переехали в просторную двухкомнатную квартиру в Аркадии – с балкона над кронами деревьев видно море. Отец купил внедорожник «Мицубиши». В голосе матери появилась уверенность, а в лексиконе – новые слова. Когда Киев заполыхал оранжевыми флагами, мать ей сказала с нескрываемой досадой: «Ну, к какому-то консесусу эти козлы могут прийти или нет?» Новое русское слово неловко втиснулось в сознание и, побродив среди залежей неиспользованной университетской лексики, обернулось старым *взаимопониманием*.

Когда отец приехал в свою первую командировку в Нью-Йорк, Вика встретить его в Кеннеди, к своей большой досаде, не смогла. Геннадий не хотел оставлять магазин, а она сама не водила. Приехала уже в гостиницу на 52-й стрит. Отец встретил ее в фойе и она, привыкшая видеть его в форме, едва преодолевая стеснение, прижалась к нарядному светлому костюму в полоску – в Америке люди с положением одевались не так броско.

– А внучка-то где?

– Ее сильно укачивает в машине, папа, она у Марии Ефимовны осталась. Поедем к ним, они обед приготовили.

Пожимая Геннадия руку, гость заметил добродушно:

– А ты раздобыл, Генаша, на американских харчах-то!

– На родине, я смотрю, тоже не голодают, – ответил тот в тон.

– Кто как, кто как, – философски заметил тесть.

В приземистой гостиной субсидируемой квартиры в Форт-Ли, опрокинув несколько рюмок «Абсолюта», визитер рассказывал настороженно слушавшим его свойственникам: «Фирма наша обеспечивает безопасность. Но реально работа многопрофильная. Включает физиохрану клиента

и его родных, мониторинг объектов недвижимости и бизнеса, просчет риска выхода на новые рынки, взыскание задолженностей. Главное в нашем деле – контакты. Викуша, подай рыбку, мама такую еще укропчиком взбрызгивает для аромата. Но, как говорится, нас много на каждом километре. Сейчас проведу переговоры в Нью-Йорке. В следующем году двинем на Майами. Много потенциальной клиентуры, никто не хочет работать с любителями».

Бог мой, в каком диком сне могло присниться тем измученным сборами и перепуганным невнятным будущим иммигрантам, стоявшим на перроне Одесского вокзала, что провожавший их родственник, простой советский милиционер, будет оперировать такими словами, как Нью-Йорк и Майами или просчитывать риск выхода на новые рынки?!

Когда хозяева вышли на кухню, а Геннадий – на балкон – покурить, отец достал из внутреннего кармана пиджака конверт, дал Вике.

– Это – тебе лично, дочка. От нас с мамой.

В ванной комнате она раскрыла конверт, обнаружив тонкую пачку еще не бывших в обращении сотенных купюр и в пакетике из вощеной бумаги – крестик с цепочкой. Крест был бабушкин – медный, с сине-белым эмалевым рисунком. Она достала его, положила на ладонь, прижала к губам, зажмурилась. Старое, родное хлынуло в нее вибрирующей волной, наполнило до краев. Когда волнение отпустило, положила конверт в карман брюк и пошла на кухню помогать Марии Ефимовне.

Через несколько дней, когда они прощались в аэропорту, Геннадий оставался в машине, отец сообщил, что они с матерью хотели бы купить на ее имя кондо с двумя спальнями, где-нибудь на Брайтоне, и наезжать на несколько месяцев, может быть, даже на полгода. Зима в Одессе, особенно февраль-март – она знает – муторное время. А на лето – назад. У них теперь участок за Дачей Ковалевского, скоро начнут строительство. И Машеньке там будет хорошо – воздух, море, овощи и фрукты – все свое, органическое.

И вот Тамара приезжает на следующей неделе. Первым делом, говорит, хочет посмотреть Брайтон. Она много о нем слышала, и Вика приехала сюда, чтобы знать, что показывать. Здесь неплохо, конечно. Океан, пляж, магазины, концертный зал и русский язык, куда ни ступи. Для родителей это, все же, удобство. Вика рада, что они снова будут вместе. За годы жизни в Америке у нее не появилось ни одной подруги. Если бы не Маша и телефонные разговоры с домом, свихнулась бы. Муж и жена – одна сатана – поговорка, оказавшаяся неприменимой к ним с Геннадием. Он приходил, пользовался ей, как пользуются, тем же, скажем, холодильником, хлопал дверцей и уходил. Их редкие выходы в рестораны на деловые встречи, где Геннадий приличествовало появляться с законной женой, были мучительны для нее. Он даже не скрывал интереса к окружающим их женщинам, словно ее не было рядом. И вот он ушел, как всегда не попрощавшись, а она осталась со своей жизнью, еще, по большому счету, не начатой. А ей только 33, и мысль о том, что в этом возрасте она еще встретит человека серьезного и надежного, приятна ей.

Иногда ее посещает шальное желание – вернуться в Одессу, найти свою старую знакомую Женю и узнать, кто был с ней, кроме Геннадия, в ту далекую летнюю ночь. И даже как-то незначай встретиться с тем кудрявым и босоногим мальчишкой, предложившим ей кофе. Посмотреть, каким он стал, спросить, как живет, с кем. Но сколько таких ночей было у Жени? Чего бы ей хранить в памяти именно ту? Guess! С другой стороны, говорят же – к прошлому возврата нет, в одну реку дважды не войти. Столько еще нового ждет впереди! Да, ей не повезло с первого раза, ну, что ж, повезет со второго. Другим же везет. Живут же люди вместе всю жизнь и счастливы. Как ее родители, например, или как, может быть, вот эта пожилая пара на велосипедах. Худошавая женщина в узеньких, как растянутая восьмерка, солнцезащитных очках и мужчина в стильной соломенной шляпе с узкими полями, вид которой вызывает у нее невольную улыбку. Маша, мгновенно среагировав на улыбку матери, тут же смотрит в направлении велосипедистов и неуверенно машет им ручкой. Мужчина с женщиной, улыбаясь, машут ей в ответ и проезжают дальше, оставляя в воздухе легкий механический зуд велосипедных шестеренок.

ВОРОТА В МИР

Рассказ

– Разве жизнь – это эксперимент?

– Конечно. Просто надо экспериментировать самому, а не позволять другим ставить опыты над твоей жизнью.

Воздух был влажный, теплый, располагающий к пассивному созерцанию и приятным философским беседам. Оранжевые закатные лучи, пройдя наискось через облака, гладили поверхность моря.

– А на озере ты была?

– Нет, говорю же тебе. Я нигде не успела побывать. Но я улетаю завтра вечером. Я еще смогу посмотреть достопримечательности.

Я не успела объяснить Еве, что единственные достопримечательности в любой точке мира – те, что сами запомнились хотя бы одному из твоих пяти чувств. Гладкие перила эскалатора, запах диких трав на окраине маленького городка, вкусный борщ в дешевой столовке могут прожить впечатления больше, чем прославленные дворцы и скульптуры...

Высокий парень в красной футболке бросил монетку на торчащую из воды сваю. Монетка не отскочила, не соскользнула. Аккуратно легла на маленький пятак свай.

– Да ты счастливчик, малый! – воскликнула я. Парень обернулся, и я попыталась повторить свою фразу по-турецки. Внешность у счастливицы была характерная, не спутаешь.

– Я говорю по-английски, – быстро, почти без акцента произнес он. – Мне сказали, что обязательно надо закинуть монетку на сваю. На удачу.

Мы с Евой тоже принялись бросать, но удача не желала давать нам пустых надежд.

– Не выбрасывай всю мелочь, – сказала Ева. – Я ужасно хочу кофе. Пусть даже из автомата.

– Зачем из автомата? Ты не дотерпишь до кафе?

А покоритель удачи ушел. Мы видели только его спину в красном, удаляющуюся по мосту в город.

– В этом городе много турок, да? – спросила Ева. – За три часа я встретила человек десять.

– Они здесь работают. Я часто удивляюсь, почему люди так не хотят работать там, где родились. Провинциалы едут работать в Москву. Турки – в Германию. Немцы – в Россию.

Я ловко перевела разговор на себя, свою работу на немецком автозаводе в России, о том, как меня одарили развлекательной поездкой. Мне хотелось подвигнуть Еву к откровенности за откровенность. Уж слишком знакомыми мне казались ее глаза, брови и отдельные мимические движения. Я видела ее раньше.

– Переводчиком, наверное, интересно работать? – спросила Ева.

– Не очень-то. Я больше по технике – инструкции, документация. Редко перевожу живую речь.

В баре было мало народу, и ни одного туриста. Скорее всего, посетители служили клерками в офисах по соседству, и зашли перехватить коктейль после работы.

– А ты хочешь коктейль?

Ева кивнула. Она шарила глазами по помещению – искала то, что первым делом ищут жен-

Тюгаева Елена родилась в 1969 году в городе Ленинабад (Худжанд) в Таджикистане. Более 20 лет живет в России, в городе Медынь Калужской области. Окончила Калужский государственный университет. Работает системным администратором в школе. Проза публиковалась в калужской и московской прессе, в «Урале», «Нашей улице», «Топосе», «Зарубежных задворках», «Сетевой словесности».

щины везде, куда бы ни занесла их судьба. Мы спросили официантку, она показала, и Ева скрылась за черной лаковой дверью. Я еще раз попробовала расслоить свои воспоминания, чтобы они превратились в тончайшую пленку, чтобы найти эту Еву, странную украинку без малейшего южнорусского акцента. Не получилось, не помогли ни глоток кофе, ни коктейль, пряный и сладкий, одновременно ромовый, черничный и миндальный.

Я позвонила своему gidу и сказала, что приду поздно. Адрес отеля помню, не беспокойтесь за меня, пожалуйста.

Ева вернулась веселая, возбужденно заговорила, махнула рукой и толкнула свой стакан. Часть коктейля выплеснулась, и Ева сказала о себе: «Неуклюжая росوماха». Удивительное выражение для девушки из Киева.

– Ты сейчас совсем другая, – сказала я, – когда мы встретились, ты была угнетенная и несчастная.

– Конечно! Я уж думала, что мне придется ехать домой ни с чем!

Не знаю, верить ли тебе, девушка из Киева, потому что причину твоего нынешнего веселья я понимаю без слов. Я много прожила на свете, не столько лет, сколько жизней. По сумочке и туфлям девушки я могу определить, какая у нее модель телефона и кем работает ее бойфренд, по прическе мужчины я скажу все о его семейном положении и образе жизни. Ева, зрачки твоих зеркально-черных глаза слишком радостны, слишком расширены. Что в твоём сиреневом рюкзаке – пенал, пудреница, пузырек из-под лекарства... где ты хранишь свою радость?

– А не попробовать ли нам фруктовый пирог с ванильным соусом? Говорят, это здесь лучший десерт!

Ева согласилась.

– Ася, ты не против, что я таскаюсь за тобой везде? Может, я тебе надоела?

– Нет, конечно. Но я собираюсь гулять всю ночь или, по крайней мере, половину ночи. Выдержишь?

– Спрашиваешь! Мне все равно не уснуть.

Легенда Евы была рассказана мне три часа назад. Девушка из Киева приехала сюда, чтобы купить лекарство для отца. Лекарство от алкоголизма, раз и навсегда отбивающее тягу к зелью. Ева очень любит отца. Он умный, добрый, замечательный, но несколько раз в году погружается в страшные запой. Уходит из дому, пьет со случайными людьми, спит на свалках. Ева хочет купить экспериментальное лекарство, разработанное каким-то врачом или химиком. Оно есть только в этом городе, о нем нет сведений в официальных медицинских источниках. Ева читалась возбужденных сплетен в Интернете, отсюда же узнала адрес, заняла денег, прилетела сюда. Ее чемоданчик (с кожаным футляром от тонометра, содержащим немалую сумму денег) по ошибке принесли в мой отельный номер. Я, благороднейшая из людей, не поехала на экскурсию, а бродила по коридорам, стучала в двери и спрашивала: «Вы не потеряли чемодан?»

Я не такая уж альтруистка. Просто я не люблю экскурсии, гидов и автобусную тряску. Мне нравится класть ладонь на пульс человечества и слушать его живой ритм. А Ева... бог с ней, с Евой. Мало ли прошло через мою память таких девушек, с такими рюкзаками, с такими странными историями. И это пройдет, как сказал царь Соломон.

– Я хочу пойти в ночной клуб. Самый обычный клуб, куда ходят местные искатели приключений на свою задницу.

– Тогда надо в этот... как его? Здесь есть такой квартал развлечений...

– Зачем? Там будут одни туристы, в крайнем случае, золотая молодежь. Дикие цены и дикая тоска. Давай зайдем в Интернет-кафе и найдем адрес обычной среднепаршивой дискотеки, где подают дешевые коктейли и танцуют студенты и пролетариат.

Ева восторженно захихикала, и я снова подумала – где слышала этот смех? Да везде, раздраженно ответила сама себе. Современные девушки, они все вылеплены из одной биомассы, запрограммированы обязательным набором движений, мыслей, одежды, инстинктов и эмоций.

Если иногда и выловишь в потоке жизни нестандартную особь, то непременно окажется, что она лечилась в психушке, или состоит в какой-нибудь неформальной группировке, или родила без мужа, или художница-поэтесса. Они возникают, наверное, как сбой системы, но система их терпит, чтобы не получилось застоя.

Мы нашли маленькое Интернет-кафе, сели вдвоем за один компьютер. Справа сидел тот самый турецкий парнишка, который ловко бросил монетку на сваю. Он смотрел на монитор, записывал что-то в блокнот и плакал, вытирая по-детски слезы кулаком.

– Я не верю в случайности. Пример, вам обоим понятный – компьютер. Часто ли вы случайно встречаете в реальности тех, с кем познакомились в социальной сети? Вот именно, никогда. Реальный мир еще меньше подвержен случайностям.

– Но они бывают! – воскликнула взволнованная разговором Ева. – Однажды я опоздала на автобус и ловила попутку на трассе. Был вечер пятницы, ни одной машины, как назло. А когда показался, наконец, страшный фургон, забитый пьяными мужиками, я села в него и обнаружила среди этого быдла... свою бывшую учительницу пения!

Хайре к тому времени уже отдышался морским воздухом, не осталось и следа от позорных слез. Я уговорила своих временных друзей спуститься в метро и доехать до станции, где Интернет общал много дешевых дискотек, ресторанчиков и баров. Хайре заглянул в свой блокнот и сказал, что ему это подходит. Двое из убийц его невесты где-то там и обитают, на окраинах.

– Конечно. Все экстремисты на свете вылезают именно из таких дыр. Из приличной и скучной бедности.

– А я думала, наоборот, разбалованные сынки богачей, – удивилась Ева.

– Какое у тебя образование? – спросила я.

– Техническое, – ответила Ева.

Мы разговаривали уже у кассы метро, и мне вдруг стало понятно, что я видела Еву прежде именно в такой густой толпе. На фоне розовощеких и простенько одетых западных людей Ева казалась бледной и вычурной. Как фигура с картины импрессиониста.

– Ах, да, – сказала я, – в твоей кожаной казне, кроме денег, имелась записная книжка. Я думала, там адреса, а там сплошные чертежи и формулы. Кажется, программирование?

– Да, – Ева еще больше побледнела. – Я программист.

– Поэтому ты плохо понимаешь людей. Богатым разбалованным деткам не интересно убивать на улице девушек просто за то, что у них не арийская внешность. Они получают адреналин более дорогими и изысканными способами. А маргинальному отродью некуда деть свое время... Таких полно в любой стране мира.

– Их не должно быть ни в одной стране, – категорично заявил Хайре. – Судьи, которые дают убийцам по два года условно, не понимают, что плодят заразу. Эта зараза сожрет всех – сегодня турок, завтра славян, потом больных, алкоголиков и так далее. Историю плохо учили, наверное.

Мы ступили на верхушку эскалатора и покатали вниз. Мы трое были совершенно разными: Ева, похожая на причудливую тень, Хайре, красивый и яркий, Ася, светловолосая, джинсово-незаметная. Но, как ни странно, мы составляли группу, бросались в глаза в толпе, как некий сгусток. Вероятно, в нас было много энергии.

По нешироким улицам ходили тихие, довольные жизнью люди. Они уже отдохнули после работы, и вышли в летние сумерки – погулять. Хрестоматийная чистота тротуаров, запах жареного мяса из ресторанчиков и освещенные цветными огоньками витрины наводили на странные мысли: нирвана, параллельный мир, вечность.

– Не верится, что здесь бродят экстремисты с ножами, – сказала Ева.

«И программисты с кокаином в рюкзаках», – подумала я, но за меня продолжил Хайре:

– Углубиться в эти улицы, и увидишь то же самое, что в спальных кварталах любого города. Граффити на бетонных заборах, подростков на мотоциклах, пьяные и обдолбанные рожки. Я учился в Стамбуле, а потом в Берлине, все это знаю.

– Тогда ты знаешь, что тебе не отомстить убийцам, – сказала я как можно более жестко, – они, на-верняка, всюду бродят стаей. Носят на руках кастеты, а на ногах – обувь с металлическими носами.

Хайре засмеялся.

– Я фармацевт. Я знаю, как убить человека без кастета и ножа.

Мы купили билеты в какой-то второсортный «Feuerwerk», но до открытия заведения было еще полтора часа. Летний ресторанчик по левую руку от «Feuerwerk» был немногочислен, мы сели за столик под миндальным деревом в кадке и взяли меню. Ева тотчас удалилась туда, куда ей хотелось с момента моей обмолвки о записной книжке.

– Ты давно знаешь ее? – спросил Хайре.

– На два часа дольше, чем тебя.

– Она приятная. Но странная.

– Чем – странная?

– Мне кажется, она что-то употребляет. У нее пальцы так дрожат... характерно.

– Мне безразлично. Она завтра купит лекарство для своего отца – она так говорит – и улетит отсюда.

– А ты останешься?

– Я останусь еще на четыре дня. Если хочешь, я помогу тебе искать этих... Мне неинтересно ездить на экскурсии.

– Зачем же ты поехала?

– Этот город называют «Ворота в мир». Хотелось выглянуть из ворот.

Вернулась Ева, прибыли наши салаты, сели за столики новые гости. Я заметила, что Хайре напряженно всматривается в компанию парней, хохотавших над бутылочками колы и большим блюдом чипсов.

– Это не твои, – сказала я, – твои пьют пиво.

– Не факт, – быстро заговорила Ева. – Мой парень пьет водку и вегетарианец при этом.

– Гитлер тоже был вегетарианцем, – возразил Хайре.

Дискотека была трехъярусная, на стеклянных балконах и внизу на подсвеченном танцполе изгибались и прыгали люди самых разных возрастов и внешности. Мы получили бесплатные коктейли, и пили их на балконе, глядя сверху на шевелящуюся людскую массу.

– Ты говорила, Ася, не бывает случайных встреч? – спросил вдруг Хайре. – Смотри!

Он открыл передо мной свой блокнот, и я увидела две фотографии, прикрепленные степлером, явно скопированные с веб-сайтов и отпечатанные на цветном принтере. Среднестатистические молодые лица, таких полно в Москве, Орле, Харькове, Берлине и, наверное, даже Йоханнесбурге.

– Это же он!

Внизу у колонны, увитой искусственной лозой со светящимися гроздьями винограда, стоял обладатель одного из среднестатистических лиц. В черно-белой футболке, в каких-то джинсах. С ним была девушка. Обычные молодые телодвижения – полуобъятие за талию, поглаживание по щеке, расслабленный смех.

– Я пойду, – сказал Хайре.

Он сбежал вниз по лестнице, приблизился к лицу из блокнота, что-то сказал. Через минуту оба шли к выходу. Девушка осталась у колонны с неживым виноградом.

– Пропал наш красавчик, – грустно сказала Ева. – Это мурло сейчас созовет своих дружков, и они забудут Хайре своими ботинками, как и его девчонку.

– Может, позвоним в полицию?

– Не знаю, – Ева заметно испугалась. – Не стоит пока, может?

Хайре так и не вернулся. Мы вышли на улицу, но никаких следов драки не было. Народ по-прежнему мирно гулял, с моря тянуло прохладным ветром, я поежилась и позвала Еву внутрь. Мы выпили еще по коктейлю. Стало весело, мы пошли на танцпол и почти сразу подцепили каких-то

веселых парней. Самое смешное, что ни тот, ни другой не были аборигенами здешних мест. Мой кавалер, красивый сероглазый серб, работал экскаваторщиком на стройке, а Евин, русский студент из Узбекистана, завербовался волонтером в хоспис – чтобы изучить язык.

– Совсем как девушка Хайре, – заметила Ева.

Почти час мы предавались веселым прыжкам, коктейлям и даже поцелуям, а потом мой кавалер заметил, что за нами наблюдают. Наблюдали незнакомый парень и давешняя девушка, та, что осталась грустить под виноградом. Во время медленного танца девушка приблизилась ко мне и тронула за плечо:

– Послушай, эй, где твой приятель?

– Какой приятель?

– Я вижу, что все вы иностранцы. Но ты же понимаешь меня? Где ваш приятель, тот черный? Бармен сказал, что он пришел с вами.

– Это был случайный знакомый. Я не знаю, куда он ушел.

Девушка отошла, но ее недоброжелательные взгляды и переговоры с несколькими уже парнями мне не нравились. Я позвала Еву. Надо было бросить кавалеров и незаметно убежать. «Вы все иностранцы», так мыслила эта компания. Им безразлично, кого забить ногами.

Мы сказали ребятам, что идем в дамскую комнату, по отдельности разошлись в толпе, поблуждали по балконам, а в туалете еще и переменяли внешность. Ева вытащила из рюкзака красный платок-бандану и завязала свою приметную рваную стрижку. Я надела Евину курточку, а свою запихала в сумку.

– Кажется, не заметили! – прошептала Ева. Мы побежали к стоянке такси, прыгнули в машину и назвали адрес нашего отеля. Приключение дало адреналина больше, чем сто тысяч экскурсий.

Утром были: стук в дверь (наверное, гид), медленные и ленивые мысли, шум большого города за окном, насильственное запихивание себя под душ. Включенный телевизор безразлично менял картинки человеческих несчастий: автокатастрофы, пожары, преступления. Я сушила волосы феном и думала – были ли люди так равнодушны к чужим бедам сто лет назад, двести лет назад? Телевизор охладил человеческие души или холодные души изобрели телевизионные новости?

Единственное, что привлекло мое внимание на экране – время. Местное время перелилось за полдень, мой завтрак давно остыл и убран.

Я набрала номер на мобильнике. Трубку за полторы тысячи километров взяли очень быстро.

– Ася? Ну, как твои дела, детка?

– Хорошо.

– Интересные экскурсии?

– Очень. Как ты, тетя Шура? Как Павлик?

– Нормально, проснулся, покормили, вон играет. Павлик, мама звонит!

– Теть Шура, ты бабе Томе скажи, я сейчас поеду по ее поручению. Потом позвоню вам на домашний и расскажу. Ну, пока, целуй Павлика, пока!

Я положила телефон на стол и застыла – телевизор бросил мне прямо в лицо знакомую фотографию, которую я видела приколотой степлером в блокноте.

– ... тело обнаружено на заднем дворе в одном из окраинных кварталов города. Экспертиза показывает смерть от удушья, наступившую в результате инъекции большой дозы лекарственного препарата, способного вызывать...

Я бросилась к отельному телефону и набрала 647 – номер Евы. Ева не взяла трубку, конечно, она уже уехала за чудодейственным лекарством, со своим рюкзаком, содержащим препараты саморазрушения...

Не слишком ли быстро вокруг меня все рушится, падает, умирает?

В метро я почувствовала, что за мной наблюдают. Вся эта детективная дребедень начала надоедать мне. Одно дело – поймать немного адреналина, и совсем другое – оказаться втянутой в криминальные происшествия.

Я приехала сюда, чтобы выглянуть из ворот в мир. Каков он, вид мира за воротами? Я не верю в радуги, фейерверки и алмазные россыпи, но наблюдать кровавые ошметки тоже не хочется. Я не пессимист, не оптимист, не фаталист. Без всяких «измов» хочу ощущать жизнь своими пятью чувствами, вот и все.

Надо выпить кофе в какой-нибудь пиццерии. Неизвестно, найду ли я тех, кого ишу, и как меня там встретят... Я оборачивалась и не видела шпики. Но его взгляд ощущался. Потом я заметила мелькнувшую из-за газетного автомата фигуру. Высокий парень или мужчина в темной джинсе. Нет, это бред. Кто может следить за мной здесь, в городе, где я поверхностно знаю только Еву, Хайре, гида и попутчиков из экскурсионной группы? Не девица же с городской окраины наняла детективов, чтобы найти убийцу своего *Liebling*?

Я позавтракала кофе с бутербродом (нормальные люди вокруг уплетали мясные рулеты и жареную картошку – половина второго дня!), и углубилась в боковые улицы. Городское движение здесь умеряло свои ритмы, громкость и насыщенность. Дома были трех- и двухэтажные. Цветы и кустарники, умильные старушки с ухоженными собачками, маленькие магазинчики, неременная статуя водоноса...

Или слежка за мной прекратилась, или мне удалось «оторваться от хвоста», но я чувствовала себя спокойно.

Коттедж был частный. На калитке кнопка. Я нажала два раза, потом еще два.

– Вам кого? – крикнула пожилая дама с белоснежных ступенек.

– Господин Герберт Вебер здесь проживает?

Старушка засемила к калитке, сейчас сообщит мне, что он недавно скончался. Когда я получила ответ из архива, господин Вебер пребывал в почтенном возрасте девяноста трех лет. Это было три месяца назад. В девяноста три года человек считает, наверное, каждый прожитый час.

– Папа прилег отдохнуть после обеда. Он, знаете ли, совсем старенький... Вы из социальных служб?

– Я из России, – сказала я. – Господин Вебер воевал в сорок первом в составе пятьдесят третьего армейского корпуса...

Лицо старушки исказилось ужасом и тоской.

– Ах, боже мой! Это так давно было! Это было страшное и неправильное время... отец никогда не был в СС. Он был медик, он не стрелял в людей...

– В сорок первом он сделал операцию русской девочке-подростку, которая была ранена шальной пулей. Девочка запомнила, что ее лечил молодой немецкий фельдшер Герберт Вебер. Вот, она просила ему передать...

Я сунула ей в руки сумку и пошла вниз по улице. Подарок от бабы Томы приехал по адресу семьдесят лет спустя: вещи, связанные из шерсти от собственных коз, мед, собранный с собственных ульев, и отсканированная копия черно-белой фотографии высокого немецкого качества, на которой юноша в белом халате перевязывает растрепанную девчонку. Я связала оборванные концы истории, а это ведь тоже прикосновение к пульсу Вселенной.

– Мисс, будьте добры! Подождите! – крикнули мне вслед по-английски. Молодой человек моих лет бежал за мной от дома Веберов.

– Я правнук господина Вебера... Бабушка просто растерялась от неожиданности... извините ее... не могли бы вы остаться на чашечку кофе?

После кофе с пирожными, любезностей, воспоминаний и обмена телефонами я потеряла бдительность. Слишком задумалась о времени и пространстве, сдвиги которых приводят к удивительным результатам, вызывают интереснейшие ощущения. И сразу же по выходе из метро меня остановили быстрым и твердым прикосновением к запястью.

– Госпожа Ева Романовская?

Все стало понятно, едва прозвучало это официальное обращение от двух парней, одетых в джинсу, отработанное спокойствие и напускную вежливость.

– Нет. Я Анастасия Брусенцева.

Я вытащила из внутреннего кармана оба свои паспорта, российский и заграничный. Вот, смотрите, господа из Интерпола, мое лицо на фото, бледное, с мелкими чертами, совсем не такое призрачно-красивое, как у Евы.

– Извините, госпожа Брусенцева. Недоразумение. Мы должны предупредить вас... вы были замечены в обществе Евы Романовской... что вы знаете о ней и ее намерениях...

Я рассказала историю о лекарстве для больного отца, но ни упомянула о периодических Евиных радостях из рюкзачка.

– Могу я спросить? Она – наркокурьер?

– Опаснее. Подозревают, что Романовская входит в международную группу хакеров, занимающихся виртуальными грабежами банков и взломом архивов госбезопасности разных стран. Если вы встретите ее...

Да вряд ли уже встречу, подумала я, идя по мосту. Люди такого сорта и такой профессии ничего не делают просто так. Ей нужна была я, чтобы запутать преследователей, она выиграла время и снова выпорхнула из ворот в мир. Где же, черт возьми, я могла видеть ее раньше?

Я позвонила из автомата домой и сообщила тете Томе, что побывала у Веберов, поболтала с тетей Шурой и послушала лепет Павлика, которого поднесли к трубке. На душе была невероятная легкость. Гид встретил меня в вестибюле отеля, пожурил за пренебрежение достопримечательностями и предложил вечером катерную экскурсию.

– К сожалению, не могу, я уже приглашена моими здешними друзьями.

Не хотелось тратить легкость, которая поселилась во мне сразу после беседы с интерполовцами. Сейчас я приму душ, попрошу горничную погладить мое единственное вечернее платье и поваляюсь на кровати до девяти вечера. В девять за мной заедет Макс, правнук господина Вебера, и мы пойдем куда-нибудь, где в воздухе витают радость, свобода и ожидание счастья. Мы будем говорить о приятных и хороших вещах – музыке, путешествиях, бестселлерах. Я ни словом не упомяну убийство, совершенное моим случайным знакомым, розыски хакеров. Может, расскажу, что у меня нет родителей, и меня вырастили две старенькие дальние родственницы, а еще у меня есть десятилетний сын, но нет мужа. Может, расскажу, чтобы общение не было слишком приторным...

Телевизор был вежлив, бормотал на нейтральные темы – погода, спорт. Я стала искать русские каналы, щелкала пультом, пока не нажалась. Сообщили, что найден убитым двоюродный брат вчерашнего юноши. Причина смерти та же – инъекция некоего препарата...

– Хайре не отступает от своего плана, – сказала я вслух. И непроизвольно взяла телефон, набрала номер 647. С кем я могла обсудить это, кроме Евы?

Ответил незнакомый мужчина, кажется, по-шведски. Я повесила трубку и с грустью подумала, что эта запутанная история останется в моих личных воспоминаниях. Мне не с кем обсудить ее, и вообще небезопасно говорить об этом. Как странно сплетаются закономерности и случайности, создавая пестрый бесформенный клубок, называемый жизнью...

Я выключила телевизор и закрыла глаза. Сами собой пришли виды улиц, площадей и лиц. Серые глаза и черные волосы Хайре, дряхлая улыбка Вебера, серебряные очки гида, моя собственная фотография в загранпаспорте, расширенные зрачки Евы...

И тут я вспомнила. Видение пронзило мысли, и мне снова стало легко и спокойно. Я увидела толпу народа на праздничной площади в далеком городе лет семь назад.

– Девушка, щелкните нас, пожалуйста! – попросили меня. Я щелкнула старомодной мыльницей – на фоне праздничной композиции из цветов и колосьев обнявшихся юношу и девушку. Девушка была Ева. Волосы у нее тогда были рыжие.

*Медынь
Апрель 2011*

Герман ВЛАСОВ

эмигрантский хлеб не горек
видишь дом дорога лес
облака скопление коих
мысли потеряло вес

все мы выглядим немного
баратынским на скале
через мох ведет дорога
к баратынской вышине

из провинции столица
легкомысленна слегка
на глазах у очевидца
кроны ветер облака

контуром напоминая
дорогих для сердца лиц
а береза принимает
вид на выданье девиц

станем думать о природе
не про нано и распил
там писатель в огороде
все капусту разводил

там с бородкою собачка
император молодой
и одна чухонка прачка
всё лопочет над водой

им смешно а люди не летают
начитавшись самгина и федр
но антенны хвойные впитали
и передают весна я кедр

Герман Власов родился в 1966 году. Закончил филологический факультет МГУ, живет в Москве, работает переводчиком. Публиковался в журналах «Знамя», «Новый мир», «Волга», «Крещатик», «Континент», «Новый Берег», «Интерпоэзия», «Дети Ра» и др. Автор поэтических сборников «1 ½» (1998), «Второе утро» (2003), «Просто лирика» (2006), «Музыка по проводам» (2009), «Определение снега» (2011). Лауреат Международного литературного Волошинского конкурса (2009).

вскрыты реки в одури овраги
бронзой мать-и-мачехи растут
вместо пасхи глобусы и флаги
токаря и сцепщики несут

стольких лиц в кашне в пальто вспотевших
пропуская море встал трамвай
говорят про двое полетевших
и один ученый николай

нужно вместе сообща решая
кедр кедр я заря прием
то ли строя то ли воскрешая
прыгнуть заглянуть за окном

а пока шутник не кончит чтение
чертит палец пыльное стекло
почему весной так мало тени
почему в апреле так светло

памяти Аси Каревой

со мной это было
я шел у подъезда курить
на длинной скамейке
спиной к стене прислонялся
и близилась полночь
и куст начинал говорить
и голос черемухи
ветром больным обрывался

и вышла луна
как наверно выходит на пруд
соседка-подросток
и были шаги ее наги
и воздух звенел
в продолжении долгих минут
я видел такое
чего не сказать на бумаге

и то хорошо
что чудесному имени нет
что ночь безоглядна
и в темном таится живое
и сорванный лист
это чья-нибудь жизнь на просвет
и светится в малом
значение ее грозное

откуда не знаю
начало такой красоты
наверное в том
что она умолкание шума
что нету страшней
и прекрасней ее наготы
когда она смотрит в упор
словно кто-нибудь умер

я вижу и слышу
и я не могу рассказать
а только вхожу
как чужой в пелену грозовую
глядят испытующе карие эти глаза
той вечной и первой
которую не назову я

светилась черемуха
ночью когда при луне
она появилась
сначала взглянувшая мельком
потом будто вспомнив меня
обернулась ко мне
со мной это было
я вышел курить на скамейку

математик артист
и в пальто окрыляющем плечи
как любой эскапист
не выносит имперские речи

без окна человек
пешеход божedomки и лестниц
он задумал побег
как монаду придумывал лейбниц

а куда он бежит
и жена по порядку не знает
всюду клейкую жизнь
будто пролитый чай оставляет

в новый свет в тадангыл
за чернильною сизою тучей
только нежный распыл
только ветки в зеленке пахучей

маргарита магдалина
рукопись неопалима
всякий город есть искус
кто здесь больше чем иисус

нет его в лучах и славе
есть на кухне и в оправе
крестной с пеной на губах
худший из пороков страх

как кремь и наш тиберий
но на склоне трех империй
всякий город есть лубок
ест живое холодок

а любовь летит без цели
из одной немецкой щели
луч стрекочет из дыры
маг матвей москва миры

нужно не подать и вида
ты свободна ну же фрида
жизнь копейка мир кино
пей фалернское вино

мы как сон висим в эфире
но душа обожжена
на профессорской квартире
прячет опиум жена

русалки хохочут выходит герой из льда
рыбак полуголый (одежда сама соскользнула)
его согревает босая по снегу ходьба
и он семенит и ругается вверх как вакула

грозит кулаком в синеву в удивленный янтарь
и на гору лезет где есть тормозок и поляна
он лед разрывал будто лед отрывной календарь
и вышел сухим (так находят сюжет для романа)

гусятинная кожа наколки и смена белья
в лесу колея до бетонки а там веревка

Света ЛИТВАК

свежо, упруго, глянцевито
живыми листьями увито
создатель, добавляя лоск
их обмакнул в зелёный воск

пестра листва, красна рябина
опали жёлуди картинно
дробится дождь, лучится свет
сквозь чёрно-белый трафарет

асфальт промыт раствором мыльным
над ним блистают изобильно
соцветья парашютных строп
произрастающих в сугроб

на жирно увлажнённой почве
побеги выпускают почки
мятежно пробужденье царств
под клёкот птиц и стрёкот трав

кто что звенит в ведьмаческом просторе над Москвой
с чьих плеч слетел платок вздымая волны бахромой
составился в узор чередуя взгорб и вгиб
нагое тело обволол бесцветный дым

кем послан сей проклят медоточивый взгляд
отчаянный свидетель прянет в ужасе назад
куда влечёт бездельников разнузданный призыв
прерывистым дыханием грозы

один лишь я соскучился пустячных будней труженик
мой глаз надменно сузился и весь пейзаж сконфузился
все сполохи и выкрики я в точке зафиксировал
я всё проанализировал

Света Литвак родилась в городе Ковров Владимирской области, окончила Ивановское художественное училище. Основатель (совместно с Николаем Байтовым) Клуба литературного перформанса. Автор нескольких книг стихов и прозы. Публикации в журналах «Знамя», «Арион», «Волга», «Дети РА» и др. Член СП Москвы.

смущён речами праздными обворожён соблазнами
из мутной взвеси вышел я сухим и безнаказанным
дойдя до старой мельницы привёл за косу пленницу
столичную проказницу

пора садиться в лодочку в Серебряном Бору
хлебать морозну водочку в полдневную жару
коленями и бёдрами, волос змеиных космами до вечера играть
и потными ладонями в песке и старых водорослях до смерти закатать

цвет бутылочки зелёный натурального стекла
ой, не кофе растворимый я с залёточкой пила
то не то ли сладко зелье, что сражает наповал
бог весёлый винограда нам по чашам разливал

словно молнией зажжённый звонкий вспыхивал запев
обнимал меня любовник, целовал меня при всех
был напиток амбросийный в наших жилах растворён
похвалой гостей бессмертных слабый разум помутнён

я ль неверная невеста, ты ли преданный жених
мы с тобой слагаем песни непонятные для них
наших времяпровождений спит невинное дитя –
как иначе можно мыслить скудный опыт бытия

с утра в постели нежусь, лести веря
вывешиваю днём победный флаг
а к ночи запеваю страшным зверем
что рыщет как больной, бегущий благ

зажги высокой гибели горелки
закрой узорным пологом кровать
на дне тарелки стынет супчик мелкий
осталось соскрести и прожевать

перед ужином гренавы
ниже икр зрячупокрыт
девик с мальвочкой курчавы
англичавы ниже икр

величавы и гречавы
перед ужином стоят
загубавы зазубравы
заворачивая взгляд

загубавы зазубравы
заворачивая взгляд

заворачивая взгляд

Выхваль дичилась, молчала в лом.
Пряча лицо постояла в углу.
Видишь затылок, болотный корм!
Девочка презрительно улыбнулась.

Ниже затылка, гляди, – спина.
Слишком выламывается она!
Вся спесь бы мигом с неё сошла,
Если б она не ушла.

Кто она? Крошка, весенний вдох,
Глупый короткий хлопок ладош.
Вновь появлялся и быстро сох
След загрязнённых подошв.

Надо заканчивать эту игру.
Долго кружили за ней по двору.
Искали повсюду, валялись в пыли,
Но девочку не нашли.

МОЯ ПЕРСПЕКТИВА

Рассказ

Дела в тот период шли скверно, я был крайне изможден. Мне говорили: «плохо выглядишь, похудел». Я все ждал такого переломного момента, когда моя чумная бесперспективная жизнь парадоксальным образом начнет не расстраивать, а радовать, наконец, обретя превосходную степень очумелости и бесперспективности. Пусть радость нездоровая. Пусть таких людей не принимают за нормальных или принимают за ненормальных, им все равно – как вы скажете.

Однако, я никак не мог перешагнуть границу безумия, оставаясь человеком уравновешенным, борющимся с астено-депрессивным синдромом внутри себя, не показывая виду.

Я работал в тот момент в ГКБ №31, врачом первого года. Фактически испытательный срок. Как бельмо на глазу, да на глазах начальства. Думают: оставить или нет. Шаткая ситуация. Но я старался из всех сил... не показать свою бесперспективность, а зарекомендовать себя как целеустремленного молодого специалиста, пусть чуть ветреного, пусть не знающего, как лечить пневмонию или простуду, но способного прочитать и запомнить. В конце концов, как нормального парня, готового купить и поставить на стол в ординаторской гранулированный кофе с сухими. Это тоже важно. Вроде ничего такого, что могло бы угнетать простого человека, принято считать, что такое не угнетает, но все равно я лизал жопу начальству. Вот уже как месяц лизал начальству жопу, а положение оставалось все таким же шатким и малоперспективным.

Наступил ноябрь. Совсем похолодало, выпал первый снег. Люди, вжимая голову в плечи, тоскливо брели по улице, а в жилых помещениях все чаще говорили о погоде, все раньше включали теплый вечерний свет. Мы с Соней, еле добираясь до дома, находили в «холодильнике» лишь дежурные фразы друг для друга. А наша схематичная жизнь окончательно лишилась отвлеченных моментов: концертов, книг, вечерних раздумий. Лучший друг, правда, на днях позвонил. Я сказал:

– Привет.

Он ответил:

– Галимая житуха. Пришел домой, и все, на что тебя хватает: это пожрать, потупить перед телевизором и пойти спать. Просто пойти спать! Понимаешь о чем я?

Я говорю:

– С этим надо что-то делать! Помнишь, как мы спонтанно встречались?

– Конечно надо, ладно, пойду – пожру.

Я крикнул ему:

– Постой, дружище!!!

Но в соответствии со схемой телефонного аппарата раздались короткие гудки. А мы с Соней пошли к телевизору. Мы улеглись, накрылись пледом. Нами, уверяю, двигала какая-то неведомая сила, я пытался противиться, но чья-то рука нащупала пульт. Я потрогал эту руку, она оказалась моей.

– Давай займемся чем-нибудь другим? – говорю.

– Чем другим?

– Просто поговорим, например, а то потом, когда мы захотим это сделать, у нас не получится.

Соня, к моему удивлению, согласилась. Она сказала:

Автор о себе: Родился в 1984 году в Иваново. В настоящее время живу в столице. Последовав советам и желаниям родителей, иду по проторенной дорожке врача – наследственное, поэтому сейчас я врач-аспирант-кардиолог-малоинвазивный хирург. Попробовал писать с первых курсов института. Трижды попадал в лонг-лист премии «Дебют», имею одну публикацию в МК. Восхищаюсь Чарльзом Буковски и Сергеем Довлатовым.

– Ты прав. Давай поговорим. О чем?

Я пожал плечами, взяв паузу, чтобы сообразить.

– Ты сейчас подумаешь, и в следующий раз мы обязательно поговорим.

– Хорошо, – согласился я, и мы начали смотреть коллекцию талантливого мистера Рипли.

Так обстояли дела дома.

В больнице тоже было немногим лучше. Нищета, вредные гардеробщицы, запах, мухи и отсутствие медикаментов. Шуточки больных: я проснулся, улыбнулся, хорошо, что я проснулся. Больничная атмосфера, одним словом. Кстати, на днях был случай: у Либера, молодого неопытного доктора, помер пациент. Бедолага старик хватался за свою жизнь как мог. Его приходилось привязывать к кровати. Это делал, конечно, я.

Старик был в полусознательном состоянии, и не понятно: откуда у 75-летнего бралось столько силы. Я не мог совладать с ним один, на помощь прибежал Либер, а потом еще один санитар.

– Успокойся, батя! Мы больше не хотим тебя грузить! – орал молодой доктор и бил старика по щекам, но тот рвался, будто на свободу, рвал все и крушил.

Я наблюдал настоящую агонию – борьбу со смертью. Дряхлое полумертвое тело еще пыталось одолеть нас – трех живых, и одержало победу, мы сдались: пришла сестра со шприцом, и все встало на свои места: старик заснул, то есть впал в кому и больше не просыпался.

Однако в коме он пробыл целые сутки.

Давление было крайне низким, и, понятно, что если бы он даже выжил, стал бы растением.

Либер боялся. Он велел перелить больному кровь. Это как жест отчаяния.

На донорском пакете я прочел свою фамилию. Вчера я получил свою законную тысячу и на шаг стал ближе к почетному донору. Кажется, за день до сдачи я выпил немного виски, так что мой билирубин был повышен, но нужны были деньги...

Моей крови предстояло свернуться в теле безнадежного больного, а не в теле имеющего шанс. Это хорошо, а то я бы шанс подпортил, ведь я выпил немного виски накануне, но наши надрали англичан в футболе, и был бы грех не поднять за победу. Я выпил чуть-чуть виски, повторюсь, билирубин поднялся, но нужны были деньги... чтобы купить еще виски. Ведь каждую субботу у нас с Соней какие-то фуршеты: бесконечные свадьбы, постоянные свадьбы, встречи выпускников и туча дней рождений. Я давно уже не ищущий пьянки, они сами находят меня. Боже! Как я устал от них! Но не приходиться же с пустыми руками в гости... это просто некрасиво, не интеллигентно, вот и приходится фактически менять кровь на виски в соотношении один к двум...

Впрочем, довольно. Хорошо то, что хорошо кончается. В том плане, что я получил деньги, а некачественную кровь все равно что вылили в сортир.

Я смотрел за смертью спокойно, будто наблюдая по ТВ с другого континента. Старуха не торопилась, но вцепилась крепко. Несмотря на первый год работы, я был зрелым циником, почти не уступая в этом компоненте остальным врачам. Я знал, что главное, в случае смерти больного, – это защитить свою задницу, а вовсе не ТО, что можно было бы изменить во избежание горя. Это было ясно, как день, поэтому меня это не очень задевало. Я об этом не думал. Больше меня тревожило то, что касалось непосредственно моей жизни. В конце концов, я пришел к одному умозаключению, насмотревшись на всех этих доходяг, которое возымело на меня действие куда более гнетущее, чем вид самой смерти...

Я всего лишь понял, что врачи продлевают жизнь, но не молодость. Могут спасти молодую жизнь, но молодость-то не продлевают! И с этим выводом рецидивом всплыло все старое: с Соней острота уже не та, любви размываться временем, дружба тоже стерлась, но все это такая ерунда по сравнению с писклявым звонким голоском какой-нибудь малютки:

– Баба Соня!

Это дико и страшно звучит, а врачи к моменту нашей старости научатся продлевать жизнь еще лучше, и мы будем хвататься за нее из последних сил, выжимать себя до капли. Мы будем слушать «баба Соня» с трепетом, с чувством: пусть так будет всегда, пожалуйста, я так хочу это видеть.

Нет, не удивительно, что я был крайне изможден. Не удивительно, что мне говорили: «плохо выглядишь, ты похудел». Неудивительно, что я бы мог с легкостью загреметь в ГКБ № 31 с язвой

желудка на нервной почве, если бы не одна счастливая вещь, случившаяся со мной на тернистом пути к безумию. В принципе, цель была близка, я неся в котел сумасшествия на стареньком автобусе, с мягкими сиденьями. На них сидели чудаки в больничных пижамах, монотонно уговаривая меня пересесть вперед: «Там лучше обзор. Первое место, твое первое место!» У них будто заело: «первое место». Я встал и пошел по проходу вперед, сначала просто, чтобы они отстали, но вскоре, ощутив внутреннее волнение и радость, я понял, что есть личная потребность идти. «Первое место», говорили они. Я подошел к двери, за которой должен был быть водитель, взялся за ручку, обернулся, мне закивали головами, и я открыл. На освещенной сцене стояла стройная женщина с пышной прической, я видел застывшие капельки лака в волосах, стало быть, и я стоял на освещенной сцене, коль замечал такие мелочи. Она улыбнулась мне:

– Первое место Миляков Глеб! – ее голос был другим: в первую очередь торжественным.

Я взял литературную премию! И это было чистой правдой, а автобус с чудиками плодом воображения. Я быстро разобрался в проблеме действительности настоящего, ощутив в руке шершавость денежного конверта и пьянящую тяжесть статуэтки победителя, в виде какой-то птицы.

Мои рассказы признали лучшими. Зал, само собой, аплодировал. И вот я уже улыбаюсь и раздаю интервью только сексапильным журналисткам. Они говорят, что у меня совсем не плохой стиль и есть чувство юмора. Говорят про эгоцентричность в текстах и сравнивают с Буковски! Я отвечаю, что конечно, он мой кумир, но я не подражатель. Они говорят, что один парень мог соперничать со мной, но при подсчете голосов он уступил вдвое, и его подтянули, чтобы разрыв был не столь чудовищным. Я отвечаю, что это у нас в порядке вещей: создать иллюзию конкуренции, испугавшись ее отсутствия.

Помню, в тот день я совсем потерял голову от счастья. И, если честно, в конце на меня смотрели уже не так восхищенно. Сначала все шло гладко. Я был гвоздем программы. Мы выпивали. Я гордился, что я с Соней, что у меня такая шикарная девушка. Каждый, конечно, состоит из плоти и крови, но она особенный случай. Плоть, кровь, еще тонкое платице цвета кофе с молоком, а под ним грация, выгибание спины, высокая грудь и крепкие бедра. Я сказал ей:

– Как тебе моя перспектива теперь?

Она улыбнулась и ответила:

– Ты вытянул счастливый билет.

– Вздор! – возмутился я, – все по местам, все так, как и должно быть!

– Ты веришь в свою исключительность?

– Я подумаю, и мы обязательно поговорим об этом в следующий раз.

Она никогда не теряла голову, а я никогда так не хотел ее, как в тот вечер. Я танцевал с ней на грани вульгарного, позволяя себе залезть под платье, ведь в тот вечер я был Буковски. Я любил ее. Я уже был у той черты, когда готов был сказать: я буду с тобой навсегда – в этом я не был Буковски, но, так и не сказав этого все-таки, остался им. Все шло непринужденно и легко. И словно фигурист, с золотом в кармане откатывающий на бис, я достиг своего эмоционального пика и ощущения абсолютного счастья, а потом, вы знаете, все пошло по нисходящей. Так вдруг и быстро, лавинообразно. Сначала я просто облокотился на локти, согнувшись в тазобедренном суставе, решив, что сейчас пройдет. Но я слишком много выпил и выкурил сигарет. Мне становилось все хуже, я понимал, что я с дамой и так нельзя. Голова соображала отлично, но тело никуда не годилось. Народ начал расходиться, кто-то, наверное, смотрел на меня с сожалением, кто-то с брезгливостью. Вот оно – чувство победы! Я не мог встать, мне было неудобно за это перед Соней, но я не мог встать. Я расплылся по столу как холодец. Я кое-как сказал, чтобы она позвонила Корове – моему лучшему другу. Я знал, что он разберется и сделает все как надо. Я был в нем полностью уверен, поэтому позволил себе закрыть глаза, и голова пошла кругами...

В понедельник утром я ехал на работу, голова еще была тяжелой, но не шла кругами, прошло два дня с момента награждения. Эмоции подутихли. Я был этому рад, спокойно наслаждаясь самим фактом победы. Однако работу никто не отменял, и я очень торопился. Я срезал через автоза-

правку, проехал через тротуар и голову какого-то пешехода, развернулся слева направо и, пролетев по встречной, оказался на месте. Опоздав всего на час, я вбежал в отделение по запарке с сигаретой в зубах. Сестра-хозяйка возилась с мокрыми тряпками, и пепел упал на еще невысохший пол. Меня встретила заведующая у лифта, она держала в руках книгу моих рассказов. Уже вышла, подумал я.

– В первую очередь, я тебя поздравляю, Глеб! А во вторую очередь, что бы ни было, я все равно тебя поздравляю.

– Спасибо, мне очень приятно, хотя я не до конца понял...

– А в-третьих, поднимемся к профессору, у нас небольшая конференция.

Я второпях надел халат и проследовал за шефом. Клинический разбор был бы очень кстати, там всегда можно сесть назад и подремать.

В светлом, хорошо проветриваемом кабинете профессора сидели: Абрикосова Александра Александровна – доцент, кандидат медицинских наук, Сомова Руслана Руслановна – доцент, кандидат медицинских наук, Чипыгина Кирилла Кирилловна – то же самое, Атаманова Евгения Евгеньевна – ничего нового, и, наконец, во главе стола сам профессор, доктор медицинских наук – Магнитов Кузьма Кузьмич. Их имена и регалии я прочитал на бейджиках, прицепленных к халатам. Я поздоровался, а профессор указал мне на место:

– Пожалуйста, садитесь.

Лица у собравшихся были напряженные, сосредоточенные. Располагала к себе, пожалуй, только Чипыгина, симпатичная женщина с короткой стрижкой и приятными чертами лица. Профессор был похож на удава: длинная худая шея с обвисшей кожей. Однако не он начал говорить, а Атаманова, тучная женщина, имеющая привычку зевать не прикрываясь:

– Вы догадываетесь, Глеб, почему мы здесь сегодня собрались?

– Нет, но в любом случае, это здорово, – я сказал это мягко, слегка улынувшись.

Профессор покачал головой.

– Шу-у-утите, шутите. Шутите.

– Мы все прочитали Ваши рассказы, – сказала Абрикосова, тоже в общем приятной внешности тетка, но тонкие губы не захотелось бы целовать, – и, мягко говоря, мы обеспокоены.

– Да, я объясню, в чем дело, Александра Александровна, – продолжила Атаманова, – Дело в том, Глеб Глебович...

– Юрьевич, – поправил я.

– Да, да... Глеб Юрьевич... так вот, дело в том, что врач, настоящий врач, не может писать таких рассказов. Человек, пишущий подобные рассказы, не может быть врачом. Это если коротко. Вы с этим согласны?

– Нет.

– Я так и знала.

Я пожал плечами:

– Конечно, какой-то высокой морали они не учат, но в целом совершенно безобидные рассказы.

– Ошибаетесь, Глеб Юрьевич.

– Обидные? Я ВАС обидел?

– Ммм... в какой-то степени, но у меня давно уже есть иммунитет к подобным провокациям. Я постараюсь объяснить, – продолжила Атаманова, – В своих рассказах вы предстаете перед нами циничным, самовлюбленным, озлобленным на весь мир человеком, не ведающим, что такое страдание, терпение, самопожертвование, понимание близкого. Мы не можем допускать, чтобы человек с таким набором качеств, как у Вас, становился врачом!

– Однако, я здесь совсем не при чем, – говорю, – это мой лирический герой такой подлец, не я!

– Мы все понимаем, но давайте оставим эту... отговорку.

– Но это неслыханно!

– Александра Александровна, зачитайте, пожалуйста, отрывки из рассказов Глеба Юрьевича, чтобы расставить точки над «й», чтобы нашему, – микропауза, – ГЛАВНОМУ ГЕРОЮ, – она явно переборщила с интонацией, – стало понятно, о чем мы говорим.

Абрикосова зашелестела листьями и откашлялась:

– Прошу прощения за вынужденный мат, – сказала она. Присутствующие пожали плечами, дескать: что делать, и Александра Санна хорошо поставленным голосом педагога начала:

– Только я вышел на перрон, как Петербург сразу опьянил. Аура, дух, настроение, все это буквально с первого шага. Я ходил и наслаждался, мне даже не хотелось есть. Я ходил по каналам вдоль великокопной ковки оград весь день, пока ноги не стали гудеть. Но ближе к вечеру я все чаще просовывал руку в дыру кармана, желая устранить дискомфорт набухания. К тому же ко мне подошел какой-то тип с бутылкой вина и возбужденно прошептал в ухо:

– Где здесь можно кого-нибудь трахнуть?

– Не знаю, но я тоже хочу е.тьс.я, – ответил я.

Он посмотрел на меня косо.

– Твою мать, я не педик. Мне нужна телка, – говорю.

– Давай искать вместе?

И мы пошли. Я быстро смекнул – с ним нечего ловить. Он порядком нажрался и пару раз отчаянно крикнул:

– Ну, отсосите же старому пьянице!

Желающих не нашлось, и я окончательно понял, что дружба с ним бесполезна.

– Давай купим вина, – говорю, – Дай денег.

– Французского! – крикнул старый хрен и протянул мне бумажник. Я выхватил его и побежал прочь. Прочь пьяный и веселый с бешеной широкой улыбкой. На бегу я оглядывался на этого беднягу и веселился, пока не врзался в НЕЕ!

Абрикосова остановилась в этом самом месте. Именно здесь она решила закончить. Ни дальше, ни ближе. Здесь!

– Я думаю, этого достаточно, – сказала она.

– Нет! – воскликнул я, – Так нельзя. Это вырвано из контекста. Дальше идет настоящая любовь. Я настаиваю, читайте дальше! Или прошу. Ну, пожалуйста, прочтите дальше...

Собравшиеся, сбитые с толку, повернули головы к профессору. Он ощутил их и мой взгляд на себе, не выдержал давления и, помешкав, пожал плечами: продолжайте.

– Пока не врзался в НЕЕ, – повторила Абрикосова, – Из ее рук вылетело эскимо и глупо шлепнулось на асфальт. Треснула корочка шоколада, и, как в фильмах, потекло молоко.

– Ах! – сказал я (не «бля», а «АХ!»), – Как жаль. Но есть вино. Возьми, – я протянул бутылку.

Она заглянула прямо в мои глаза, я увидел ее: широкие и напуганные. Ее глаза и лицо – самое красивое на свете. Это был настолько мой человек, что больше и не надо. Больше – лишь ты сам. Я видел в лице добро и зло без примесей, самолюбие и умение любить других, добрый семейный юмор и колкую иронию (ее было больше), здоровый цинизм и способность понимать настоящее, то есть сразу распознавать, где есть ложь. Она смотрела на меня этими глазами, способными распознавать, где ложь, но ведь я был чист и правдив. Я смотрел так же открыто, нагло и дерзко, ведь не за что было стесняться. Я видел какую-то абстрактную глубину (уже не понятную мне, ее тайну!), слабость, нежность и грусть. И все это в тех самых пропорциях, когда кажется, что нельзя даже прикасаться к образу. Ничего не трогайте! Прочь руки.

И конечно, еще одно. Секс. Без которого в женщине не может быть ничего вышесказанного.

Абрикосова читала, а я видел перед глазами Соню. Не важно, какую: что двухлетней давности, когда из рук ее вылетело эскимо и глупо шлепнулось на асфальт, что сегодняшнюю, не верящую в мою исключительность и перспективу. Но треснула корочка шоколада, и, как в фильмах, потекло молоко. С тех пор я люблю ее одинаково сильно.

– Достаточно, – сказал я.

– Вы много на себя берете, юноша!

– Но это полностью меняет картину, вам не кажется? ЭТО продолжение.

– Тогда я продолжу дальше, чтобы поменять ее снова, – сказала Абрикосова, а я про себя поаплодировал ей за такую фразу, – я немного пропущу, но все же...

Она перелистнула пару страниц.

– Здесь занятный диалог... Вот:

...дружись, ее совсем скоро придется охмурять. Дам тебе совет: будь с ней наглей, не бойся.

– Думаешь, она это любит?

– Все бабы любят грубость, все. Кто не любит – в тех нет секса. Шли их куда подальше. Не дрейфь. Будь Чарльзом Буковски.

– Буковски?

– Да, Буковски, твою мать! Бабником, пьяницей, нахалом. А сейчас, иди, передерни. И запомни.

Запомни на всю жизнь, напиши это как лозунг у себя на стене:

ЖИВИ РАДИ СЕБЯ И ТОЛЬКО. НИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, НИ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ, ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ. ВСЕ, ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ ДЕЛАТЬ – ДЕЛАЙ. ОНА, КОНЕЧНО, СКАЖЕТ ТЕБЕ: ТЫ ЭГОИСТ, ЭГОИСТ, ЭГОИСТ. А ТЫ СОГЛАСИСЬ, ОТВЕТЬ: ДА НАСРАТЬ. ТАК И ЕСТЬ: Я ЭГОИСТ! – Чипыгина оторвалась от текста, – Как вы прокомментируете это? О какой любви здесь может идти речь?

– Это моя правда, – сказал я.

– Так все таки ВАША. Думаю, одним вопросом меньше.

– Будь, по-вашему: это все про меня.

– Отлично, тогда я позволю прочитать себе еще отрывочек, учитывая тот факт, что это все-таки про Вас. На медицинскую тему, кстати:

Навстречу шел толстый врач. Весь его вид отталкивал, но я спросил:

– Где мне найти Катерину?

– Не имею понятия, – ответил он.

– Но мне надо забрать снимки. Я даже не знаю, как она выглядит.

– Сумасшедшая, с перекошенным лицом, – ответил жирдяй.

В эту секунду в кабинет вошла сексапильная сестричка, с укороченным под мини-юбку халатом, с подведенными губками и глазами.

– Вы явно не та, кто мне нужна, – сказал я с грустью.

– Ты действительно так думаешь? – спросила она.

Это заставило посмотреть на нее по-другому и широко улыбнуться, очень широко. Она сощурилась мне, но толстому плейбою врачу это не понравилось, ведь он давно имел на сестричку планы. Поэтому он не нашел ничего лучше, как сказать:

– Пора заканчивать Ваш юношеский инфантилизм. Пора становиться настоящим врачом.

Хотя сам был тем еще расп.ем.

Признаюсь, я всегда испытывал неудобство за этот рассказ, в нем я всех держал за дураков, но Абрикосова, в общем, умница – не стеснялась слов. Так и говорила: «расп.ем», даже не краснея, а вот Сомова давно уже вела себя как уж на сковородке. Наконец она не выдержала такого количества матерщины и взвизгнула:

– В конце концов, прекратите! Прекратите этот позор!

– Давайте еще один кусочек, для того чтобы окончательно снять все вопросы, – сказала Чипыгина, которой явно пришлось по вкусу мои рассказы. Которой хотелось продолжения и, в конце концов, чего-то законченного, чего-то целостного. Она даже пару раз прыснула в процессе их прослушивания, но вовремя спохватилась, – Еще пару абзацев, и, думаю, сомнений у нас не будет.

– Ну, хорошо, – сказала Абрикосова и сделала глоток воды, – открываю наобум. Все равно сплошная пошлость, – и она начала снова, впрочем, не скрою, мне было приятно слушать свои рассказы:

– Моей крови предстояло свернуться в теле безнадежного больного, а не в теле имеющего шанс. Это хорошо, а то я бы шанс подпортил, ведь я выпил немного виски накануне...

Я чуть не упал со стула:

– Но этот рассказ я только пишу! Он СЕЙЧАС в процессе написания.

– Нам все известно.

Наконец, заговорил профессор. Я давно ждал от него каких-то подвижек, но он все молчал.

– Молодой человек, – сказал он устало, – Вы явно считаете себя умнее остальных, но Вы еще молоды и, не обижайтесь, зачастую глупы. Возможно это хорошее качество для сегодняшнего дня.

Сейчас востребованы такие пробивные. Вы, уверен, найдете себе место в жизни, найдете себе теплое местечко, но только не в медицине. Сюда должен идти человек, испытывающий внутреннюю потребность помогать.

Начал хорошо, подумал я, но никакого чувства меры, здесь он явно перегнул палку, а я ставил три к одному, что он не облагается...

– Человек, ощущающий всю тяжесть ответственности за пациента, должен идти в медицину. Больной должен ему верить, ведь вера один из самых, если не самый важный компонент лечения. Излечиться без веры нельзя, а ее отчасти должен дать врач, – и далее бла-бла-бла монот-о-о-онно, монотонно, а в конце, чуть ускорившись, Кузьма Кузьмич закончил словами: – Вы эгоистичны и самодовольны, Вам не место в медицине, это если коротко и по существу.

Я скривил губы и смотрю ему в глаза. Он:

– Вы меня не поняли?

– Почему же, я понял Вашу точку зрения.

– Но Вы с ней не согласны?

– Мне плевать. Ведь я уволен?

– Но разве я говорю не правду?

– Мне плевать. Я уволен.

– Вас еще никто не увольнял! – профессор поднял голос, а такие, как Сомова, превратились из ужей на сковородке в безголодых мышей.

– Что прикажите сделать, чтобы Вы, наконец, решились на это?

– Я бы на Вашем месте не был бы так горяч.

– Чтобы быть уволенным?! Впрочем, вы не на моем месте. Я уволен?

– Вы смахиваете на идиота, юноша.

– Я буду смахивать в другую сторону, профессор.

– Аххх, ты!... – профессор сжал губы и процедил: – Сучонок. А затем:

Удаву оказалось достаточным момента, чтобы оказаться возле моей шеи и вцепиться в нее. Он начал душить. Я схватился за его руки, пытаюсь ослабить хватку, но он, несмотря на старость, был жилистым, почти как тот 75-летний. Удав душил меня, и в первый момент я подумал: черт, какой сильный старик! Но дальше, по ходу удушения, приходили все более аллегоричные мысли. К примеру, вспомнив Искандера, я подумал, что я пойманный кролик, а все остальные загипнотизированные. Краем глаза я заметил, что так оно и было: все сидели, оцепенев, не шелохнувшись. Я надеялся на помощь братьев-кроликов, но им-то было еще тяжелей, чем мне. К счастью, удалось сделать изворотливое движение и врезать лапой по морде удава. На секунду все замерло, а потом вернулось на круги своя. Сидели потерянные люди, и я среди них, профессор с разбитой губой, и за окном шел снег. Кто-то принес бумагу и перо. Кровью я подписал приказ на увольнение без каких-либо чувств, опустошенный и роковой.

Моя перспектива в чем бы то ни было была ни к черту. Будничным утром я ехал в машине и был странно весел. Я купил себе музыкальных дисков, а Соне – подарок, упакованный в цветную коробку с бантом.

Неделю мы будем счастливы и беззаботны. Деньги в любом случае быстро исчезнут. Помнится, Корова, на мою фразу о том, что в какой-то развитой стране только при рождении ребенку начисляют 50 тысяч долларов, ответил:

– К своим двадцати двум я бы уже слил эти деньги. Так что мне просто не о чем жалеть.

Тогда мы еще пили за то, чтобы не становиться серьезными и ответственными. Мы пили за ветер в голове. Это было два года назад. Сейчас Корова с женой. Они составляют свой семейный бюджет и хотят завести кота. Нет, я не такой перспективный жених. Но в моем кармане два билета в Петербург и «бронь» в гостиницу с самыми высокими потолками. Там Соня развяжет бант и фотографирует наше безграничное счастье. «А то, что будет потом, это потом».

Андрей ТЕМНИКОВ

(15.V.1957 – 27.VII.2006)*

Автобиография

Я, Темников Андрей Анатольевич, родился в 1957 году в семье интеллигентов, эвакуированных в Куйбышев во время войны. Учился в медицинском институте, но его забросил из-за того, что сильно увлекся литературой.

Профессиональное образование получил в Литературном институте им. Горького, который закончил в 1991 году.

Работал много где, но всегда предпочитал обычную школу, администрация которой проявляет абсолютное равнодушие к моей профессии и деятельности: за 16 лет ни одной проверки. А между тем, все это время деятельность моя была преступной. Я старался привить навыки внимательного чтения тем, кому они противопоказаны: будущим филологам, поэтам, писателям, и особенно журналистам.

Мои первые литературные опыты (а это были нежные и немного странные сказки) нашли понимание даже среди членов союза писателей Куйбышева. Один милый старичок, ветеран войны, так возбудился, что закричал: «За такое надо расстреливать!» Я проникся. И решил, что и дальше буду углублять пропасть между собой и здешними литераторами. Поэтому до сих пор не имею не только значительных публикаций, но и никакого положительного опыта общения с людьми от литературы.

Я научился не перехватывать подачи от чужого опыта и случайного вдохновения, и мне пришлось выработать свой собственный стиль, как это не трудно и не преступно в провинциальной среде.

Жертвы этому пути приносятся не такие уж большие. Всего-то несколько поколений провинциальных литераторов предпочитают вас не понимать, не замечать, а все же негодуют, что ваша литературная жизнь не превратилась в застенок.

Потому что в тех же разных поколениях у вас есть много друзей, с которыми вас связывают человеческие (более ценные, чем литературные) отношения, потому что старые и новые книги посылают вам свое сияние, потому что с самого раннего детства, когда огромные уродливые тетки гремели над вами: «Темников! Интеллигенция чертова!» вы знали живое и влажное убежище – Студеный Овраг (роскошь, доступная только очень богатым, местечко выше по течению Волги, выше бывшего Куйбышева).

И еще потому, что вы уверены, что язвенная болезнь убаюкивающей советской и рыкающей постсоветской литературы – это не окончательный диагноз.

Андрей Темников.

Паспорт. Серия 36 04 568461. выдан отделом внутренних дел № 8 Промышленного района города Самары 23.10.2003. Темников Андрей Анатольевич. 16.05.1957 года рождения, г. Куйбышев. Место жительства: г. Самара, улица XXII партсъезда, дом 194, квартира 71

* Книги Андрея Темникова: Тень, которой я боюсь. Сборник рассказов и стихотворений. – Самара: Белый человек, 2001; Зверинец Верхнего мира. – СПб.: Лимбус-Пресс, 2006

Лапка паука-сенокосца

Мне было 14 лет, когда я впервые остался в этом доме один. Мама была против, отругала меня по телефону:

– Немедленно возвращайся, бери такси и приезжай. В этом доме, будь он проклят, всегда кого-нибудь насилуют. Помнишь, ты проснулся среди ночи и спросил, отчего они шумят? А это насильствовали девушку. Их было шестеро, а девушка одна, и она стонала, что больше не может, немолодая, в рыжем парике.

Я повесил трубку. Будка, стекла целехоньки, возле закрытой пивной. На резиновом полу хрустели скрюченные зверьки, желтые, в бурых пятнах, с выраженными ребрышками.

Всю ночь дом был полон неприятных звуков. Стемнело, в десять я вышел за калитку. Неуверенно прошелся по дороге, чпокая пальцем в алюминиевой трубочке из-под валидола. На мне были мешковатые штаны на резинке и отцовский пиджак на одной пуговице вместо трех, но зато с трубочкой в кармане. У водокачки я свернул. Палые листья скребли асфальт, кто лапками, кто спиной. Они вперед меня бежали к служебным дачам, которые нанимали чиновники строительного треста. Приземистые, носатые, с толстыми руками, ямки в локтях, как у баб. Один из них стоял на веранде, поднимая внучку к лампе, возле которой сияющим сателлитом висел шершень. Чиновник с чеснотными зубами, в них было и что-то конское, ржал, подвывал, повизгивал, встряхивал неотзывчивого младенца так, словно хотел вытрясти монетку из кошки-копилки. Девочка была в желтой фланели.

Окна другого дома смотрели голубой телевизор, а веранда была темной.

Я устроился в билиардной, тем летом там поставили скамейку, положил руку на парапет, который блестел, и тут же, раскачиваясь и заигрывая со всеми пятью моими пальцами, на нем появился паук-сенокосец. Положение было неудобным, шея затекла, в руку стали вонзаться иголки. Так-то глядеть полуобернувшись назад в мигающие окна. У меня никогда не было с собой часов – страх их разбить – и я не знал, скоро ли начнется программа «Время», когда все встают от телевизора, если они нормальные люди, а не идиоты. Так я просидел, может быть, час или больше, пока не понял, что программу «Время» они все-таки смотрят, растирал руку и снова играл с пауком-сенокосцем, дряблым мешочком с едой на тонких лапках. В темноте лапки ощущались только по щекотанию, когда он забирался на один из моих пальцев, а так его тельце казалось парящим на фоне синего окна, которое упрямо смотрело телевизор, и, когда оно погасло, я вернулся в дом, которого моя мама так боялась.

Было чего.

Олю я встретил поздним утром. Она вышла набрать воды в ораторский графин с пробкой, из которой можно пить, так как она сделана в виде граненого стаканчика граммов на сто. В другой руке несла ровно надкусанный и чуть волокнистый ломтик докторской колбасы, обернутый салфеткой, и, увидев меня, тут же перестала его есть. Потом ее лицо мне никогда больше не нравилось. Но в тот день, после тяжело проведенной ночи, я так изумленно запоминал ее матовые ключицы, острый подбородок, блестящую нижнюю губу, широкие скулы, жидкую челку, не скрывавшую множество мелких пустул с острыми верхушечками, что она испугалась чего-то нехорошего. Не помню поэтому, что она мне сказала. Трудно ей было, проглатывая недожеванную колбасу, вообще что-то сказать. А у меня по части обманутых ожиданий дело шло к получению аттестата зрелости. Тем более что случившееся ночью занимало меня необыкновенно. И я предоставил ее зелененькому набивному платью без рукавов слиться с пятнистой зеленью орешника под солнцем и потеряться в нем навсегда.

Так вот, когда я вернулся в дом, так ее и не дождавшись, все звуки, тогда не связанные ни с какими воспоминаниями или понятиями, вообще ничего не значащие в моей жизни, обернулись против меня: наказание за ненаблюдательность. Геррис даже не оборачивался, в то время как Негоро вздрагивал от каждого шороха в глубине африканского леса. Днем когда-то в саду я читал этот эпизод и думал, что я здесь скорее Геррис, чем Негоро, оказалось, наоборот.

Ветер поднимался и скреб когтями по крыше, сыпал очень болезненные желуди в оцинкованную ванну (что ей делать в саду, когда все дети выросли из нее, а новых не народится?), в стол и

скамейку, в стеклянные банки и в землю – не знаю ничего мрачнее последнего глухого звука.

Я достал из-за кровати ружье, двустольную бескурковку, разобрал его и снова собрал. Нашел коробку с патронами, в которой оставалось два. Зеленый и красный, оба холостые, отец шилом выцарапал из них картонные пыжи и высыпал дробь. Заряжать не стал, вместо этого я включил радиоприемник «Балтика» с зеленым глазком и красной нитью настройки, которая, свистя, воя и сплевывая вавилонскую речь, набрела наконец на радио-спектакль о жизни Экзюпери, и он сказал какой-то женщине с набитым ртом (тема докторской колбасы зааскочила вперед):

– Я летчик, а не пулеметчик.

Значит, подумал я, он хотел связывать людей письмами и обещаниями, а не освобождать их от писем и обещаний.

Я рассмотрел на стене горбоносый профиль, тень от свечи, обведенную синим карандашом, это, конечно, был профиль черта, головки мундштука, изогнутого, как настоящая трубка. В профиль тем же карандашом кто-то вписал: *«Говорят, что бог прощает влюбленным грехи, которые они совершают под кленами»*. Ниже, простым карандашом:

Пейте, пойте в юности

Бейте в жизнь без промаха

Все равно любимая

Отцветет черемухой.

Я поставил на стол оба патрона и черствый пряник, который нашел за кроватью, когда доставал от-туда ружье, и спросил себя, чему я могу больше доверять, этим холостым патронам или этому черствому прянику? Днем заходил милиционер, держа в руке фуражку, как дворовый к барину, и посоветовал, что у нас не запирается калитка. Я лег на диван, положил ружье рядом и снял с предохранителя, я нашел за диваном ремень и прикрепил его к ружью на случай, если я встану, и мне захочется перекинуть его через плечо. Я заметил на полке допотопный жестяной фонарик и консервную банку. На банке было изображено вот что. Вертикально расположенный рот в зеленых усах. Этот рот улыбался, и он, и ровные квадратные зубы, которые он обнажал в улыбке, были зеленые. Я сказал себе: «Это банка с горошком, а в ней набиты мокрые и коричневые окурки папирос, потому что все здесь, живущие в деревянном доме, боятся пожаров и гасят окурки в воду». Но и это не помогло, и бледные, длинные лица не переставали заглядывать в окна. Значило ли это, что милиционер не напрасно ломал передо мной фуражку, и маньяк, уродующий детей и заваливший листьями и ветками в овраге уже три изуродованных трупа, еще не пойман?

Я сказал: «Нет, все дело в какой-то бережливости, у них ничего не пропадает, и это даже хорошо».

Вот сучок на срезе доски, с каплями давно вышедшей, давно ставшей кристаллами смолы – из него сделали вешалку для пальто, когда он достаточно попрос. А женщина в белом костюме и рыжем парике – это чтобы вернуть меня домой. Когда ее на этом диване будут насиловать, надо просто повернуться на другой бок, там подушка прохладнее, а если она совсем горячая, то можно и ее перевернуть. Она сидит на террасе, она играет ножом для масла, лезвие у этого ножа перламутровое, все в разноцветных разводах от того, что им точили разноцветные карандаши у меня над головой. Когда я болел, мне ставили раскладушку на террасе и позволяли рисовать, а карандаши часто ломаются, и я снизу смотрел, как взрослые их затачивают вот этим ножом для масла. Хорошим ножом, чье тонкое лезвие сносило сразу полкарандаша и выдирало все его сердечко. Не стоило только шить мешочков для фасоли и сухариков из того фиолетового халата, в котором я запомнил бабушку. Она сидела на террасе и сосредоточенно смотрела в надвигающуюся тьму, которая наступает после жизни. Очки для этого ей были не нужны, а птицы и блики все только путали, у одних дрожали крылья, у других менялся вид, потому что ветер околачивался где-то поблизости и брызгал медом на пол.

Ты уже догадываешься, так как со стороны это всегда легче, что той ночью я видел кошмарный сон, и он запомнился мне если не во всех, то хотя бы во многих деталях. И что выбрать из отсюда мне было непросто. Ружье, патроны, приемник «Балтика» были участниками кошмара, и в ту ночь они существовали только в нем. Необитаемый дом был почти пуст. Разве что продавленный диван и плоская подушка. Я скатал из нее валик, но нечем даже было укрыться. Я лежал, поджав ноги к подбородку, или грел грудь скрещенными руками.

В ту ночь я видел сон, который потом повторялся и включал в себя разные подробности и разных героев по мере их поступления в мою жизнь. В улучшенном, исправленном и дополненном виде он не был таким угрожающим, смягчилось многое, прояснились контуры лиц, и они больше не висели на окнах, так как у них появилось дело. Кто-то из них был даже повышен рангом и допущен в святая святых, под мое одеяло. Кое-кто, впрочем, как ни набивался, так и остался поверх него.

Тревога остается неизменной. За окнами снег. Стены желтые, и в них тепло, даже душно, внутри много курят, готовят еду, пьют чай, обливают друг друга кипятком, ругаются.

Я все так же скатываю подушку в валик и люблю набрести красной нитью настройки на какой-нибудь радиоспектакль. Голоса и теперь звучат, как будто говорят в колодез, в тот самый, где я сижу. Ожиданий стало меньше, но зато я меньше обманываюсь и меньше удивляюсь.

Однажды по пробуждении я заметил, что, пока я спал, поверх моего одеяла разросся садик, и в просветах его плещется река. Под деревьями было довольно темно, так что его обитателей я разглядел не сразу, а только когда они забегали от дерева к дереву. Ошибка сказать, что это были маленькие дети. Очень маленькие люди в детских одеждах. Один из них указывал пальчиком на высоко висящие яблоки. Они стали падать и разбиваться, и я понял, что с этой явью у меня не может быть ничего общего.

Когда раскрываешь детскую книгу, то встают и деревца, и домики, и зверюшки.

Я предпочел вернуться на зеленую лавку в саду. Там все только начиналось. Наступали первые заботы. Чем кормить собаку? И какую? Черную, с обвислыми ушами или маленькую рыжую, с хвостом, распустившимся, как цветков астры?

Что подать?... Впрочем, остальные никогда не просят еды. Они ее сами готовят и топят в ведерке с зайчиком снег, если им хочется пить.

Я поднимался по лестнице на крыльцо. У самой двери на террасе всегда стоит стол. Над столом протянут провод. За проводом белеет бумажка, согнутый пополам листок. Там обыкновенно пишут некоторую информацию: кого сегодня будут насиловать, чья очередь раскатывать тесто, кто вытирает кровь со стены и шишечек кровати, кому идти на собрание кооператива, сколько платить за воду и электричество, кто написал стихотворение «Лето будет со снегом...». Оттиск зеленых губ, которые на бумаге всегда уморительно большие, больше, чем они были на самом деле. Наконец, и это всегда начало самого душного из кошмаров, дом будет совсем не тот. Не тот!

Но кто перетаски сюда мои ботинки для чтения Жюль Верна в саду и эту удочку? Почему в двери дыра от ножа, залепленная кружком пластыря, каким закрывают бритвенные порезы?

И это моя кровать, а на ней моя собака. Рыжая, с цветком астры вместо хвоста. Она ест фиолетовое одеяло, аккуратно, ни крошки мимо. Это немного успокаивает, все-таки вопрос, чем кормить собаку, решил сам собой. Она будет есть одеяло. Хуже, если бы это была чужая собака, без имени, никогда не знаешь, чем она начнет питаться. Снова просыпаюсь и вижу поверх моего одеяла тот же сад. Люди орут, плодоснимателями. В просветах блестит река. У них рыжие затылки, и они никогда не оборачиваются. Под ногами в траве извивается маленькая змейка, облепленная муравьями, пробегает автомобиль цвета хаки, тот самый, который ее переехал. С ближайшего дерева вниз головой свисает летучая мышь. Из уважения к тем, кто думает, что это другой сон, я к нему больше не вернусь. И не трюк.

Дом сгорел. Выгорели клены и липы, от которых всегда было так много густой тени. Среди обугленных деревьев неясно как уцелел маленький сарай, бабушка называла его коттеджем, в чувстве юмора ей не откажешь. Он шархнул от огня, да так и застыл, отклонившись назад. Теперь на дверь сарайчика можно поставить ноты, как на поупитр. В ближайшем из снов я так и сделаю.

Сгорел, разбрасывая шифер и стекла. И после этого пожара в нем стало больше комнат. Раньше была одна или две. Люди теснились, укладывались на пол и все укрывались одним одеялом. Хотя их и было 25 человек. Оборванцы эти, огромные толстые дети с широко расставленными глазами и нередко остриженные под горшок, никогда не давали мне места. Мне приходилось стоять и смотреть на это огромное шевелящееся фиолетовое одеяло, испорченное собакой в тот день, когда умерла мама. И оно сочилось ручейками муравьиных тропинок. Оно стонало, это одеяло, оно стонало само по себе, и дети жаловались, что оно не дает им спать.

Иногда мне бросали подушку, чтобы я мог скатать ее валиком и уйти в другую комнату. Туда вела пробитая дверь, пробоину заклеивал кружок пластыря, и сквозь него сочился зимний свет. Зимний день в этой комнате никогда не кончался: никаких поправок на реальное время года он сделать не хотел. Снег лежал за окном, отопления не было, но стояла духота. У стены, подальше от окон, под полкой с железным ночником в сбитом набекрень зеленом колпаке, страдали обе родительские раскладушки, покрытые одним одеялом, жестким, как власница из верблюжьей шерсти. Такие же одеяла терзали окна. В дыру одного из них я рассматривал дорогу, заборчик из жестяных полос и двойной клен, замеченный снегом так, что казалось, будто это два дерева, а не одно. Я ложился под лампу и получал стакан воды с каплей одеколона «Кармен», от которого у меня начинала болеть голова. Все переставало быть, кроме этой комнаты, зимнего дня и головной боли.

Пожар многое исправил. Уничтожив дом, огонь сделал его просторнее. Теперь я уже не знаю, сколько в нем окон и переборок. Одни комнатенки тесные: стул для журналов и кровать для игры в шашки, больше ничего в них нет. Или хуже того, бросят на пол голубоватый дождевик и уйдут, а в одном из его карманов время обкатывает, как голыш, кусочек сахара или таблетку валидола, в зависимости от того, что передразнивает сон, диабет или грудную жабу.

Большая часть комнат выходит окнами на дорогу. Владельцы дома обзавелись бледно-голубой волгой, которая время от времени подходит прямо под окна. Раскрываются ворота. Нет больше старой калитки из четырех глазастых досок – широкие желтые створки!

Хозяев много. Сначала меня это несколько беспокоит, хочется сказать расположившимся в комнатах:

– Давайте уйдем отсюда, возможно, где-то есть потайной ход, лестница на крышу, что-то еще. Хозяев много. Их дети, жены, старухи, кто-нибудь может сюда войти.

Игра в шашки продолжается, копошение под одеялами я не могу остановить. Они только смеются потише, а я уже вижу, как хозяйева с детьми и старухами достают из-под дома стулья, лопаты, грабли, электроплитку. Одни отправляются обрабатывать сад, а другие готовят еду в сарайчике, откинутом, как пюпитр. Приезд хозяев – настолько обязательная часть кошмара, что к ней быстро привыкаешь. В конце концов, это самые безопасные люди, в дом не суются, на окнах не висят. И путешествие по комнатам продолжается.

Есть комната мрачная, с проводами на полу, с двумя узкими кроватями, стулом из фанеры и трубок, больничной тумбочкой, квадратным будильником, парой кирпичей под окном, кастрюлями, чайником и глубокой сковородкой без крышки, в которой разбухает желтый цыпленок, разрезанный пополам, по крыше шумит весенний дождь. Если отодвинуть фиолетовую занавеску окна (почему и ее сшили из бабушкиного халата?), то увидишь, что волга еще не въехала. Хозяин вышел из машины и возится с замком у ворот. Если смотреть из окна этой комнаты, то видно, что замка ему никогда не открыть. Какое-то время проходит, и волга отъезжает. Дорога будет пустой и сухой, несмотря на шум дождя.

Две женщины есть в этой комнате. Каждая спрашивает из-под одеяла. Для каждой своя половина цыпленка. Каждая спрашивает из-под одеяла, которая из них лучше. Мясо еще не прожарилось, они будут есть его сырым, когда я уйду.

У левой от входа стены, на кровати с панцирной сеткой, под зеленым одеялом, натянув его на подбородок, спряталась первая и спрашивает, когда будет готова курица.

У правой, рогатой от пустых вешалок (а рожки вешалок улиточные, с шариками, очень чувствительные, прячутся, если к ним прикасается чужой), стоит кровать с блестящими шишечками; у прутьев спинки есть руки в серебряных перчатках, они вцепились в перекладину, вцепились, как сведенные судорогой. Кровать накрыта гобеленчиком с геометрическими цветками в красную, черную и белую нитку. Очертания цветков напоминают отвратительную маску, кайма цепочку. Поверх гобеленчика, только что из-под него выбравшись, лежит еще одна. На ней бежевые вельветовые брюки и черный свитер с горлышком, подтянутым к подбородку. Поэтому она не торопит курицу. Ей бы сосисок с рисом, розовых, без всякой приправы, раздетых в холодной воде. Когда их достанешь из кипятка и опускаешь в ледяной ковшик, полиэтиленовая шкурка сама сползает, и видно, что они все-таки испещрены родинками черного перца. Ей становится интересно, сколько родинок у нее на теле. Но считать их приходится

на сосисках, ведь она совершенно одета. На 64-й или 65-й родинке я сбиваюсь со счета. Я говорю ей: – У тебя есть лицо. Покажи мне свое лицо. – Но там совершенно нет родинок.

Стул из фанеры и трубок тоже участвует в игре. Во-первых, на нем тоже есть родинки. Во-вторых, если на сосисках, раздетых в холодной воде, не наберется пяти десятков, то их надо досчитывать на сидении стула. И когда я начинаю, то с другой кровати поет:

Я вас приглашаю на интим.

Если только с вами захотим,

Мною приготовлена уже

Комната на пятом этаже.

Поется это медленно. Грудная густота голоса не оставляет никаких сомнений в намерениях этой поющей из-под не надкусанного, целехонького одеяла (разве что крошечная бархатная заплатка, посаженная на клей: кто-то оставлял на нем сигарету). Она встанет, играя хорошо натренированным животом, одним шагом преодолет расстояние между стулом и кроватью, усядется верхом на стул, положив руки на спинку, голову на сложенные руки склонит, глаза прикроет, замолчит. Поскольку из-под своего зеленого одеяла она выходит голой, то, когда она встанет, родинка на стуле не останется. И тогда уже вся разбухшая в глубокой сковородке курица – это ее еда.

Она присядет над сковородкой на корточки, будет нюхать пар и просить меня, чтобы я перевернул птицу. Если я этого не сделаю, она станет поливать кожицу песочной жижей до образования трех острых башенок, дышащих и обваливающихся по мере набухания тушки. В том случае, если мне удастся найти не выход из комнаты, а лопатку для переворачивания мяса, присевшая улыбнется, зная, как я любил ее смех, которого во сне никогда не слышно. Но перевернуть удастся только одну половину курицы. В местах тесного соприкосновения со сковородкой мясо обжарилось, а вот ямочки на нем полны сукровицы, в которой плавают мертвые муравьи.

Ее крестец имел вид бархатистого ромбика, и, когда она садилась на корточки, под ним расплывалась чудная чеширская улыбка, а вот плечи покрывала сыпь, свидетельство того, что в этих местах кожа охотно и часто потеет даже во сне. Над ней на витом шнуре висела голая лампочка. Иногда она двумя руками расправляла и рассыпала волосы, склеенные водой в лениво выющиеся пряди. Волосы никак не сохли. Она только что побывала под дождем, успела раздеться, юркнула под одеяло, а там ей стало тепло. Маленькие стального цвета многоножки, извиваясь, ползли к ней по желтым половицам и, едва коснувшись головкой ноги, скручивались в пружины. Когда она выпрямится и, опустив голову, повернется ко мне другой улыбкой, я, может быть, проснусь на скамейке в саду с моим зеленым Диккенсом или рогожным Жюль Верном, раскрытым на странице, где собака подбирает кубики с буквами Эс и Вэ. Эта область яви не так безмятежна: прочитаешь главу-другую, и перед тобой появится незнакомый мальчик, чтобы продать тебе салатную наваху с серебристыми гвоздиками и стеклянным лезвием. Вечером, который тут же и наступит, к стеклу прилипнет вытянутое лицо маньяка. Этот уродовал детей 27 лет назад, а ненадежный стеклянный ножик будет единственной твоей защитой, тут же сломается в воздухе, и в руке останется зеленая рукоятка.

Правда, может зарядить дождик, и тогда никаких маньяков, на всю ночь, на целый день. Мелкий и теплый, и книга будет оставлена ради грибов. Вместо кошмара во сне мне выдавалась и такая погода. И такая спасительная прогулка, когда теплые испарения сверху пронизывают редкие длинные капли.

Зыблющиеся деревья опускали в пар неподвижные ветви и растворяли в нем всю резьбу распаренных листьев. Стоял вечерний сумрак, иной пень, правда, весь обливался ярким отражением мутного небесного света, как будто в этой призрачной мастерской со скрытыми подробностями его только что покрыли лаком, и неожиданно ярко в свежей режущей траве смотрелся лист, который, приняв от влаги выпуклую форму, мог бы издала, цветом желтой охры, обмануть пристального грибника, разглядывающего землю из-под громкого от капель капюшона и стоящего одной ногой на шляпке настоящего тугого моховика. Все это бывало убито сном, возвращением в комнату с электроплитками, проводами и стальными многоножками.

В саду возвращенном тоже кое-что менялось. Под забором вырастала малина, и прямо в нее, колючую, девочка, лет, может быть, девяти, с желтыми ороговевшими пятками, плотненькая, с

мягкой ложбинкой на ореховой спине, ставила детскую белую ванну. В ее каштановых волосах над короткой толстой шеей блестело несколько обесцвеченных солнцем перышек. Девочка ложилась в ванну, исколовшись шипами малины, бралась руками за края, мотала головой, шмыгала носом, закрывала глаза, водила языком по верхней губе. В пустой ванне девочка играла в утопленницу. Ей казалось весело тонуть в ванне без воды, пачкая ее грязными ногами.

Большие дети из другой какой-то никогда не горевшей, никогда не существовавшей комнаты, где они одетые стояли на полу, рвались сюда посмотреть в окно на заоконное лето, малиновые кусты и голую девочку в ванне. Кто-то их не пускал, но они терлись о двустворчатую дверь, их пальцы скребли дырку, заклеенную кусочком пластыря. Наконец двое пробрались в комнату. Их зовут Миша и Олег.

Олег, похожий на моего шурина или сразу на двух моих шуринов (оба были смуглые и перовобитные), ел копченую мойву из фальшивого: картон, грубо раскрашенный под дерево, чтобы рыба не задохнулась. Пальцы блестели, к губам липли перламутровые перышки. Толстый Миша с красным от солнца и пива лицом готов был выдавить наружу оконное стекло, и я боялся, что он наступит ногой на сковородку с курицей.

– Их надо прогнать, – говорила голая девочка в ванне, нежась на солнышке и делая вид, что плещется.

– С ними весело, они помогут тебе сосчитать мои родинки на сосисках, – доносилось из темного угла комнаты.

Другая была так занята курицей, что Миша и Олег ее не смущали, она перемещалась на корточках у них под ногами, а те были так заняты окном, что ее и не видели. Если бы не этот шум, не дети и не сосиски, я бы хотел остаться в этой долгой комнате навсегда, пока длится сон, но приходилось просыпаться и видеть поверх одеяла сад.

Уже другой, заросший, засохший, густой, насквозь просвеченный нехорошим серым светом. Почему-то этот сад разбит на маленькие участки; остатки изгороди тут и там оплетает ползучая трава. Трава цепляется за ржавую проволоку, то голую, то колючую, гнилые столбики падают, и вьюнки перевиваются вокруг деревьев. Нужно смотреть и лежа проходить мимо остатков каких-то строений. Там уцелел только угол дома, там рама с облупившейся краской, там кружевные грибы, как соль, разъедаю опоры обрушенного навеса.

Лежа, как больной, которому запретили вставать и над головой которого продолжают кромсать масляным ножом цветные карандаши, лежа на спине смотреть вдоль труб водопровода и шпалер дикого винограда, в которых застряло битое стекло и грязные тряпки, полные убитых сороконожек...

И закрыть глаза. И не лежать. И не смотреть. – Уйти в темную глубину снящегося дома.

2001

Комната наверху

Альтлиппер и Бирюков, студенты-медики второго курса, курили возле аквариума. Бирюков держал несмятый мундштук папиросы во рту строго посередине, как ребенок соску, Альтлиппер прятал короткую сигаретку в рукав и воровато, порциями, хотя в корпусе еще не запретили курение, пускал дымок из ноздрей. У каждого, следовательно, была своя манера курить, а вот халаты на обоих были одинаково мятые, со следами кислот и щелочей. Я всегда удивлялся тому, что и кислоты, и щелочи оставляют на белых халатах одинаковые пятна. Халат не лакмус, и эти пятна коричневые. В воде цвета спитого чая, под лампой обогревателя плавали золотые рыбки. Огромный аквариум их был точным продолжением вверх шестигранной тумбы желтого цвета, собственной подставки. Альтлиппер устался в пол коридора (поэтому он меня не заметил), и его ресницы казались мне подкрашенными комковатой тушью, на полу медовые шестигранные плитки и такие же маленькие серые, наверно, соты с медовыми личинками, вели в душ, в туалет, и по ним, как по бляшкам пешеходного перехода, пробегали грезы Альтлиппера о собственной привлекательности. Все-таки, душ и туалет были женскими. По лестнице, громыхая дырчатыми ступенями, натертыми до зеркального блеска (железными ступенями тюрьмы XIX века) поднималась третьекурсница. Родом из Похвистнева. На голове махровая чалма, и Бирюков, глядя на розовые бедра, открытые

для него снизу больше, чем обыкновенно, вспоминал, что видел у нее над пупком большой перламутровый осколок речной раковины. Это было в прошлом году, в лагере, когда во время отработки пропущенной физкультуры все составили грабли в сарай и пошли купаться на озеро с ракушками на дне и грязью, изрытой коровьими копытами, в следы который приходилось наступать босиком. И Бирюков поразился тому, что старый шрам от фурункула похож на изнанку разбитой перловицы. Этих двоих, Альтлиппера и Бирюкова, в прошлом году еще мало что связывало.

Альтлиппер был студентом последнего ряда, мест, приспособленных для того, чтобы дуться в очко и дуть пиво через трубочку, опущенную в горло канистры. Как мундштук кальяна, эта трубочка переходила от студента к студенту. Бирюков не отказался бы от пива, но только не на лекции, и он никогда не взял бы в рот короткой кисловатой «Плиски», которую курил Альтлиппер. Альтлиппер был высокий, желтый, с длинными золотистыми волосиками, распущенными по плечам, как и у меня самого, но только с баками на еще детских, кругленьких щечках, с острым девичьим подбородком и курносый круглым носиком. О свойстве его густых ресниц казаться ухоженными я уже говорил. Он носил очки, сутулился, вертел головой, пряча ее в приподнятые плечи, и старательно придумывал сальности, которые так восхищали Бирюкова, и которые он, очень аккуратный, начал за ним пересказывать. Бирюков был студентом первого ряда. Из-за своей близорукости он занимал ничем не заслуженное место среди отличников, переспрашивал лектора, сбивая его с мысли и добиваясь буквального повторения именно тех слов, которые он не успел записать – и быстро сгибался над тетрадкой. Писал он, что называется, носом, и только когда уставала спина, он распрямлял свой широкий торс, и я видел его красную, толстую, выбритую шею.

Принадлежа к разным студенческим кругам, Альтлиппер и Бирюков даже учились не в параллельных группах и, возможно, совсем не замечали друг друга. Но вот, – это случилось за два дня до начала 1978 года, – оба они на свадьбе комсорга и профорга (не помню, как расположить их по половым признакам, но уверен, что свадьба была абсолютно гетеросексуальной) Альтлиппер и Бирюков встретили сорокапятилетнюю женщину – и стали делить ее между собой. Помню, у нее был маленький рот, запавшие щеки, крепкий круп и маленькая грудь. И общая страсть их как-то сблизила. Им понравилось прилюдно зваться молочными братьями, и потом из них полез еще какой-то особенный скотский юмор, и маленькую, бедную Лену Перелом они стали звать Лена Перелом Члена. Правда, больше никому кличек не придумали, а все доценты или профессора, сколько-нибудь замечательные своей внешностью или фамильярным обхождением со студентами, уже получили свои прозвища и носили их более-менее явно задолго до того, как мы поступили в институт. И вот что еще может быть интересно, по имени оба были тезки.

Я спустился в подвальную библиотеку. Злобная от холода и сырости женщина должна была поставить печать в моей бумаге. И, к удивлению моему, она сделала это сразу. Посмотрела в мой пустой формуляр, хмыкнула в шаль на груди (а другая грела ей почки): что же это я, и книг у нее никогда не брал? Мои родители всю жизнь собирали медицинскую литературу, отвечал я, давая тошнотой и не зная, как теперь возьму заверенный документ. И все это из-за ногтя у нее на правом большом пальце, заклеенного пластырем, да еще и мокрым. А на кресте они такие вот и стояли. Место с аквариумом называлось крестом, потому что там пересекалось два коридора. Альтлиппер, кажется, меня не заметил. Бирюков пожал мне руку. Выходя из корпуса, я прятал обходной лист во внутренний карман пальто. Один из них курил «Беломор», другой смотрел в сторону мочи и мыла. Я старался не дотрагиваться до дурного, как будто еще влажного, края листа со штампом библиотеки. Такими вот и запомнил их, под золотыми рыбками. Немые рты в желтой взвеси собственных испражнений, которые они, кажется, принимают за корм. На улице шел снег. Из ворот через дорогу вышел черный мужик в ватнике и домашних тапках.

Потом он часто попадался мне на глаза. И я видел его то с санками, то с тележкой, в зависимости от состояния тротуара. На тех и на другой стояла жестяная ванночка, полная помоев. Теперь этот мужик уже не черный, совсем седой, только та же ванночка, и я не знаю, что им обоим от меня нужно, Альтлипперу и Бирюкову, зачем они пришли из моего холодного, желтого прошлого? Или это от духоты, от того, что с улицы я зашел в перетопленный дом, и в его чаду стал сам себе казаться золотой рыбкой, которая ошибается насчет корма? Или это от того, что вечером идет бесконеч-

ный фильм с Ван Дамом, и он дерется в тюрьме, и нельзя в гостях чужой телевизор выключить, а внутренности нашего общежития с аквариумом на кресте так и остались тюремными? Железные лестницы, переходы с железными перилами в три яруса, и камеры, и в дверях камер, кое-как приспособленных для жизни студента (побольше коек, что ли) – окошечки для раздачи еды и глазки для надзирателей. Или это от того, что хозяйка комнаты наверху спросила меня, кем я работаю.

И отвечать надо было осторожно. Женщины так и останутся для меня непостижимыми существами, и, когда они предпринимают разведку, я с точностью не могу сказать, в какую сторону они идут. В глубину души? В глубину кармана? В таких случаях я говорю свою настоящую профессию, которой выучился сразу, как только забросил медицинскую учебу. Я фотограф.

Я этим хорошо зарабатываю на свадьбах (ложь), а для души снимаю виды старого города, всю эту экзотику, ее теперь остается все меньше и меньше: помойки, колтуны сухой травы, развалины сараев, куда люблю подбросить для большей естественности сломанную куклу, шлемик со звездой, стоптанный сандалик двадцать третьего размера. Всегда ношу что-нибудь такое в сумке через плечо. Я, между прочим, очень выгодно продаю открытки с видами города, старинные, прошлого века, или пишу о них статьи для доверчивых глянцевого журналов. Что-нибудь краеведческое, непременно с ностальгической смазкой, с колыбельным (о Волга!..) эпитафием из Некрасова школьной программы, да и свои фотографии, оригинальные, люблю подмазать таким же восторженным вазелином. Хозяйка слушала меня с пониманием, сжав колени.

В этой комнате наверху мы сидели: она в кресле, я на диване, напротив нее. В одном журнале без принципов, но с голубоватой ориентацией на среднего читателя (атлеты, альпинисты...) она уже видела мои фотографии: Аничков мост со всех коней и кукурузное поле под Тольятти, охраняемое от бомжей казаками, пешими. Этот журнал ей показывала моя сестра, которую я чрезвычайно стесняю на пространстве нашей общей квартиры. Моя сестра считала, что мне подойдет разведенная женщина из ее знакомых, да еще и с такой хорошенькой комнаткой наверху, с паровым отоплением, и мне разрешили проверить, права ли она, чтобы наконец прекратились ежевечерние тихие ссоры с ее семьей и особенно со вторым мужем, и я отправился туда один, мимо старого корпуса, где когда-то учился, мимо слепых ворот ломбарда, и нашел кривой деревянный домик с необыкновенно саблезубым краем крыши и втиснулся на второй этаж. И вот теперь сидим... Босая, в набивном халате. Пальцы ног жевали и слгатывали какую-то сухомятку, и я смотрел на ее лицо, и Отто Дикс казался мне банальным лакировщиком действительности, и я думал о том, что в моем городе самый убогий фотограф... Муж не мог простить ей поступления в институт. Хорошая была семья, только детей... Старики сжалились и добавили ей денег, чтобы она могла купить эту комнату наверху. «Вы, конечно, любите жить в старом городе. Все стремятся сюда попасть».

Ненавижу! Если она будет слишком наглой, то я расскажу ей про себя всю правду. Про мой маленький книжный магазин, который вот-вот разорится, про мои верлибры, про мое пятое место на сетевом конкурсе хокку, про мою продащицу-консультанта, жену лейтенанта милиции, у которой большой палец на правой руке уже полгода мокнет под противогрибковым пластырем, и несмотря на это она думает, что принадлежит к богеме. И расскажу, что один раз я поцеловал ее в губы, и она прошептала, что этим я вернул ее к жизни. Даже не вернул, а пробудил. Именно так она и сказала. И тут же ужасная пропасть отделила ее от спящей красавицы.

Нет, жить на этой улице с рядами ставень, залитых какой-то особенной грязью, так что даже свежий снег не идет завалинкам и крышам, да еще и в этой комнате наверху с нишей для окна и нишей для платяного шкафа... Я, собственно, и хотел бы рассказать об этой комнате.

Потому что, как только вошел, сразу узнал свой фамильярный сон, в котором задыхаешься, и сама муть воздуха не разгребается из-за рыбьих испражнений, а дышать начинаешь после того, как вполне проснешься и выйдешь на кухню и выпьешь холодной кипяченой воды с лимоном из любимой чашки, на которой цветет болезненная, под стать моему пониманию восточной философии, китайская слива. Нужно еще бывает уставиться в мелкую рябь иероглифов, которая струится беспорочно вниз по краю рисунка до красного квадратика печати (два знака, самых несложных, я мог бы разобрать), чтобы осмелиться сделать полный вдох и сказать себе: в девять надо быть на работе!

Да что в комнате, даже на лестнице – такая узкая, что на ступеньку двумя ногами не встанешь, и, как ни прижмай руки к бокам, а рукава пальто вызывают неживой шелест в березовой роще Шишкина и глянцевого шорох в его же ржи и шепот и топот тихой паники в рядах наездниц и еще каких-то незнакомок, вдавленных в стену давними-давними кнопками, как будто им всем страшно, что сейчас их вытряхнут из ландо и из манто. Даже на этой лестнице все происходило в сущности так, как в нехорошем утреннем сновидении. Добрейший Фрейд предлагал тебе родиться заново, но только побороть нужно не тесноту материнского лона, а какую-то фантастическую клоаку, фантастическую, впрочем, только с первой потуги. Потом понимаешь, что преодолевать приходится проход, заставленный наиболее отталкивающими приметами родного города. Не знаю, видят ли такие сны те, что отсюда уехал и живет в каком-то хорошем месте. Приходится ли им так же, как мне, пробираться в коридорах из кирпича, крестообразных дранок, пакли, волос, пыли, расталкивать занавеси, покрытые клопами и другими отвратительными насекомыми, обходить по стенке гипсовых друзей с конечностями из пружинистой проволоки, путаться в лентах живой желтой бумаги, копошащихся рыбьих кишках, наступать на мертвых остриц и аскарид, исторгнутых каким-то первопроходцем. И обязательно впереди кто-то идет.

И вот, хозяйка комнаты наверху, про которую никто не скажет плохо, поднималась по лестнице, шлепая шлепанцами в пятки и распугивая сидящих по березам тараканов. Нехорошо это, всюду совать фольклор светлой памяти Билибина и Афанасьева, а все же мне показалось, что насекомые прыгают прямо у нее из рукавов, и один из них расправил крылья и спланировал мне на грудь, а другой хрустнул под носком моего ботинка.

К чаю было варенье из черной смородины и булочка, переначиненная засахаренным маком, который с блеском черной икры сочился из нее на блюдце. Я люблю сладкое, но только к вазочке с засахаренными ягодами и булочке без осетровой морды и плавников примыкала стопка книг, среди которых я узнал пухлый том «Анатомии человека», довоенное издание Тонкова. Тонков махнулся изодранным переплетом, там и сям была видна проклеенная марля, из-под нее – стопки согнутой желтой бумаги, прошитой ржавыми скрепками. Тонков почитался лучшим учебником в силу обстоятельности и большей доступности изложения, а старая номенклатура была вытравлена из него карандашами добросовестных отличников еще в моем поколении. Помню, как они сидели в анатомическом кабинете, смахивали слезы от паров формалина и, положив эти книги на стол, заляпанный человеческим жиром, изгоняли из них Фаллопия, Евстахия и другие добрые имена открывателей. Моя хозяйка так и не поняла, отчего ни варенья, ни булочки я не захотел. Поверх стопки лежала книга поменьше, но такая же серая и засаленная студенческими завтраками. С монографией Кнорре у меня было совсем другое воспоминание. Вот они, Альтлиппер и Бирюков. Незлые. Хорошие студенты.

И вот он, момент их ссоры. Не помню, для чего в день пограничника нас выгнали на городскую площадь и расставили в декабристские каре перед трибуной, не разобранной после майских праздников. Приехало телевидение. По каре раздали спортивные флаги. Альтлипперу достался зеленый. Бирюкову ничего не досталось. Лениво развернулось и повисло полотнище цвета переросшего салата. Мы стояли так час и другой, пуская по рядам шутку, что сейчас подвезут артиллерию. Начинались брожения, ряды расстроились. Альтлиппер, щекой прижимаясь к поющему алюминию своего флага, подошел к Бирюкову. «Возьмешь флаг?» – «Не возьму». – «Ну, будь другом, поддержи десять минут. Надо...» – И Альтлиппер скабрёзно объяснил Бирюкову, для чего ему надо отойти с друзьями в сквер напротив. – «Десять минут», – предупредил Бирюков. Сквер пользовался дурной славой. Они сверили часы. Ровно через десять минут честный Бирюков посмотрел по сторонам, как будто даже и не задерживая взгляда на сквере, где собирались педерасты, никакого Альтлиппера не увидел и спросил у меня: «Возьмешь флаг?» – Я ответил, что не возьму, понимая, что мне придется пешком идти с трехметровым древком в институт, и ни в один трамвай меня с ним не пустят. Бирюков задал этот вопрос еще кому-то. Ответа не дождался. «Тогда», – сказал он и отпустил флаг. Трехметровая трубка со звоном упала на асфальт площади. К нам, раскидывая колени, понесся полковник с военной кафедры, но мы уже вышли из каре и медленно, через всю площадь, направились к остановке автобуса. Монография Кнорре была в тот день в портфеле у

Бирюкова. Он читал ее стоя, зажав портфель ногами и держась свободной рукой в браслетке часов за поручень над головой. И тут же, у блюдца с беременной булочкой, дала о себе знать маленькая бледная Лена Перелом. Я и ее вспомнил с этой книгой, под сводчатым потолком, в который вонзались прямые квадратные трубы вытяжки. Сиреневые круги у глаз и хрупкие, сухие, нечесанные волосы. Все-таки хорошо, что я не видел ее мертвой. Я опоздал на похороны, пока пытался сориентироваться в пригороде, и, когда пришел к ее дому, автобусы уехали на кладбище, и в квартире мыли полы. Лена Перелом умерла от лейкемии в девятнадцать лет, а все время, что я ее помню, она напряженно заучивала латинские названия костей, связок, отверстий в черепе и тоже гоняла карандашиком Фаллопия из своего Тонкова, только собственного, из родительской библиотеки. И однажды, у двери химической лаборатории с толстыми прямыми решетками на окнах, я подслушал, как она бормочет какой-то пассаж из монографии Кнорре. Этой книги в нашей институтской библиотеке было не больше пяти экземпляров, и студенты-отличники рвали ее друг у друга из рук, хотя и считалось, что читать ее не обязательно.

Хозяйка комнаты наверху сняла бигуди перед моим приходом. Сваренные вкрутую, они горкой щетинились на подоконнике и производили впечатление убитых морских животных, только что лишенных способности бегать на боку и даже на спине. Кладбище горбатых кораблей за окном могло бы утолить голод художника, который, как я, кормится видами старого города. И я успел пожалеть, что со мной нет мыльницы, и мысленно вылез из окна и навел видоискатель на разнообразные жестяные и шиферные покрытия, кирпичные трубы, коричневого дохлого kota и чердачные окна с закругленным верхом, в которых, как мне кажется, больше соблазнительной старины, чем в прямоугольных. Иногда я испытываю жгучую и яростную любовь к старине, к подсвечникам, к пышным платьям, к чугунным решеткам. В одном из моих верлибров написано, что женщины прошлого всю жизнь носили подвенечное. И я до самозабвения, вприсядку и вприпрыжку, люблю фотографировать одну скрытую от постоянных глаз достопримечательность – сложный чугунный фонарь над входом в голландский домик, уцелевший в одном из старинных дворов. Быстро темнело, и низкая, душная комната из страшного сна наконец перестала требовать от меня, чтобы я немедленно проснулся и прочел несколько иероглифов, и это случилось благодаря лампочке, загоревшейся в интимном месте, в пустой нише между книжным и бельевым отделениями серванта. Я хотел рассказать о комнате? Теперь о ней больше нечего.

Очень скоро, с наступлением темноты, комната наверху наполнилась. Хозяйка, оказывается, пригласила на меня всю свою группу. И, как только они вошли, выскочила за дверь.

Полумрак возился у вешалки. Полумрак почтительно молчал, полумрак принюхивался. Впрочем, сопение десяти пар ноздрей могло быть вызвано и не моим присутствием: простая весенняя простуда. Чья-то шерстистая рука в браслетке часов поставила на стол портвейн, дешевый, кажется, «Кавказ» или «три семерки». В серванте нашли высокие бокалы, и один уронили на ковер, но разбился не он, другой, тот, на который наступили, когда нагибались за первым и выронили его из рук. Передние ряды носили белые свитеры под горло и длинные юбки с высоким разрезом с левого бока, черные колготки, отливавшие сальцем студенистой плоти, и белые носки из мохера. Все в целом смахивало на униформу, установленную бедностью воображения, но в задних рядах пряталось и не спешило показываться нечто более разнообразное. И все перемешалось, когда в бархатном зеленом платье вернулась хозяйка, и группа завизжала, что она сейчас порежется, так как мелкие осколки фужера ушли в майскую лужайку коврового ворса. Она успела что-то сделать с головой, но не надела ни туфель, ни чулок, зато ногти, всюду, где были, покрыла темно-вишневым лаком. Теперь ее плоское ромбовидное лицо, пугающее широкими зубами и нарумяненными, в блесках, маслаками, не казалось таким отталкивающим. По-моему, она взбила завитки и скрыла уши. Поставили музыку. Группа столпилась в медленном танце.

Под низким, заклеенным миллиметровой бумагой потолком я разглядывал всех членов группы, которые до этого времени оставались невидимыми. С потолка до уровня моего подбородка свисала мертвая лампа с абажуром в виде наполненного ветром паруса, но только опрокинутого. Этот парус был треугольным, и я успел получить в ухо одним его острием, и все это омрачалось

тем, что хозяйка поочередно чиркала бедрами о серную головку предмета, нисколько от моих чувств не зависящего, и свои умышленные исследования сопровождала одобрительной улыбкой, и тем больше укрепляла его в позиции, чем скромнее потуплялась. И, почти брезгливо, у самой вешалки, растопырившей дутые валики курточных рукавов, на спине самой непривлекательной, горбатенькой униформистки, нашупывал, сквозь свитерок, застежку Альтлиппер. Я сразу его не узнал. Это из-за того, что свои жирные волосики он собрал на затылке аптекарской резинкой. Но, когда он тряхнул хвостиком, подмигнул мне, взмахнув подкрашенной ресницей, то все сомнения рассеялись. Я даже не стал досматривать, есть ли где в этой комнате на верху Бирюков. Они ведь давно были в ссоре из-за спортивного флага.

Ошибка! Другой долговязый парень, у самых у дверей, утиравший тень под носом совершенно по-мужски, указательным пальцем, когда его окликнули от стола с портвейном, вдруг отозвался на Катю. И рыжая девица, которая подала ему бокал (Валя, насколько я запомнил), матюкнулась басом и внезапно переменяла пол, когда немного вина пролилось на муравчатый ковер. Пушистые рыжие бакенбарды я в полумраке принял за крошечки и даже успел полюбоваться ими издали. И вот, поворачиваясь против часовой стрелки, уходя от назойливых бедер моей партнерши, которая совсем обнаглела, я стал внимательно испытывать каждую. После того, что со мной произошло, я стал придирается даже к юбкам, подозревая, что ошибки будут множиться. И, словно мне было пятнадцать лет, когда всякий танец превращается в пытку, я чувствовал, что близится такая неприятность, после которой меня спасет только бегство.

Переступая шлепанцами из шкуры безжалостно убитого медвежонка, хозяйка подталкивала меня к дивану возле стола с книгами и вином. На одном ее шлепанце я успел рассмотреть бровь, печальную чайную соринку, на другом – красный язычок из фетра и светлое пятно в форме вырванного носа. Когда этот неприятный и опасный танец кончился, на диване хватило места не всем. Меня прижали к столу с бутылками и кипой книг.

Альтлиппер все еще топтал свою горбатенькую, убогую, уминая в кадке последний слой рубленой капусты, хотя в интимной нише под лампой огромная муха магнитофона с расставленными кошмаром сетчатыми глазами давно издавала пластиковый треск невидимых крыльев. Дело в том, что рука Альтлиппера до того втерлась в доверие к девушке, что со спины перескочила лодочкой на грудь и делала там такое движение, будто протирала тряпкой холодное запотевшее стекло, а между тем горбатенькая злобно скошенным глазом поймала мой взгляд, и я, поняв, что созерцающий грех уже грешит, отвернулся от них в оконную нишу, чтобы там поймать ее одинокое отражение, которое надвинулось, уселось в кресло напротив меня, втянуло ноги и запрокинуло к потолку маленький нежный подбородок. И кто-то сильным солдатиком вошел между Катей и Валей на диван, куда те еще раньше как-то втиснулись, игриво делая задами то, что кошки лапами на мягком. Самому дивану тесно было тоже, и он давно (я думаю, как только его внесли) заехал под стол, и стоило усилий слепца нащупать за свисающей из-под желтой скатерти клеенкой валик моего края. И все-таки, как в автобусе, во время бортовой качки, инстинктивно хватаешься за край сидения, я за него ухватился. В правую руку, свободную, чтобы чем-нибудь ее занять, дали вино по имени Белое Крепкое, а по цвету настойку грецкой перепонки, и я его отпил, думая спросить у них, что теперь делается в институте, где я полтора десятка лет оставил Альтлиппера и аквариум. «Какие такие рыбки?» – Катя и Валя веером выглядывали из-за плеча хозяйки, тянулись ко мне и отвечали.

...может быть то, что я хотел услышать, чтобы убедиться в справедливости принятого тогда решения: чего бы это ни стоило, бежать из омертвевших мест. Покидать их только ради смутного подозрения, что где-то, в другой стороне, все еще не так. Хуже всего то, что опять приходишь к набухшему пластырю. И поэтому мне особенно приятно было услышать, что в этом институте, если не считать разбитого аквариума, ничего не меняется. Бережно хранится главная его традиция, пугающая не только заезжих студентов, но и столичных светил – относиться к студентам как к сору. Клички преподавателей так же прочно окаменели, не желая подчиняться законам испорченного телефона. Мандибулу все так же зовут Мандибулой за тяжелую нижнюю челюсть. Слово в слово передается легенда о загнанном на чердак, а потом оставленном на второй год наглеце, от которого

Мандибула впервые услышал свое прозвище. Огурца зовут Огурцом, и к этому больше нечего добавить. Мне всегда хотелось думать, что дело не столько в лысой вытянутой вверх голове, сколько в каком-то квашеном тембре его речи, в чудовищном несогласовании слов, какое теперь расцветает в компьютерных переводах, а тогда появилось в результате освоения научной речи людьми из низов. «Благодаря трудов» было не единственной приправой его пономарских лекций, и многих из нас это развлекало. Куда-то пропал Катетер. Но и тут позаботились, чтобы имя не забывалось, и его кличку унаследовал молодой доцент – тоже очень хороший человек и тоже носит в нагрудном кармане халата никелированную трубочку, и тоже в соседстве с паркером, подаренным кем-то из пациентов, навсегда избавленным от мучительной непроходимости. И один гениальный хирург прямо с того света выпустил книгу своих афоризмов, которые в печатном варианте приобрели назидательный тон и вялость, так, словно бы покойник оказался не способным сохранить живое остроумие, но не может отказаться от привычки шутить даже в таком случае. Я видел белки этой книги, когда в типографии читал свой журнал, то есть журнал с моей статьей и афоризмами Неверова (мертво-рожденными, как и этот мой псевдоним). Считать ли не знаю переменной то, что к традиционным унижениям студентов добавилось вымогательство взяток во время зачетной недели? Если это так, то не забудем, что унижение было родом скрытого вымогательства, и тогда, в сравнении с прошлым, там действительно обозначилась некоторая дерзновенность.

Катя и Валя рассказали кое-что еще. «С некоторых пор у нас зачетную неделю стали называть залетной...» Край стола резал мне плечо, рука хозяйки играла в покойника на моем колене. Оставалась там, пока я не поставил на стол пустой бокал и не попытался накрыть ее своей. Покойник, несмотря на восковую холодность, оказался игривым, увернулся. И вот, последняя новость. На сексуальном вымогательстве попался декан третьего курса. Это уже что-то, хмыкнул я. Мне, как всякому недюжинно скверному студенту, он испортил немало крови. А после этой истории он отлежался в кардиологической клинике, спасся от суда и перешел преподавать основы физиологии в только что открытый лицей. Я помню его прическу под Брежнева, смешную, в сочетании с бабьим лицом и уверенную походку бывалого моряка, свойственную многим из тех, кто страдает аденомой простаты.

«Он приставал к моей девушке», – сказал Альтлиппер, возникая между Катей и Валей. Теперь уже не могло быть никаких сомнений в том, что это именно он, вот тут сидит и показывает мне на примере Катиной груди, что с ней делал этот отвратительный старик. Это его удлинённые, тупо срезанные ногти стучат по твердому пластику Катиной груди, судя по звуку, довольно не полному. В открытую форточку вскочил тот самый коричневый кот, которого я уже раз поймал в воображаемый видеоискатель, кот прицелился было на скатерть, но рассмотрел там бокалы и задумался. Какое-то время он оставался на форточке, ему явно не нравилось, что в комнате столько людей. И я догадался, что при жизни, до того, как весь день проваляться на ржавой крыше, он был белый. Хозяйка, сказав: «Это мой», – повернулась, чтобы что-то ответить Кате. Тем временем Альтлиппер, по-девичьи взвизгнув, освободился с дивана и двинулся в сторону оконной ниши. Альтлиппер сюсюкал с котом, тянул к нему руки, но споткнулся о вытянутые ноги горбатенькой и свалился на нее, растопырив пальцы. И, пока он так оставался в положении Пасифаи, я успел рассмотреть еще одну забавную перемену, которая произошла с ним за последние пятнадцать лет. Нет, быть этого не может, говорил я себе, все еще не понимая, с чего бы это так раздался его зад и почему на выгнутой спине под белой водолазочкой проступают какие-то лямки?

2005

Птичий помет

Больные и сторожа – читатели поневоле. Каких только гнусных книг и журналов я не читал, пока мое пространство держалось в пределах больничной палаты или сторожевой будки с видом на развалины старой синагоги. И все было уныло, пахло пухлыми клопами, пугало юркими прусаками, и однажды на косяке scarлатинного бокса я увидел блестящего таракана, самца с рогатой жопкой, дрожащей от вожделения, и больше уже не спал от ужаса, и боялся позвать нянечку или

сестру, чтобы его прогнали. Я еще тогда не знал, как могут завязаться между собой в холодной окопной войне птицы, время, смерть, каллиграфия и моя недогадливость, которая подключалась к стратегическим действиям только тогда, когда мне запрещали вставать с постели или когда меня заставляли сидеть. И только в детстве я болел шикарно.

Не потому, что тогда меня лечили всего лишь покоем. Покой-то казался мне горше порошков и страшнее банок, от которых на спине остаются олимпийские кольца разного цвета – наглядное пособие по изучению стадий рассасывания засосов – а потому что мне каким-то чудом удавалось поболеть дома, а это важно, когда тебе по возрасту неприятен самый удобный путь ко всем смертным грехам – лежание. Любил я особенно те дни, когда моя койка стояла на длинной веранде наемной дачи, так что справа от меня тянулись горизонтальные бревна бледно-зеленого сруба, а слева, в саду, стояли живые деревья: несколько слив, шесть яблонь. Вход на нашу половину размещался в моем изголовье. Дальше была душевая кабинка, по ржавой бочке поползши тюкали клювами. А в ногах, взлетая от перспективы некрашенных половиц, мрачно густела отцветшая сирень, под которой на солнце сияла соломенным светом лужайка, и оттуда наши коты, брезговавшие мышами, приносили полужадушенных ящериц без хвоста (напрасная жертва в случае с кошкой) или замуколенные кусочки змей, все еще верткие и способные прыгать по полу. И над лужайкой при ветре двигал вершинами настоящий лес, откуда веяло приятным холодом и такой же грустью.

Заболел я всегда во второй половине августа, и без того невеселой, и без того дождливой, курточной и сапожной. Просто не знаю, каким образом именно тогда я схватывал не простуду, а тепловой удар. Я плакал от головной боли, потому что очень ее боялся, и вынужден был соблюдать постельный режим еще десять дней после того, как эта боль, похожая на пыточную шапку, которую на меня нахлобучили и не позволяют сорвать, съезжала, наконец, набекрень, а потом и вовсе проходила. Вот тогда лежание становилось мучительным, потому что оно заканчивалось переездом в город и возвращением в детский сад, а позже в школу.

Кочка моя была легкая, раскладная, и задолго до завтрака ее ставили на террасу и там оставляли меня лежать одного, а сами еще спали и спали. В саду лежала тень до самого полудня, только потом она светлела, и узкая солнечная полоса начинала медленно расширяться, сначала в траве, а потом она захватывала половицы террасы, и тогда паучки-сенокосцы взбегали вверх по серым опорам парапета. И тогда обе двери, хозяйская и наша, наконец раскрывались, и выпавшие взрослые начинали готовить завтрак. Дольше всего закипала вода, электрическим плиткам не хватало энергии. За ночь кто-то вынимал паклю, набитую в щели сруба, и она, полная пыли и насекомых, среди которых попадались и завозные тараканы, висела угрожающей бахромой и колыхалась над паром хозяйских кастрюль, откуда пахло то вареным грибом, то вареной рыбой. Остаться наедине с шевелящейся паклей не хотелось. Бабушка присаживалась у стола, рядом с бугристым полотенцем, которое накрывало от ос вазочку со смородиновым вареньем, а заодно и все чашки, миски, стаканы с ложечками, которые забыли в них после завтрака. Я не любил этого смородинового варенья, оно у нас было всегда, всегда. Бабушка посвящала мне полчасика, читая «Повести Белкина». Странно, но уже тогда я чувствовал, что в этой ложно-русской фамилии есть какой-то подвох, и говорил ей: бабушка, читай Бялика, потому что так мне казалось правильной.

Бабушка вносила в «Повести Белкина» некоторые поправки, по-видимому, воспитательного характера. В ее исполнении они начинались «Барышней-крестьянкой», и в них не было «Гробовщика», так как бабушка не хотела, чтобы я страдал ночными фобиями и не давал ей спать. Не знала она только того, что в пять лет я совершенно не боялся мертвецов, что они скорее вызывали у меня любопытство, если спокойно лежали в гробу, как будто спят. Помню, что я тогда не замечал трупных изменений на лице или на руках... Бабушка хотела спрятать от меня смерть совсем так, как это делают в школе, путем умолчания, она не знала, чего я пугался на самом деле – ее седых волос, заплетенных, как у девочки в две косы по бокам, ее раскатисто-пытящего храпа в комнате, занавешенной шерстяными одеялами так глухо, что не видно было ничего, даже руки, поднесенной к лицу. Потом, как это всегда бывает при чтении прозы Пушкина, бабушка вошла в азарт и за один вечер прочитала мне «Пиковую даму» – и после этого я всякий раз, даже днем, подпрыгивал на постели и вскрикивал,

когда в моем изголовье слышались чьи-то шаги, когда покашливал доктор Бялик, который приходил играть в шахматы к старому Поллеру (хозяину дачи), да и просто от каждого яблока, шагнувшего в забытый под деревом таз, на дно перевернутого ведра, в глухую траву.

Даже «Том Сойер» отвлек меня от этих страхов только ненадолго. Старая соломенная шляпа доктора Бялика, изношенный край которой поднимался над полом террасы с хозяйской стороны и снова исчезал от того, что доктор терял калошу на ступеньках высокой лестницы без перил – почему-то и это запоминалось как часть кошмара, в котором участвовал так же и безликий Алешкевич (а это уже фобия бабушкина, парторг и гонитель ее с кафедры иностранных языков, фамилию мы выучили, кажется, раньше, чем научились ее выговаривать).

Разглядывая картинки в книге «Приключения Тома Сойера», я убедился, что художник ее даже не читал. Художника, наверно, торопили издатели. Чудо, если вспомнить, что сроки между «сдано в набор» и «подписано к печати» напоминали даты жизни с надгробия несчастного сорванца, которого затянуло в речной омут тем самым летом, когда ему купили новый ранец и фуражку с золотой кокардой. На одной картинке, например, относящейся к бегству на необитаемый островок посередине реки (участвовали трое: Том, Гек, Джо Гарпер), сразу пятеро мальчиков (каждый в соломенной шляпе, снятой с доктора Бялика в разное время ее изнашивания) собирали в песке черепашки яйца, и я быстро догадался, откуда взялись еще двое.

С арифметикой пальцев, игральных костей и циферблатов у меня всегда было хорошо. Математику отвлекенной я до сих пор не понимаю. Быть может, поэтому я уже тогда решил, что пятна птичьего помета отвлеченными символами быть не могут. Даже эпсилон, величина сколь угодно малая, но положительная (поправьте меня, Лилия Владимировна!) связывалась у меня с кукольно хорошеньким, невысоким Мишенькой Сидоровым, моим соседом по парте, который однажды в злой записке, пущенной по рядам парт, прочитал еж как епс. Было бы веселей, если бы корреспондент, разозленный мной на перемене, помнил об изобретении Карамзина, и тогда кличка у Мишеньки была бы совсем другой. Но и сейчас, как только в задачнике сына я вижу эту букву, то вспоминается мне Мишенька, Мишенькин бледный лоб, острый подбородок... А задержишься на этой загогулке – на память приходит пришедшая историчка, злое лицо, а в сущности добрейшая женщина, которая гладит и гладит Мишеньку по жестким черным волосам, так что ее запавшие щеки заливают какой-то тревожный румянец.

Благодаря конкретной арифметике я рано научился узнавать время по немым часам. Они тогда только что вошли в моду, эти часы. На маминых маленьких золотцем светились только III, VI, IX и XII, и, если мне попадались другие, ничего не значащий круг арабских символов, то я совершенно терялся, пока не догадывался мысленно стереть докучные закорючки и погрузиться в простой и плоский микрокосмос часов с его индивидуальными югом, севером, западом и востоком.

Когда я вот так роскошно болел, то часы без арабских цифр служили для измерения моего пульса, но, так как из-за общей слабости после перенесения теплового удара измерять было особенно нечего, то мама с испуганным лицом обращалась к д.д. Бялику и Поллеру. Оба военные эпидемиологи, оба в чинах полковников, оба, как это свойственно евреям, закончившим гимназию в начале века, не принимали синекдохи (когда бабушка сказала: оба в чине полковника, то ее гневно поправили, тоже дуэтом: потому что у каждого свой чин, я полковник и он полковник, хотя, вы правы, Александра Ивановна, в чинах – как-то не по-русски). Консилиум мог состояться в самый разгар шахматной партии. Каждый доктор брал по одной из моих рук, для этого койку приходилось отодвигать от парапета, на котором я давно уже заметил что-то интересное!

Мамины часы клали мне на живот. Кочка моя была невысокой, докторам пододвигали стулья, но и это не помогало. Отцветшая сирень – кривые стволы, окутанные прозрачной, пронизанной полуденным солнцем массой листьев, – вздрагивала от птичьих выхлопов, там свистели и тюкали клювами по веткам. У меня на лучевой артерии пульс не прощупывался совсем. И я еще не понимал, для чего им нужны мамины часы. Мама сменяла бабушку днем, и это уже был «Том Сойер».

Маленькая (и даже в мои пять лет я это понимал), живот фартучной складкой опускался на ее тоненькие ножки. Фотографии того времени свидетельствуют объективно, что щербатой улыбки

никогда она не стыдилась. А было их много. Полуподвальная лаборатория, палуба теплохода «Тарас Шевченко» (плывет по волжской глади «Шевченко» теплоход, на нем живут туристы, веселый все народ), имбецильный баянист, похожий на Жана Марэ, стоит в первой позиции, лакированные туфли, панамки, снятые с детей, и набивной ситец. Чайки, которых кормят щипками французской булки. Когда-то, еще до моего «подписано в печать», да что там, даже раньше, задолго до моего «сдано в набор», то есть, году так в 39-м или в 40-м, одноклассники звали ее Наташей Ростовской. Тоже младшая дочка, тоже хрупкая, тоже отважная... И маме казалось (а я-то как не люблю зеркал!), что с тех пор ничего не преобразается.

Так моего лучевого пульса и не нащупавшие, пестуя свою некомпетентность, д.д. Поллер и Бялик возвращались к папиросам «Прибой» и к молчаливой шахматной партии. Часики мамы оставались у меня в руках. Когда вот эта стрелка будет на шести (на юге!), померим температуру, и я пойду разогревать котлетки. Мама сидела в хлипком шезлонге из алюминиевых трубок. Полотно с фальшивым восточным рисунком у этого шезлонга было слишком длинным, и она не могла подняться, громко не подозревая отца, который досыпал свой отпуск на раскладушке, вынесенной в лес, и эти крики его очень злили. Но ведь и я ничем не мог ей помочь, как в другое время (сынок, дай ручку, я встану). Мне прописывали строгий постельный режим. Никогда не забуду ни эмфазы, ни артикуляции губастой педиаторши с одним железным зубом, забегавшей к нам из детского сада через дорогу, в котором никто никогда не болел.

От того, что пульс у меня не прощупывался ни при помощи доктора Бялика, похожего на моржа, ни при помощи доктора Поллера, который напоминал мне грифона, склоненного над шахматной доской (это ведь грифоны лысые), – сощуренного грифона с папиросой в передней лапе, – я не испытывал никаких неудобств. Грифон и Морж оба были глухи, и по более поздним воспоминаниям объединили в моем представлении Зазеркалье и Страну Чудес. Бабушка за год до своей смерти подарила мне свежий, в детском издании, перевод Демуровой.

Глухота позволяла им сосредотачиваться над шахматами и тогда, когда мама читала. Сидеть в низком шезлонге ей было очень удобно. Напомню: вставать нет.

Еще напомню: когда моя коечка отодвигалась от парапета, и мне, чтобы ее облегчить, позволяли встать, я заметил на его широкой основной доске нечто интересное. Интересное было белым. Интересное имело интересную форму.

И теперь, а прошло больше сорока лет, я знаю за собой особенность никогда не пропускать этого прицельного пятнышка, этого белоснежного присохшего пустячка. Виной тому пощечина. Вот как я ее получил.

Мой глухой детский мозг мало что интересовало. И это нормально. Надо мной велись разговоры взрослых, похожие на талый ручей, в котором вертятся вошенные бумажки от конфет. (Взлетная, Тузик, Золотой Ключик или Радий – скорее, имя автора пьесы «Кремлевские Куранты», чем смертельно опасный элемент.) В мутном и недобросовестном ручье взрослой речи попадались какие-то бессвязные, но хотя бы понятные мне значки. И я не сразу догадывался, что речь могла зайти и обо мне самом. Чтение вслух иногда действовало на меня так же, как речь взрослых, но только там уже обо мне ни слова не говорилось. Правда, и здесь существовали какие-то возможности зацепиться за смысл. Такой возможностью для меня оставались названия животных. Вот поэтому из всей истории приключений Гека я запомнил только два эпизода – как Джима укусила ядовитая змея (ничего не помню о лечении большой дозой виски) и еще длинную нравоописательную главу о вендетте, но это потому, что в ней изредка упоминались лошади. В пять лет отношения людей меня не больно-то интересовали. Напротив меня под сиренью играли в шахматы Грифон и Морж, а до ски потолка – распиленные сосны со множеством сучков, – представляли мне серию раздавленных крокодилчиков с менее и менее выраженными лапками, как будто это была печальная история атрофии крокодиловых конечностей, представленная в специальной книге. Сучки на распилах досок казались мне глазами, хотя и разновеликими, мало смущало то, что между этими крокодилчиками регулярно втискивался трехглазый мутант. (Синекдоха, которой доктор Бялик не перенесет.)

Всякие мертвые вещи занимали меня, только если их можно было уподобить животным. На

всем небосклоне я знал только Большую Медведицу, Лебедя, Орла, Лисичку, Рака, Центавра, Гончих Псов, Дракона – Малая в наших местах совсем не видна. Центавр был для меня самым неполноценным, поскольку все же имел человеческое лицо, и весь его вид мучил меня одним вопросом, который я до сих пор не решаюсь задать взрослым женщинам. Залезая в ящик с инструментами, я делил их на понятные и нет. К понятным относились кусачки, пассатижи, круглозубцы, я видел в них пасти пантер и гончих. Мамин скальпель напоминал мне рыбку, а из ее стетоскопа я довольно живодерским способом умел изготовить пару гадюк, сам, конечно, полагая, что это было живодерство наоборот. Но разговоры взрослых так и оставались для меня безликими до тех пор, пока в них томящей музыкой не начинало пробиваться ключевое слово. (Вот опять синекдоха, уважаемые доктора!)

Мама и бабушка пили чай. Я лежал у них в ногах, чтобы и мне перепало что-нибудь сладкое, как собачке, которая прячется под низкой скатертью и лапкой. По всей кровати были рассыпаны граненые цветные карандаши с непроизносимым золотым и двойным словом на одной из граней у каждого цвета. Я уже кое-как читал, правда, писать пытался справа налево, и меня донимал невозможный вопрос, невозможный, потому что взрослых не перебивают даже на паузе. Почему в золотой надписи на моих карандашах, пропущена буква «с» и добавлена ненужная «к»? Со словом вторым по счету я как-то смирился: сразу понял, что Ванцетти не может быть по-русски.

О чем говорили тогда мама и бабушка? И вдруг мне показалось, что я даже не слушаю, а и так все помню и понимаю. Стоило мне услышать ключевое слово, как я скоро разобрался, какие местоимения в разговоре давно его маскируют.

Лиса, сказала бабушка среди невнятного журчания и перестукивания вставных зубов. Наверно, во рту у нее в этот момент действительно перекатывалась какая-нибудь Демосфенова карамелька. Я забыл о своих карандашах. И запомнил их разговор, и помню его и по сей день.

Речь у них зашла о стороже соседних ведомственных дач, для которого в нашем заборе имелась лазейка. Открывал он ее, отодвигая три широких доски, окрашенных только временем (во мне еще живо было недоумение: почему прозрачный дождь окрашивает белую древесину в серый цвет, почему кипятком делает красное мясо таким же серым, как старые доски?) – он приходил к нам за мягкой водой, пригодной для стирки. Фамилия его была Пронин. Пронин был алкоголик, как и все здешние сторожа, и эта болезнь тянула его подворовывать. Смешной и самой безобидной вспоминалась пропажа двух ведер с горячей водой, поставленных под забор, где я уже сидел в ванночке, отмокал, как говорила мама, и где меня собирались купать. По-видимому, Пронин не посчитал меня опасным свидетелем. Как более досадные рассматривались случаи пропажи со стола эмалированных мисок или мельхиоровых вилок, а с веревки в саду простыней и плавок, и еще дешевых серег, забытых на парашете Зинаидой Борисовной Поллер. Отчаявшись найти что-нибудь ценное у нас, когда все вещи стали убираться под замок, Пронин обокрал и себя самого – однажды утром опустошил курятник. Ума не приложу, как это ему удалось сделать, не разбудив жены? Дверь для правдоподобности оставил открытой и сказал жене, что это лиса за одну ночь всех кур.

Эта лиса упоминалась, наверно, чаще, иначе бы я не запомнил.

Никакой лисы не было, сказала мама как раз тогда, когда я уже доделывал образ этой черноногой зверюги, которая как-то утром, когда мою коечку вынесли на террасу, а сами ушли досыпать, битый час танцевала в саду. Я был уверен, что для меня. Я пробовал найти с ней общий язык, думая, что только домашние звери не знают наших слов.

И вот, мама сидела в своем удобном шезлонге и читала мне «Тома Сойера», а я, приподнявшись на коечке, изучал белую-белую, белую, как бумага, на которой я это записываю...

Совсем немногие вещи этого пресного окружения стоили усилия, необходимого на то, чтобы их запомнить. Редкие белки раскачивали бесплодный орешник, растущий вдоль забора, почти никогда не показываясь, но вызывая сорочий раскат, раздававшийся в более высоких и менее густых деревьях. Желуди падали, отскакивая от веток дуба, которому было лет триста. Грохотал, подбрасывая доски, грузовик, и его бликующий слоновый лоб цвета хаки исчезал в поднятой им пыли. Зинаида Борисовна бросала крупно нарезанные подосиновики в кипяток; если встать и подойти к электрической плитке, стоящей на мраморном столике с отбитым углом, то можно уви-

деть, как из белого грибоного кубика вылезает червяк и корчится, желтый, с темно-коричневой головкой и короткими крючковатыми ножками. Но больше всего было синиц. Синицы начинали лето, они же его и заканчивали. В другое время, когда вишня висела на ветках, и еще раньше, когда клубника, вздрагивая от прикосновения слизней, которые тоже в свою очередь сокращались в маленькую жирную ступню с высоким подъемом, – лежала на грядках, к нам прилетали и дрозды, и сойки, первые стаями, вторые парами. Пороховыми перелетами сад пересекали воробьи. Поползнии обирали с деревьев россыпи мелких бледно-малиновых клопов и стучали по забору почти так же громко, как дятел, от ударов которого под ноги сыпались дубовые щепки или обломки коры. Однажды у мамы пропало золотое кольцо, единственное, снятое и оставленное на полочке возле рукомыльника, но точно нельзя было сказать, кто это был, сорока или Пронин, оба вертелись где-то рядом, оба были готовы к неожиданному налету. Конечно, несколько раз я уже видел огромного, рыжего с пестрой орла. Сначала в лесу, на прогулке, отец даже подхватил меня на руки, когда он, расправив крылья в ширину просеки, прорубленной пожарниками, пронесся прямо над нами. Вовочка, внук Зинаиды Борисовны и доктора Поллера, сказал, что добудет ружье и завтра же его застрелит. Ничего у него не вышло. Пока Вовочка выслеживал орла в лесу, где ему и полагалось прятаться, орел показался на краю нашего сада. Ветка клена прогнулась и хрустнула под ним, но он устоял, удержался, повел головой, поймал одним глазом мой взгляд (восхищенный), а этого они не любят, и снова улетел куда-то сквозь лес. И был филин. Полетом брошенной тряпки он сорвался с вершины клена и внезапно приклеился к развилке другого. Но потом он выдал себя, этот короткий морщинистый обломок и внимательно завертел головой.

И только синицы наших глаз не боялись. Они что-то искали в пакле, выбранной из щелей между бревнами сруба, прыгали по столу, неважно, пустому или загроможденному посудой, зацепившись вниз головой, долбили клювом потолочные балки, выступавшие на террасу в виде необструганных и даже не очищенных от коры бревен, интересовались колбасными шкурками и, к моему восторгу, разбрызгивали горячий суп по клеенке с васильками, в зеленую клетку, когда пробовали усидеть на черенке столовой ложки, оставленной в моей полной миске – я терпеть не могу вареного лука. Меня долго учили, что чайную ложку нельзя оставлять в стакане, так как он опрокинется, если случайно ее заденешь за черенок. Убеждения не помогали до тех пор, пока я не увидел, как это делают синицы. И я едва успевал вскочить из-за стола, когда горячий чай из опрокинутой чашки в красный горошек (моей, она долго прожила со мной, пока не была разбита маленьким сыном, отвергающим ложку с овощным пюре) – угрожал обварить мои колени.

Самые смелые были, конечно, молодые синицы. Тепленькие, пушистые, они казались безглазыми из-за черной окраски головы и белой – щек, они писком и топотом по клеенке стола заставляли кормить себя из рук в то время, как юркие, гладкие, исхудавшие взрослые возмущенно звали их, сидя на парапете. Крик, прыжок, разворот – и птичка ускользала из поля зрения наблюдателя, оставив возле грязной посуды, расставленной на парапете и уже ошпаренной кипятком...

Мама читала мне «Тома Сойера», я лежал в кочке, все еще чувствуя боль в запястьях и разглядывая красные пятна, немного мрамористые, с добавлением венозной синевы, то, что осталось от неловких пальцев д.д. Моржа и Грифона. Оба сидели за столом, иногда передвигая по шахматной доске маленькие пластиковые балясины. Меня же во всем этом интересовали только глаголеобразные прыжки морских коньков, но их что-то не было, не было. Эпсилон птичьей какашки находился на расстоянии моей протянутой руки. Он давно присох, но в свежем состоянии чуть не свалился с края парапета на пол и задержался на какой-то занозе или в какой-то выемке.

Вокруг этой черно-зеленой буквы белел подтек, засохнув, подтек стал еще светлей, но, пока белая взвесь еще была свежей, она стекала по краю парапета до того места, где он обрывается вниз, и там застыла крошечным каплевидным сталактитом. Увидев эпсилон, я почти не гадал, как могла образоваться колбаска такой интересной, античной конфигурации, я же видел, как птицы роняют сияющие на солнце капли. Знал я о птицах и вот что.

Часто песик Поллеров (это был довольно злобный шпиц, и его звали Бельчик, и я думал, что это в честь Бялика), преследуя птенцов, выпавших в заросли лесной травы, еще бесхвостых соро-

чат или молодых горлинок, которые быстро устают летать, – возвращался с мордой, залитой птичьим пометом. Иногда до того густо, что не мог разлепить глаз, и Зинаида Борисовна отмывала его под краном, и я из своей коечки, повернувшись на живот, глядел, как Бельчик неподвижно терпит сухое мыло. А однажды я сам видел воздушную атаку сорок. Широкими кругами носясь над полянкой (той самой, с ящерицами и змеями), сороки прицельно гадили Бельчику в глаза. Впрочем, мертвого птенца он от этого только крепче держал в зубах. Итак, я знал, что птица, если захочет, может точно сбросить помет даже в бегущую цель. Мне оставалось только предположить, что она может совсем не случайно, а повинуюсь какой-то прихоти, изменить форму своих колбасок. Вот пятна – да! Тут господствует случай.

Я скovyрнул маленький сталактит, но в моих пальцах он рассыпался. Я осторожно отделил эпислон от неровной поверхности, чтобы посмотреть, за что он уцепился. Не было ни занозы, ни специального углубления. Доска сама по себе в этом месте, от старости, разлинована ребрами смолистых слоев, которые сосна наращивает зимой. Более рыхлые летние, просто ввалились, когда она стала гнилой и серой. Я провел ногтем по этим коричневатым смолистым ребрам. Звук был глухой, никакой надежды, что эти ребра затренькают, как зубья расчески, – но ощущение физическое мне понравилось. Вибрации, которые передавались руке с краешка чистого, коротко подстриженного ногтя (мама следила за этим: «чтобы ты себе ничего не чесал») – в целом доставляли удовольствие. Я повторил, постепенно удаляя с поверхности белое пятно, и удовольствие усилилось... – И вдруг получил пощечину.

Не знаю, как моя мама без посторонней помощи смогла из своего низкого шезлонга выбраться, но, увидев, что на ладони одной моей руки покоятся колбаски сломанного эпислона, а другой рукой я что-то наигрываю на сосновых струнках, испачканных белым пятном, она влепила мне совершенно итальянскую пощечину с той только разницей, что объяснения приберегла на потом. Точно так же она поступила как-то раз, когда ногтем мизинца я пытался отвинтить шурупчик, который придерживал электрическую розетку. Но это я понимаю: удар электричества ждать не будет... а тут.

После удара, который пришелся не только по щеке, но еще и по виску, я услышал устрашающую лекцию об орнитозе и через 29 лет повторил ее слово в слово своему сыну, когда тот тоже поскреб на парковой скамейке удивительную черно-зеленую улитку, застывшую в меловом круге правильной формы. К тому времени я уже прочел мемуары Чellini, отец которого указал на ящерку, прыгавшую по дровам в очаге, сказал, что это и есть саламандра, дух огня, и после этого залепил сыну пощечину, чтобы тот запомнил, как называется. – И поэтому я поступил правильно. Я начал с разговора об орнитозе.

И вот, после маминой пощечины (все-таки не совсем итальянской) птичий помет для меня начинает принимать вид каких-то оповещающих знаков, и они то и дело надвигаются на поворотные события в моей судьбе.

Однажды я курил возле наружного подоконника, покрытого жестью с морозным узором, чтобы разошедшийся осенний дождь врвался в лабораторию кафедры физики не только шумом и шелестом, но и неистовым грохотом. Был необыкновенно теплый октябрь. И весь предыдущий месяц ни капли с неба. Но в тот день оно с утра душно туманилось, и я понимал, как тоскую по мокрому асфальту и запаху листьев американского клена, которые давно превратились в безуханную пыль, хрустевшую под нашими ботинками. Теперь, сказал я себе, все будет по-другому. Так оно и вышло. Зарядили дожди. Остатки листвы, еще не смолотой в порошок, липли к асфальту, и среди них я однажды увидел брошенную кем-то гвоздику, и через несколько недель почувствовал такое отвращение ко всей этой вольной учебе на втором курсе, что проглядел открытую ненависть преподавателя анатомии, который шумно добивался моего отчисления чуть ли не с самого первого семестра. И только многим позже я узнал, что это была какая-то месть, но и теперь не знаю, лично ли моему отцу или тому институту, где он работал. Тоска моя и отвращения к учебе были настолько сильны, я настолько автоматически исполнял все задания и читал все учебники одинаково беспамятно, что я сам удивлялся тому, как моя память все же что-то забирает в себя, и по другим предметам я неплохо успеваю. И если по анатомии ничего не выходило главным образом от того, что меня не желали слушать или высмеивали непонятно за что прямо над разваренной в

формалине человечинной, от которой щипало нос, и поэтому она всегда усваивалась в каком-то сне, тумане, слезах, – то я думал, что и правда у меня с этим ничего не получается, учил еще тверже, ничем не отвечал на объявленную мне войну, вел себя, как финны с русскими. И этим еще больше злил своего врага. Другие плакали, унижались. От меня он этого так и не дождался. И вот однажды я стоял и курил у наружного подоконника, обитого жестью с морозным узором, а он, злой уже, как черт, спросил меня: «Как дела?» Он входил в морфологический корпус под руку с немолодой лаборанткой, которая год спустя выпила уксус и приказала долго жить, но и сейчас уже как-то нехорошо наступала на одну из своих полных ног. Хорошо, ответил я, отклеивая от нижней губы приставшую сигарету. Посмотрите! – по-женски взвизгнул он, – у него ни одна тема не сдана, его вот-вот отчислят, а он говорит: хорошо! А мне и правда было хорошо. Собирался первый за эту осень дождик, на жестяном подоконнике, готовом уже загреть под его ударами, я видел птичий помет, и его пятно напоминало мне триеру, а тема, которую я вечером буду отвечать ему усталым, тоскующим голосом, тоном фамильярного разговора о банальных вещах, так что он в бешенстве выгонит меня из кабинета, прочитана мной раз десять.

Какашка, задравшая кверху оба хвостика под условным плевком в виде небольшого паруса. Избыток белил отбросило за воображаемую рамку, и в создании образа он не участвовал.

Такую же точно триеру я уже нарисовал пальцем на полировке стола в лаборатории кафедры физики, тогда надо мной склонился преподаватель Иванов с томатным носом (где достали вы, сеньор?..) и спросил: что это? Я подумал, что он сейчас будет драть мне волосы, а потом заплачет. Но триера, нарисованная жирным пальцем на полировке стола, была бы видна только если сесть на стул и лечь лицом на этот самый стол. Именно так, скосив и расфокусировав правый глаз, я ее и рисовал. И представив, как растечется по столу швейковское лицо Иванова, я тихо-тихо рассмеялся. Над собаками, охранниками и преподавателями режимных вузов смеяться нельзя, они достойны сочувствия, потому что склонны относиться к себе всерьез. У меня начались неприятности. Еще один враг, еще один будет моего отчисления добиваться. Но, когда я увидел, что птичка накакала триерой, я отклеил от нижней губы прилипший окурок и: «Хорошо!» – поприветствовал подкрепление. Мой первый в жизни враг, ослепленный яростью, спустился в подвал, к человечине, а я даже и не заметил, какие в нем бушуют. И дело, как видно, не в моей выдержке, дело в триере, дело в птицах, в каллиграфии и в моей недогадливости.

В те дни мне часто попадались птичьи пятнышки в виде триеры, а буденовка – это уж и вовсе навязчивый мотив.

Через год после того, как меня все-таки вышибли из института, но не из-за анатомии, а из-за неотработанной практики, умер доктор Поллер. Старый доктор Поллер! Помню его последним летом, потерявшим настоящее и уверенно блуждавшим в своем прошлом. Он впал в детство. Каждое утро доктор Поллер собирался в гимназию, где когда-то его и научили правильному научному языку, не признающему тропов. По пути в гимназию доктор Поллер быстро уставал и, отойдя от дома не больше, чем на квартал (все здесь говорили с ударением на первом слоге), он опускался на землю, сидел так несколько минут, потом засыпал в газончике. Паспорт и другие документы, зачем-то нужные доктору Поллеру в гимназии, у него давно украли. Свою дочь он не узнавал, и, когда она меняла ему испачканное белье, спрашивал: «Кто вы?»

Меня он тоже не узнал. Посмотрел в мою сторону щелчками глаз, такими узкими, как будто улыбается, поскреб пальцем по клеенке, что-то скосырнул – и обмочился.

Смеющиеся глаза-щелчки у Поллеров передавались по прямой линии и совсем пропали в поколении правнуков. Женщины, приходившие извне, все были пучеглазы и закрепили это уже за внуками. Пучеглазой (и в молодости, наверно, большеглазой красавицей с черными выющимися волосами) была Зинаида Борисовна. Давно-давно, когда я был еще школьником, она сказала мне, прибежавшему выпить кружку холодной воды: «Что ты все бегаешь? Так ведь и лето у тебя пройдет без всякой пользы. Возьми вон книжку почитай». Внук ее, Вовочка сидел на парапете с ногами, как большая птица (орел, наверно, которого он так и не подстрелил), и он подхватил: «Куприна «Яму» или Мопассана вон возьми почитай». С недавних пор он всерьез болел наглостью, и эта наглость

восхищала меня, и я тогда засмеялся так же цинично, потому что стремился ему подражать. Когда-то нежный и умный, любимец моих родителей, которые вечно таскали его с собой то в лес, то на Волгу, и там он однажды свалился с мостков и сразу пошел ко дну и не выплыл бы, если бы моя мама не успела ухватить его за край рубашки, – Вовочка закончил школу, поступил в Политехнический и незаметно стал уходить в темный мир своего бреда. Его веселая наглость, как могла, маскировала этот уход, а меня она завораживала, потому что никогда, никогда я не смогу быть таким, не смогу бить человека в лицо, а, если понадобится, и ножом, крепким складным ножом с широким лезвием, похожим на испанскую наваху, который Вовочка всегда носил в кармане.

Впрочем, я знал, где достать Мопассана.

Высокая полка над кроватью отца была самым скучным местом в нашей комнате. Ничего на ней не стояло, кроме специальных книг по физике и математике, отвлеченной от серьезных зна-ков, которые умеют писать птицы. Но книги, обернутые в газету, иногда стоило пересматривать, и вот почему. Жирными, расплывающимися чернилами его китайской ручки с золотым пером на корешках этих книг, верней, на газете, которой они были обернуты, могло быть написано что-нибудь отталкивающее, например, «Квантовая механика», «Термодинамика», «Счетные машины», «Квазианалоговый метод»... мало ли. Но книги с такими же названиями можно было найти в его библиотеке и не обернутыми. Я скоро заподозрил, что здесь что-то кроется. Так оно и вышло. Серьезной литературы отец не читал никогда, он предпочитал почти не доступную, такой литературы в те времена были главным образом детективы. Их-то и прятали скучные надписи, чтобы никто из нас не утащил чужую, драгоценную книгу в сад или на пляж, не вздумал дать Вовочке, который потом не вернет, продаст на рынке, не оставил под дождем на скамейке.

«Счетные машины» – это и был серый, как сталь броневику, том Мопассана, в котором помещалось несколько рассказов и роман «Жизнь».

Выкрыв с полки, я замаскировал его по-своему, содрал газетную обертку – и не ошибся. В таком виде книга сделалась неузнаваемой и для отца, и для мамы, и даже для Вовочки. Теперь я мог читать ее в саду даже тогда, когда они все собирались на террасе, пили чай, играли в подкидного, а доктор Поллер расспрашивал маму, мирного бактериолога, как теперь проводится забор воды из Волги, чтобы определить ее коли-индекс. Так как мне было всего только десять лет, то «Жизнь» или «Морока» показались мне не более развлекательными, чем «Счетные машины», еще и потому, что все животные у Мопассана больные или уродливые, да и человеческая плоть подтекает каким-то гноем. Я не был особенно усердным читателем, эта книга мне скоро надоела, и я настолько обна-глел, что стал оставлять ее в саду, на скамейке под яблоней. Цветом эта скамейка была тоже серой, однажды Зинаида Борисовна сказала мне: «Я спасла твою книжку». – И протянула мне Мопассана еще покрытого мелкой изморосью. После этого я стал повнимательнее относиться к тучкам и к замиранию ветра в лесу, которое почти всегда предшествовало началу какого-никакого дождика.

А ведь были еще и птицы. И одна из них изгадила чужого Мопассана, когда я рассеянно держал его на коленях. Много их, этих птиц, шевелилось в яблоневой кроне. Скамейка вся была исписана предупреждающими знаками, и я считал своим долгом их разбирать, и тогда я многое узнал. Но не вернул книге прежний обернутый вид и не поставил ее на полку, я упрямо не понимал, чего от меня все эти птицы хотят. И тогда одна из них решилась на прямое высказывание, и ее помет шлепнулся прямо на страницы. Машинально я книгу захлопнул. И только потом понял, что натворил.

Я развернул ее снова и увидел, что получилась буденовка. Знак далеко не безобидный. Уж это я успел усвоить. Стоял 1967 год. И приближалось пышное празднование пятидесятилетия Советской Вла-сти. Некоторые вещи убеждали меня в том, что не я один от этой жизни зеваю во весь рот и сплю на ходу. Так например, в неделю осенних каникул нам по почте принесли телепрограмму, которая издавалась в Куйбышеве и была приспособлена под местное время. Это была длинная, сложенная вдвое полоса газетной бумаги, и праздничные недели в ней всегда отмечались одно-цветной печатью, но только внутри. Наружная часть газеты печаталась черной краской. Новогод-няя программа оттискивалась голубой, на неделю Восьмого Марта приходилась зеленая краска, хотя за окнами еще не было никакой зелени, а вот Первое Мая и Седьмое Ноября – в эти празд-

ники, разумеется, программку печатали красным. Но весь текст программки не умещался внутри разворота, обыкновенно суббота и воскресенье приходились на самую последнюю страницу, и вот на ней цветной печати уже не полагалось. И в год пятидесятилетия Советской Власти седьмое и восьмое ноября пришлось на субботу и воскресенье. Так вышло, что вся неделя была напечатана красным, и только выходные – черным. Я очень хочу верить, что за эту кошунственную ошибку никто не пострадал. И я думаю, что так оно и было, потому что спали не только исполнители, но и карающие органы спали тоже. Но, чем глубже жизнь погружалась в сон, похожий на Вовочкин бред, тем больше повсюду в случайный пятнах встречалось буденовок.

Почему-то в 1967 году и суп, и компот, разлитые по полу школьной столовой, распространялись по выбоинам плит исключительно в форме буденовки. Почему-то даже в туалете не стало никаких сахинов, никаких австралий, италий, и даже никаких гениталий, повсюду блестели и благоухали одни буденовки. И дома, даже какао, даже молоко...

Но на этот раз буденовку сделала не птица. Я сам сделал ее, захлопнув книгу, сделал, как Виктор Гюго, который сажал кляксу на лист бумаги, складывал его пополам, а потом дорисовывал образовавшиеся рожи и горы.

Я не рассказываю историй о зловещем смысле этого знака только потому, что хотя бы раз он вышел не естественно. Конечно, за испорченную книгу я все-таки получил оплеуху, гораздо больнее той пощечины, которую закатила мне внезапно и легко взлетевшая мама. Важнее, быть может, слова, которые прокричал мне тогда отец, тыча лицом в буденовку: «Запомни, тебе ничего, ничего здесь не принадлежит». Это я запомнил. И потом не могла ли буденовка быть не предупреждением, а просто заметным знаком, который запоминаешь уже потом и только потому, что что-то страшное уже случилось и твою жизнь изменило.

В минуты, когда рушится все то, что ты считал неизменным, человеку запоминаются всякие мелочи, не имеющие к этому краху прямого отношения, а при этом что-то действительно важное может быть и пропущено. Мужчина в такой клетчатой кепке, которых никто не носит, и рядом с ним – моя знакомая балерина, уже на пенсии, но в теплом пальто из той же ткани, что и кепка: крупная синяя и желтая клетка. Я видел их из окна трамвая, который проследовал мимо пожарной каланчи девятнадцатого века, дернул тормоза и встал на остановке. Оба элегантные, ухоженные, постояли, посмотрели в окна, выбирая не столько маршрут, сколько попутчиков – и не зашли.

Через полчаса нежная, хрупкая блондинка с сияющими глазами и пушистыми локонами у щек, закатила мне необыкновенный скандал. Не помню, что я сказал, мы тогда зашли в единственное в городе кафе, где кроме вермута на разлив, подают кофе, и тяжесть этой непонятой вины лежит на мне до сих пор, особенно ощутимо, когда я встречаю мою клетчатую пару. Они все так же стоят на остановке у каланчи, все так же выбирают попутчиков, и, поморщившись, не садятся ни в один трамвай. У той блондинки с пушистыми локонами лицо вдруг сразу сделалось тяжелым, решительным, а я все еще улыбался, так как поставил перед ней последнюю маленькую чашечку кофе, и сказал какую-то шутку, по-моему нежную, потому что был в этом кафе в первые раз и по ошибке, пойдя заказать еще кофе, направился к стойке, где разливали портвейн и раздавали отсыревшие карамельки со вкусом земляничного мыла. И только потом, по запаху, кофейную стойку нашел. «Ах вот как! Тогда ты меня больше не увидишь! Прощай навсегда!» На нас не устал был только глухой. И я был все так же удивлен, и еще какое-то время размешивал сахар в маленькой чашечке. А потом догонять ее было поздно. Так, вынося из катастроф какие-то мелочи, я, может быть, просто оберегаю мою память и здоровье духа, кто знает, что могло бы случиться со мной, если бы не эта пара. Он в радужно-клетчатой кепке, она в таком же пальто.

Но, если все-таки буденовка это знак предупреждающий, совсем простой: ни к чему чужому рук не тянуть, то теперь я считаю это предупреждение излишним.

Когда провинциальные интеллектуалы у нас принялись Борхеса штудировать, «Имя розы» было ими до дыр зачитано. Конечно, все это происходило с опозданием лет на 15, и, как всегда, с большей педантичностью, чем того заслуживает пересмешник Эко. У них в ходу густо затрещали сорочьи термины нового времени, но шлепались они слишком уж по старинке, не по правилам

постмодернизма, а по устоям соцреализма, и как-то от одной окололитературной дамы я услышал: «Я за постмодернизм жизнь отдам!» (Сам я видел, что и она сомневается в равноценности такого обмена.) А от другой: «Все язык» и потом: «Автор умер». Так как эти мелочи имели какое-то сходство с пометом перелетных и неперелетных, а он продолжал надвигаться на мою судьбу неотвратимо, как и все мелкое, я мог бы, конечно, прислушиваться к этому механическому, как у пономарей, щебету и повнимательнее и, может быть, и в нем, несмотря на внешне мертвенный вид, уловил бы биение живого знака. Уловил же я его в эпсилоне, когда мне было пять лет, и в буденовке, когда мне было десять. Но что-то на этот раз распалось, не выковало для меня время той цепочки, по которой двигались очевидно преуспевающие идиоты, а тут еще мой сосед Вовочка, в сущности, более логичный, чем любой доморощенный адепт постмодернизма, повадился каждый вечер сидеть на корточках у моего крыльца. Уже тогда он начал сворачивать себе сигареты из бумаги, срезанной на полях газет, и табака плохих и дешевых сигарет, которые тут же расходились по шву, даже раньше, чем начнешь их разминать: и местная фабрика приспособлялась к потребностям душевнобольных. Я тогда еще не понимал глубокого смысла всей этой операции и стал кое о чем догадываться только годы и годы спустя, когда Вовочка просил варить ему яйца не иначе, как предварительно укусом смывая с них чернильные штампки, а сам лежал больной и подняться не мог.

Я шагнул прямым путем, и этим отличаюсь от постмодернистов провинции, этих вечных неофитов или вечных студентов, то есть, я во вторую очередь прочитал Эко, а сначала взялся за Борхеса. И день, когда я затащил к себе на дачу его книгу, был примечателен необыкновенно теплым закатом.

Накануне я так озяб в лесу, что прямо с работы заехал в какой-то спортивный магазин на задах барачного района, с виду хорошенького, так как бараки переделывали из коттеджей с балкончиками, в которых раньше селили заводское начальство, вокруг росли тополя, посаженные сразу после войны, и рябины, возникшие здесь в начале семидесятых вместе с новыми поселенцами. В магазине я купил высокие туристские ботинки, очень дешевые, и тут же сменил на них мои мелкие туфли, которые не держали тепла на мокрой земле лесной дороги, в опалой листве, напитанной дождевой водой, так что каждый листок представлял собой блюдо, и ноги сразу промокали, едва я сходил с дороги, чтобы собрать на ужин немного опят. И было совсем не как в городе, сохранившем зеленой всю листву на ненаблюдательных деревьях, светло и холодно под настороженно облетевшими ветками. На берегу Волги, сидя в голубой лодке, накренившись на бок, я вдруг почувствовал, что тепло не только моим ногам. Лицо и руки как будто тоже что-то обогревает, и это был низкий, ласковый ветер, какое-то теплое воздушное течение, которое гнали впереди себя тихие, пушистые по краям и очень густые тучи. На закате они как-то сдвинулись, и стало еще теплее.

Вовочка все сидел на корточках у моего крыльца. Он сворачивал себе сигарету. Я постоял рядом. Нам нечего было сказать друг другу, но, прежде чем он поднялся и ушел к себе, вокруг нас запорхали снежинки. Ничего особенного, снегопад и должен начинаться с потепления, только уж очень большие.

Таковы обстоятельства, при которых я быстро прочитал «Письмена Бога», единственный рассказ, который был сопоставим с моими долгими наблюдениями за птичьим пометом. В этих обстоятельствах трагического ничего не было. Первый снег, тишина в небе. Тихий сумасшедший в домике по соседству, убежденный, что фармацевты-карьеристы изгадили курительную бумагу своими знаками и цифрами, чтобы от каждой выкуренной сигареты мы медленно слепли. Вечером Вовочка тоже был в лесу. Грибов он тогда не собирал, какой от них прок? А промышлял бутылками. В тот год мне нравилось его сопровождать, да жаль, не было времени, все-таки я до пяти вечера просиживал на работе. Но случались и у меня веселые прогулы, организованные не мной, а ленью и нерасторопностью моего начальства: ему нравилось посылать меня трудиться одновременно в двух или трех местах, а про данные мне указания оно забывало уже на следующий день. И тогда Вовочка заходил ко мне в старой соломенной шляпе, оставшейся от покойного доктора Поллера, сером плаще того же происхождения и резиновых сапогах, принадлежавших когда-то Зинаиде Борисовне. И мы шли за грибами, которые и так росли повсюду, но собирать их вдоль нашего забора нам было не интересно.

В городе я пользовался промашками ненормального и беспамятного начальства, а здесь – дав-

ним расположением соседа, тоже ненормального, но с огромным опытом припоминаний и какими-то особенными знаниями о мелочах. Я рядом с его знаниями испытывал неловкость и стыд младшего школьника и поэтому остерегался рассказывать ему все, что знаю о птичьей помете и о влиянии знаков, сброшенных птицами, на мою судьбу. Это благодаря Вовочке у нас под ногами разыгрывалась целая драма значений. Однажды я завтракал, а он вошел ко мне из лесу, под мышкой доска от ящика с надписью «Аргентинские груши», в руках полные сумки бутылок, брошенных в лесу пировавшими мушкетерами, устаревших для сдачи даже в приемном пункте времен Петра Великого. Поставив сетки на пол, Вовочка положил передо мной на стол длинный и узкий складной ножик. «Это твой. Мне его сегодня подбросили». Прямая логика Вовочкиных суждений и по сей день остается для меня самой безупречной. Сам по себе этот ножик тут объявиться не может, не орех, оброненный белкой. Его кто-то подбросил. Ножик я спрятал в ящик стола как свою собственность. Ржавый, с отстающими чешуйками никелевого покрытия, он не раскрывался, пользоваться им было нельзя, – но ведь правдой было и то, что когда-то, в пору увлечения майскими свистулками из липовых веток и удилищами из орешника, у меня был именно такой складной ножик. Память Вовочку никогда не подводила, и, может быть, его бред имел более прочную основу, чем «Письмена Бога». Пятна ягуара, каждый рисунок вписывается в квадрат, как положено китайскому иероглифу, не так уж трудно уподобить знакам тайнописи.

Я подумал об этом, как только закончил читать рассказ. Хлопья снега, – сначала они были тяжелыми, сначала они с шорохом падали на лежащие листья, на ступеньки крыльца и залетали на пол террасы, – теперь перестали шептаться и только время от времени ухали, слипшись в охапки и сорвавшись с веток. Молодым вишням, которые, как и городские деревья, никогда не предаются всеобщему и правильному листопаду, удалось набрать так много снега, что они уже нагибались.

Я лежал у открытого окна поверх одеяла, и так еще было тепло, что отопление включать не хотелось. Даже не одеяла (вспомнил!) – подо мной был дешевый гобеленчик, из тех, что во многих домах моего детства со стен соскальзывали на пол, но и оттуда вытеснялись коврами, паласами и наконец оседали на дачах, в гаражах, в багажниках «москвичей». Тот гобеленчик уже выпустил первую нитку. Его рисунок я на китайский манер называл про себя «цветы и цепи» – изучать его в детстве было такой же болезненной необходимостью, как часами рассматривать черно-белую сетку телевизионной прелюдии с классической музыкой. Бессмысленные вещи до сих пор меня пугают. А «Письмена Бога» показались глумливой натяжкой, и мне захотелось на волю, и я вышел на снег прямо в шлепанцах.

В шлепанцах я стоял на снегу, в окнах Вовочкиного дома только что погасли лампы, – и слушал, как встряхиваются высокие мокрые собаки, которые вышли из воды. Такой звуковой эффект производили молодые одичавшие вишни, чтобы выпрямиться и сбросить с себя избыток снега. Мерно звенело тонкое стекло, маленькими кругами у лампочки без абажура, тусклой уличной лампочки, носилась ночница и билась об него головой. Сухой, пушистый снег валил искрящимися хлопьями. Он уже так плотно накрыл землю, что утром Вовочке не найти ни одного куска ткани, ни одного лоскута голубой упаковочной пленки, ни одной винной пробки, ни одной пивной крышечки, ни одного колесика от игрушечной машинки, ни одной кукольной ручки, ни одной дощечки с интересной надписью. Ничего такого, что подброшено ему (или мне!) с каким-нибудь вредным или бредовым умыслом... А птицы останутся и будут гадить.

В голове моей складывалась гнусная пародия, скорей уж на Павича, чем на Борхеса. И это был ленивый, написанный нарочито плохо, как и моя жизнь, рассказик, герой которого ходит по серой от дождей террасе или по яркому от дождей осеннему лесу, изучая разные капли птичьего помета и бормоча только что сделанное открытие:

«Птицы, – говорит он, – это авторучки Бога, и собирать оставленные ими знаки в осмысленную строку мог бы только мой сосед Вовочка, но я бы поостерегся подать ему эту идею: авторучки у Бога все время текут».

Когда мы с Вовочкой ходили за грибами, он брал с собой особое ведро для находок и складывал туда гвозди, скобы, вилки, ножи – все, что ему подбрасывали карьеристы-фармацевты, а

так же битое стекло. «Видишь, – говорил он, – опять они нам его подбросили». Как-то раз я вырезал себе тросточку из вишни. Нужно было ее оциклевать, и я пошел поискать кусок стекла вокруг дома, мало ли... Но там не оказалось ни одной, даже самой маленькой стекляшки. Вовочка ничего не упустил.

Поведение родинки во сне

I

В пятницу, когда нельзя мяса и когда едят рыбу, Василий Федорович ходил в театр. Жена не пошла. Будучи на 18 лет моложе мужа, она в свои тридцать так истово предалась религии, как в 16 предавалась любви. Ее вера стала хорошим средством извести мужа. Вот ты в театр, а я мяса не ем. Или разбудить его в шесть утра, за час до того, как ему в самом деле нужно проснуться, и побуждать его к совместной молитве – с той же страстью, с какой прежде она в то же время утра побуждала его к исполнению супружеского долга. Называла слишком толстым и старым, хотя и то, и то было клеветой. Животик у Василия Федоровича не вырос и не отвис больше того, что определяется возрастом. И был он еще красив, и утром отказывался от совместной молитвы с таким равнодушием ко всему святому, с каким никогда бы не отказался от исполнения супружеского долга.

Вечером, оставшись одна, жена Василия Федоровича занялась ухаживанием за собой. Полежала на диване и потом села, прислушиваясь к мышинному пisku в комнате пасынка, который только что проснулся и надел наушники. Пасынка про себя она предпочтительно называла Ипполитом. Никакой дани классической трагедии – «Двенадцать стульев»! И к тому же, юноше так не шло его святочное славянское имя, данное по моде начала восьмидесятых. Мать Ипполита в свое время читывала и святки, и церковный календарь, и сонник, и Камасутру, и «Собачье сердце», и все, включая «Луку Мудищева», все, что размножалось в их ПКБ на допотопном компьютере величиной с платяной шкаф, размножалось одними прописными буквами, чтобы, наверно, компенсировать убожество и бледность оттиска. Ипполит бросил на змеевик в ванной потемневшие от пота носки, в которых он, вероятно, спал. Ипполит до утра так и не вышел. Она так и сидела на диване, так и слушала обиженный писк его компьютера, наступив ногой в капроне на пилку для ногтей.

Василий Федорович, когда пьеса ему не нравилась, начинал потихоньку оглядываться на зрителей. Этот зал никогда не пустует. Он сидел в одном из первых рядов, и ему нравилось замечать, внезапно оглянувшись, что у мужчин губы блестят совсем как у девушек, которые пользуются только блеском для губ. Все лица одинаково бледные, и даже вон тот апоплексичный блондин как-то растворился в темноте, подкрашенный отраженным светом, и спал с лица. И все лица выражали сочувствие происходящему на сцене. Как трогательно! – думал Василий Федорович, а сам поглядывал. То на ручные часы, подарок сотрудников к юбилею. То назад. Программку он давно прочитал и держал в руке, и пытался расшифровать логотипы фирм, которые этот спектакль одевали, вывозили, привозили и даже поставляли для него рыбу. Тут же было особо написано, что рыба – это символ спасения, так как...

Вспыхнувший свет многих застал врасплох. С букетом роз от управления культуры и спорта, шикарно одетый хлыщ, в прошлом удачливый велогонщик, чья голова еще сохраняла какую-то подозрительную приплюснутость, – и тот не сразу ринулся на сцену, и тот не сразу дал команду аплодировать. Артистов еще несколько раз вызывали, и они отвечали поклонами, взявшись за руки, но только было видно: не до того им. Каждый в своем ритме, свойственном уже не роли и не игре, а действительному темпераменту, переминался с ноги на ногу. И зрители что-то нервничали, и хлыщ не уходил со сцены, казалось, только потому, что актеры мстительно держали его за руки, отдав куда-то розы в зубчатом золотом кулке. Но вот один каблук на чем-то поскользнулся, дама в платье начала века чуть не упала, – и это стало сигналом бегства. Василий Федорович не спешил. Ему не нравились долгие очереди, а он успел заметить, что гардеробщиц на весь театр всего-то две. Гардероб, однако, оказался безлюден, вся одежда висела на своих рогах, и Василию Федоровичу первому подали его пальто. Вероятно, он не так внимательно прочитал программку, и не понял,

что действие пьесы еще продолжается. Только вот где? Не во сне же! Обычно оно было без вешалки, и, пойдя он в театр, болталось на железном крюке, как мясная туша в холодильнике, но на этот раз шаркающая дорожная старушка с прической под мальчика и голыми руками, по консистенции похожими не столько на дрожжевое тесто, сколько на мешки с мелом, старушка с такими вот сыпучими руками, принесла Василию Федоровичу его пальто пришитой петелькой вверх. Он расстроился. Сколько же во всем этом скуки! Молитва в шесть утра, постный обед, сонная комната сына, а теперь вот кто-то, нагоняя еще больший сон, сидел в гардеробе и пришивал вешалки из полосок сыромятной кожи. Да эту, мою, так неудобно пришил, что она будет торчать над воротником, и никуда ее не спрячешь.

Оба туалета гудели, как пчелиные ульи. Все зрители почему-то были там, и там-то, верно, и выстраивалась та самая очередь, которую Василий Федорович рассчитывал застать у гардероба.

II

На улице какой-то парень с сигареткой за ухом передал ему письмо. Развернул. Прочитал. Сказал: «Ответа не будет». Парень повернулся к нему в профиль, постоял так минуту, вот, Василий Федорович, полюбуясь, какие у нее письма разносят, но Василий Федорович махнул рукой: давай, давай, пошел отсюда. Парень уходил боком. Сигарета за ухом до прозрачности потемнела от сала его немытых волос, и в ней теперь, сквозь бумагу, роятся желтые и красные табачинки, словно это был тот сладковатый фестивальный табак, который появился в Москве весной 1985 года.

Я посмотрю еще, сказал Василий Федорович. И посмотрел. Какая она длинная! Какие у нее огромные длинные пальцы, когда она пишет! И еще: ей всегда трудно держаться прямо. Она будет горбиться на протяжении всей встречи. А завтра плакать.

Парень уходил сперва по улице, бочком: любуйся. Потом улицу стало заносить мелким мятушимся снегом, желтым и синим, в зависимости от того, какой фонарь зажигали у него на пути. С фонарями в снегу ему должно было быть проще, а вышло наоборот: там в одном фургоне продавали бублики, пораженные маковой сypью, неопрятные, нечистоплотные, слишком самодовольные, чтобы не понять про них, про эти бублики, почти сразу: такие кислые есть нельзя. А есть ох как хотелось.

То, что он плачет, у меня к этому нет никакого сочувствия, – сказала барышня в окошечке. А в другом окошечке сидел хлеб. Хлеб назывался народный. Его выпекали в виде необрезанного члена. А у него было назначено свидание, поэтому он побоялся купить такой. Барышня из окошечка ему говорит: – Ишь ты, да разве такие старые ходят на свидание? – А старенькая престаренькая перечница, вахтерша из общежития, говорит ей, пересчитывая сдачу в монетках по пятнадцать копеек: – Ему было письмо из прошлого, и на это свое свидание он придет молодым. – Эта вахтерша вышла на минуточку купить шоколаду и булок, тоже народных, но размером поменьше, и в фантике с маленькой синей синичкой на белом фоне. И с пипкой для стока извержений.

Давняя, ох, давняя история, старая, как фильм «Доживем до понедельника». Там юноши и девушки, вместо того, чтобы тискать друг друга под лестницей и пить портвейн, решают вопрос о счастье, который перед ними поставило советское киноискусство. Да послушайте! Он ведь тогда тоже и тискал, и пил портвейн под лестницей... тискал все живое, не очень-то разбираясь в темноте накуренной подлестницы, кого, собственно, берет. Но он же, в те же самые минуты, когда на свет из его рук выскальзывало что-то растянутое и размазанное, в собравшемся гармошкой сапоге-чулке, как будто бы даже и одноногое, точно метла... он-то, когда избыток выпитого портвейна искал, во что бы ему прицелиться на противоположной стене, и, наконец, обдавал его колени (бедная моя мама!) – он-то тоже мучительно искал ответ на поставленный вопрос о счастье. Прошло много-много лет. Прошло без малого сорок лет, это ведь много, без малого сорок? – И он получил письмо.

III

Ну-ка, нимфы, всколыхнем. Разжьем кожуру винограда, раз уже мы высосали из него весь сок. Бабушка сиживала напротив, кормя его виноградом. У бабушки была глаукома, пипетка нежнее,

чем девичий сосок. У бабушки слезились глаза. У бабушки на окне в литровой банке стояло крошево из селедки и картофеля, такое субтильное, что она его мажет на хлеб. Бабушка спрашивает нас: «Будешь винэгрэт?» И слышится «виноград», а в ответ на согласие подается в эмалированной миске кислая смесь, сочащаяся свекольными выделениями. Бабушка с косточками ест виноград в сентябре. Косточки излечивали ее от глаукомы... Палочка. Гнутая. Треснувшая на конце. Когда бабушка забила в конец гвоздь, то палочка треснула. И этот конец пришлось схватить медной проволокой. Она держит тебя под руку, а под пушистым наносом снега лаковой крышкой пианино чернеет лед. Гвоздь врезался в лед и поехал. Падая, она смеется. Мы дома. Всколыхнем...

Какие легкие аллеи, летучие бульвары с чутунной кладбищенского цвета решеточкой. И у всех, у всех женщин стоптанная обувь. Даже у той, что вчера назначила ему свидание, белые туфли содранны с внутренней стороны, а каблуки стерты наружу. Они ходили, подворачивая ноги, свои тяжелые, глупые ноги. У нее ноги глупые, как колонны серого оперного театра. Черт! Не могла придумать места поинтереснее. Сядет в основании одной такой колонны и будет загорать лицом.

Его трясли за плечо. Вставай, Василий Федорович, ибо это час твоей утренней молитвы. Или час исполнения супружеского долга, что одно и то же, если судить об этом из твоей памяти. Или из твоего несладкого сна. Тебе ли не знать, как несладко придется завтра. Ты, ей-богу, уже помолился бы с самого утра, или чем-нибудь другим... да, займись чем-нибудь другим. Но Василий Федорович еще успеет опустить руку в карман пальто с новой вешалкой из сыромятной кожи, чтобы нащупать там желудь и хрустнуть его сухой скорлупой. Коричневый желудь с острым носиком, след какого-то дачного лета.

IV

С виду спокойная, всегда тихая, всегда немного испуганная. Есть такие, их в грубости больше всего пугает шум. Если бы жизнь им на ушко шептала всякие гадости, то они бы вели себя увереннее. А там разойдутся и – глядишь – сами начнут хамить. А у интеллигенции со стажем, с анамнезом в несколько поколений жизнестроителей, грубость вроде мундира. Не то с эполетами, не то с аксельбантами, и уж, во всяком случае, со всеми гербовыми пуговицами. Она же не знала, отчего это так, она жила исполнительная, тихая, напуганная, без всякой возможности самой, самой. Зовут ее, скажем, Нина. Кажется, что с этим именем у нас ничего не связано. Только вот одна толстая старуха с широким восточным лицом, которая заплетала свои пушистые волосы в пару девичьих косичек.

Умерла, умерла.

Нина тоже получила письмо. Она парня с сигареткой за ухом не видала, не то опять напугалась бы и ни за что из дому. Но почтовый ящик у них добродушная тварь. Дверца дырочками и в них виден длинный конверт. Вот дырочки тянутся, и конверт не обрывается, никак не оборвется. Развернула. Прочитала. Решила, что ответа не будет. Нина не знала, кому ей писать. То, что ответа не будет, означало, между прочим, что она никуда не пойдет.

Никуда и не требовалось. Ложись, Ниночка, на диван, только не раздевайся, по крайней мере, сразу, а то я решу, что все это не для меня. Ты просто лежи. Руками ничего не трогай. Можешь занять их медвежонком. Если бы ей для этого нужно было встать, зашнуровать ботинки, такие высокие, новые, и проехать автобусом хотя бы остановку... не стала бы и думать, а так исполнила. Закрой глаза. Немного неудобно? Прямо в джинсах. Прямо в джинсы... нет, не трогай, не трогай ничего. Ты у меня сейчас привыкнешь. Мне ведь тоже сперва было неудобно, неловко. Никак не могла подобрать нужного почерка, и перо у меня, в конце концов разбежалось на каком-то детском. Посмотри, это рынок на углу, возле большой больницы. Здесь продаются комиксы, а здесь туалетная бумага, расчесочки, карандаши для глаз, для губ... дальше рыбный рядок. Торговка в вязаной шапочке кормит бананом свою собачку. Съев весь банан, собачка набросится на кожуру. Мужчины не опрятны, и с ними не интересно. Они повсюду разбрасывают оловянных солдатиков, обломки своих кораблей и самолетов. Это неприятно, они уже взрослые, они не имеют права играть. Им не дозволяется поиграть и с тобой, еще хуже, если кто-то из них начнет тебя выдумывать, видеть во сне. Ты и не подозреваешь, какому количеству мужчин ты обыкновенно снишься. Твой

дедушка, стоит ему только захрапеть, а он засыпает под утро, за час до того, как тебя вздрючит твоя любимая Мадонна, вот твой дедушка видит тебя сквозь воду. Ты такая огромная, что не помещаешься в ванну, ноги со сморщенными от воды подушечками пальцев лежат на краю. Он входит, отодвигает твой журнал, который мешает ему взять полотенце или зубную пасту... и, ужасная вещь! У тебя совершенно отсутствуют груди, а волосы... на голове их тоже нет. Это его привычный кошмар, но если он не обнаружит у тебя на теле даже пупка, не то чтобы сосков... Помнишь, летом ему стало совсем плохо? И голова болела, и калофелин не подействовал. Потом, не сейчас, я расскажу тебе о других кошмарах. Нина спит, не раздевшись, Нина обнимает мишку. Ей видна окраинная улица, тротуар теряется в тополях.

V

Василий Федорович купил себе пачку сигарет и зажигалку feodor. Табачный киоск был теснее лифтовой кабинки, и, когда продавщица поехала в нем куда-то вверх, чтобы достать тех сигарет, которые держат повыше, окошечко забилося ее кофтой, белой, похожей на разварившиеся макароны, поросшие дымчатой плесенью, которая хорошо развивается в темноте. Она дала сигареты и зажигалку, но, когда стала отсчитывать сдачу какими-то нездешними купюрами, то Василий Федорович подумал, что они не слишком яркие, не слишком красивые, и заснул. Окружающий мир, обыкновенно не слишком внимательный к этому преждевременному старику, затаил дыхание в ожидании чего-нибудь вносящего радость.

И началось! По длинной окраинной улице, одна сторона которой обрывается в болото с вековыми осокорями и дикой уткой, запутавшейся в тростнике, шел человек с бутылкой красного вина в одной руке, дымящейся сигаретой в другой. Поравнявшись с Василием Федоровичем, он ему на ухо зашептал: И Василий Федорович был оглушен и ничего не понял. У болота всегда одолевают комары, поэтому гуляние здесь невозможно, разве чем-нибудь таким от них натереться... «Я? Что?» – спросил Василий Федорович. Прохожий сделал глоток вина и передает ему бутылку. Оставшись непонятым, он, конечно, будет капризничать. Есть, мол, вещи, которые трудно повторить. А Василий Федорович держал бутылку за горлышко и все боялся ее как-нибудь поудобнее перехватить, чтобы начать хоть немного пить. – «У меня все карманы задние», – сознается прохожий, почти не раскрывая широко валившегося рта, заросшего уже и не щетиной... – «Вот ты мне скажи, Вася, отчего это у нас милиция небритых шерстит и шмонает, а бородатых не трогает? Даже к ним с уважением. Не знаешь? А потому, что бородатые, они как Иисус Христос... Ну, для милиции, конечно...» – Василий Федорович выпил только для того, чтобы увереннее зваться Васей. И тут он увидел, как из-за тополей выглядывает мужик в длинной черной куртке. Ну и вид был у этого мужика. Тоже с бородкой. Такой короткой, точно ее намазали грязью, и это грязь держится на щетине, а не будь ее, отвалится. Этот бутылку у Василия Федоровича отобрал, а то под ногами у них уже начинали собираться воробышки-алкоголики, и, когда он прятал недопитую бутылку вина, то Василий Федорович убедился в том, что и у этого все карманы задние.

Что за день сегодня! Сердце поет. И у вина вкус живого винограда с раскушенной косточкой. – «Да, – сказал другой мужик, – тебе, Вася, сегодня на свидание, не забудь». – И Василий Федорович увидел у него за ухом засаленную сигарету. Засаленную, пропитанную потом, таких не курят, их носят как знак.

VI

Сколько знаков поставили, положили, набросали. Мусор, мусорные пташки, ничего попросту не шевелится, и все словно наливает, пей, дорогой, у тебя сегодня свидание.

Давняя, ох, давняя история. Произошла на голом месте без кустов, а теперь там елки толщиной с боченок и много мертвых американских кленов. Никто не помнит, когда их было столько тут живых. Клены пилят. Клены укладывают возле подъездов горбами или дуплышками вверх. И они, крошась, еще служат сидением. Проходя в этом месте, Василий Федорович и тут попробовал было всколыхнуть, предаться, но воспоминания не нашли под собой дна, той устоявшейся мути, в которой их план-

ткону бывает тепло. Все стало чужим, все оделось листвою, и не фиговой, не по пояс, откуда этот дуплистый пенёк возле скамейки, раскинувшийся корни по тропе, чтобы подставить ножку прохожим? Никогда здесь не было дерева. Он перелистывал блокнот, который сорок лет назад нашел под партой. Толстые кожаные корки, просто маленькая книга в черном переплете, не глядя вырвал две первые страницы, сделал оставшееся своим дневником. Списки прочитанных книг. «Искушение святого Антония». Вильям Шекспир «Ричард Третий». Вильям Козлов «Солнце на стене». Перелистывал. Никак не мог там найти записи, что на этом углу было дерево, деревце... Вот упущение. Тут девушка стояла в ноябре. Окаменевшая отказом, готовая защититься от нас большой связкой ключей (сколько же у нее замков от дома?) Связку эту она правильно держала, как держат кастет, когда хотят ударить, чтобы выбить побольше зубов. Но был ноябрь, еще бесснежный. Последние, липкие каникулы, последнее объяснение. Теперь, столько лет спустя, она ему пишет, что продолжение еще возможно, и, с тем, чтобы он поверил ей, она пишет не собой. Наверно, у них это принято. Каждая женщина одевается получше, когда идет на свидание. Не в домашних тапочках! Переживешь роман в домашних тапочках, тогда что вспоминать? Картину отчетливую представит себе Василий Федорович, который спал. Этот воровской туалет обезображенной временем дамы. Сегодня ее звали Нина. Это имя, как ей казалось, лучше всего подходит для зрелого свидания. Потому что есть свидания зеленые, как падалища, и кислые: скорей, скорей. Стою у края постели босая и в одном лифчике, который некогда снять. И другое дело длительные отношения, с прогулками. У меня серые замшевые перчатки, из кожицы разных козлов. Правая – старый козлик, бабушкина щечка. Левая – вся в хотюнчиках, так мой папа называл ювенильные пустулы. Я пойду справа от кавалера, сияя юной перчаткой, смазанной специальным кремом, чтобы хотюнчики не гноились. Предвкушая для зрелого свидания медленное имя и медленные перчатки (Еще не зная, что на свидании они будут красными, да и имя переменится), она выходит из комнаты, где на диване только огромный мишка, немного влажный от пота, и останется. Пока у нее довольно сложный рот, не как у всех, не две губы, и что-то с пальцами, слишком большие, когда она пишет. От этого – детский почерк, почерк школьной отличницы, торопливые, несколько сжатые прописи, в которых зияет пугающее о.

VII

После чистенького фильма «Доживем до понедельника» Василий Федорович всю ночь не спал. Ворочался и, кажется, плакал: «Возьмите меня с собой». В ту ночь, если бы это случилось, он рисковал навсегда остаться черно-белым. Конечно, его никуда не взяли. Под окнами дома напротив был палисадничек, скрывающий то, что делается в первых этажах, а на дорожке валялись выброшенные акварельки, все незаконченные, все они изображали переплетения желтенькой пары с растрепанными волосами. – «Молодожены забавляются» – сказал одноклассник, который принес эти рисунки и еще какой-то английский журнал, цветной, стянул у брата, тоже недавно женатого и ходившего без шапки. Раскладушка визжала пружинами, между ними проникал холод от пола, Василий Федорович спал возле пианино и, когда вставал глотнуть воды, то должен был помнить об опасности стукнуться головой о выступ с клавишами. Черный низ пианино гудел, когда он задевал его локтем или коленом. Занятия во вторую смену. Девятый класс, ноябрь, и утром спи хоть до часу дня.

Он хотел остаться черно-белым, он хотел общения с черно-белыми людьми, он излишне долго просил об этом судьбу. И за это был наказан. Одноклассник принес ему цветной журнал, пристойный. Правда, с голыми женщинами, но снятыми со спины. Вот почему его несколько не озадачила сигаретка за ухом, эта засаленная сигаретка, Василий Федорович не из тех, кого нужно долго к знакам приучать. Когда я заболел, то прочитал «Искушение святого Антония», и оно меня поразило. Я лежал в постели несколько дней, и, так как у меня нет привычки перечитывать, а только помнить, то и вспоминал шакалов, которые заглядывали в пещеру, и женщину, влюбленную в евнуха, и говорил себе: «Мы с Флобером...» – закончить фразу, как я хотел, я смущался. И сейчас не могу произнести ее в первом лице, в настоящем времени. Они с Флобером... Им с Флобером... казалось, что они все понимали...

Василий Федорович видел сон. Китайская игрушка, набитая тяжелыми шариками, он мог принять любую позу и остаться в ней. Наяву он читал редко, но этим объясняется тот факт, что во сне

он почти все время читал. Свои сны он не столько смотрел, сколько читал в форме печатного слова. Казалось, кто-то злой и резвый требовал от него, опять-таки, в наказание, чтобы его воображение было напряжено там, где его напряжение меньше всего требуется. Романы во сне не имели ни конца, ни начала, как будто это были издания средневековых рукописей, испорченные временем. И, когда Василию Федоровичу хотелось оконченности мгновенной, какую мог бы дать небольшой рассказ (если уж он и брал в руки книгу, то это был сборник), то вдруг выяснялось, что часть страниц вырвана кем-то и отправлена как любовное послание или научная статья о воздействии ординарных вин на некоторые внешние признаки человека. Поэтому-то чтение во сне ему всегда было непонятным и неинтересным. Добравшись до сна, он читал его с отвращением, слишком длинно, детали мешают дойти до конца и выстроить концепцию быстро. Чтение начинается установлением оттенков. Оттенков цвета, может быть, и доступных пониманию, но не доступных вниманию Василия Федоровича, считавшего, что снег белый, вода коричневая, асфальт серый. Роман, читаемый им во сне, можно было назвать бытовым. В нем Василий Федорович узнавал себя прожившим другую жизнь, и это была жизнь неудачника, и он ее боялся, не замечая, так как никогда внимательным читателем не был, что этому неудачнику многое открыто. А судьба к нему благодарнее. Только вот кепку клетчатую из этого романа ему хотелось не побояться носить на голове. Пробовал. Падает не глаза, и ничего не видно. А сдвинуть не затылок, как носят многие его сограждане, чтобы стеклянным, тупым и выпученным все-таки не было пусто, это уж слишком вульгарно. Так она и лежит в одежном шкафу, с чистыми трусами, надетая на марлевый мешочек с порошком от моли.

VIII

Оленька проснулась и отодвинула влажного медвежонка с обслынявленной мордочкой. Слюна изо рта за время сна затекла ему в ухо, в глаз, на лоб, засохла и поблескивала, как слизь улитки на мху. Слюна у нее изо рта. У кого же еще. По коридору – в туалет. Анонс фильма с Бандеросом, который она так и не посмотрела на прошлой неделе. В ванной Оленька в первую очередь попробовала, хорошо ли склеена кружка. Мест соединения осколков она не нашла, но прежнего звона, ударив по ней зубной щеткой, все-таки не добилась. Печальный, хриплый стук. Мама целыми днями занимала телефон, выясняла у своей подруги, что значат ее сны, и к чему они могли привести. Про свои Оленька знала одно: никакой еще не отпечатался на ее судьбе. Однажды Оленьке приснился детский сад. И ничего потом не случилось.

Ей нужно туда войти, чтобы сдать экзамен. По дорожке из камней и сухой глины. По обе стороны дорожки стоит вода. Оленьку обходят матери, дети держатся за них одной рукой, а другой, нагибаясь, черпают воду и пьют. Их шлемики завязаны, на месте наушников золотые пуговицы. Под водой лежат угловатые вещи, красные, чтобы она могла их рассмотреть, а зато обитателей снящейся воды, всяких карасиков, и других рыбок, полосатых, нет. На крыльцо ей взойти не удастся. Кто-то задерживает ее на дворике, отводит вбок, вдоль детского сада, закуривает сигарету, показывает на ограду, низкую, сетчатую, сверху закрытую сухой лиственной выюнок. Обыкновенно, говорит он, здесь вешают японцев, потому что они низкорослые. Несколько несчастных японцев, повешенные на ограде, действительно не достают ногами земли. Но страшнее этого было не попасть на экзамен, нанести обиду любимому преподавателю, который поставил-таки пять баллов и не обиделся. Явь лучше. Оказывалось, что все экзамены для Оленьки закончились, и об этом свидетельствовал диплом.

Оленька вечно мерзла. Она и теперь грела ладони между колен. Большие ладони с длинными, словно точеными пальцами. Ей нравилось быстро-быстро писать на жухлой дешевой бумаге грязно-серого цвета, по которой так хорошо ходит стерженек шариковой ручки. Она редко составляла мелкие строки, и все буквы у нее выходили одной высоты, так что, на самом деле, в этой скорости было несколько больше лени, чем кажется с первого взгляда. И, между прочим, лени ума. Ум ее совсем обыкновенной ленью ленился перед всем живым и непонятным, перед всем, что ей не удавалось охватить при помощи простых представлений, перед всем, чему она не могла найти практического применения. Иногда ей говорили, что она умом в свои четырнадцать лет была

даже старше, чем сейчас, когда ей уже двадцать четыре. Не только эти мишки и кружечки, которые оплакивают, когда они разобьются, как умерших котят, в каждом ее жесте не хватает беспечной взрослой уверенности, отваги, с какой надо браться за любое недетское дело. Грозно, как лесной летний ливень, шумело мясо на сковороде. Здесь постов не держали, и слава Богу. Мама готовит ужин. Оленька сидела и мерзла. Бархатный ободок, придерживающий длинные каштановые волосы, никогда ей не идет, но он, черный, хотя бы на первый взгляд, бабил, делал старше, а большой рот то и дело становился узким – школьная привычка изображать напряжение мысли и готовность к ответу, так быстрее отстанут и перейдут на кого-нибудь более пугливого. Считалось, что она умница. За что ни возьмется, все сделает испуганно точно. И все-таки, они никогда ни за что не возьмется, никогда ничем не заинтересуется, если не надавить на ее страх. Оставь ее на свободе, предоставь ее самой себе, не ставь перед ней задач – руки вяло опустятся и спрячутся между колен. И до сих пор игрушки, мягкие и безвкусные, пускай, но обязательно пушистые и дорогие, за которыми, за каждой из которых, она словно бы от чего-то отогревалась. Она не стеснялась обнимать и прижимать к себе и баюкать на руках большого плюшевого медведя, которого недавно, с визгом восторга, вынесла из магазина, отдав за него половину зарплаты, в постель укладывала тигренка, тоже величиной с настоящего, и пухлую лошадь с бахромчатой гривой, в срубе и под седлом, величиной с тигренка, мелких Оленька не смогла вспомнить, и они ей не приснились. Вот разве что какая-то зеленая овца, с красными глазками, фиолетовой улыбочкой. Но нет...

– Куда ты? А ужинать? – у мамы в руке была лопаточка для переворачивания мяса, и она обтирала ее передником, глядя, как Оленька натягивает свои старые сапоги. – «Я буду сидеть под колонной театра и загорать лицом», – хотела ответить Оленька, но поняла, что как раз маме этого говорить нельзя. За окнами краснело мутное небо ноябрьской ночи.

IX

Василию Федоровичу тем временем окончательно снился сон. Мимо прошли две девочки, облепленные перьями, как подушки, перья вылезали из пуховиков, розового и желтого. Это были спортивные девочки, более того, мартовские спортивные девочки, если судить по ледяному поту раздевалки, которым они пряно благоухали. Такому запаху, такой раздевалки, когда тренировка давно закончилась, и маленький толстый тренер со свистком и секундомером на шее, в обтягивающих штанишках, серых, точно кальсоны в черно-белом кино, собирает под лавкой то гребешок, то пластиковую клипсу, то обертку жевачки, твердую от последней подушечки, и делает это с надеждой найти там настоящее золото или серебро, всегда напрасной. Вот, а потом он думает, что парни побеждают друг друга силой физической, представляя себе их руки, ноги, шеи... а девки – те только силой духа, силой характера, а в сейфе у него, в нелепом сейфе для хранения золота, сейфе со сломанным замком, хранится коньяк...

Он пьет. Опохмеляется наутро. Опять пьет.

Кожа сухого желудка треснула под пальцами. Василий Федорович катал в кармане комок грязного от копоти свечного воска, облепленного табачной крошкой, и на ощупь лепил из него медвежат, не всегда разбирая, где носик, где лапки. Карман – это страшно! Рука опускается туда, нащупывает какую-нибудь штучку – и пропал. От этого занятия нельзя отделаться. Что это может быть? Да не все ли равно? Свернутый в размахренный рулончик дорогой билет на прошлогоднее представление, глянецовый ярлычок от кепки, купленной в прошлом марте по случаю таяния снега, под бурлящим в грязи солнцем, а продавец божился, что короткий ворс не сваляется в катышки. Это может быть и деталька конструктора с шестью соединительными отверстиями – внук бросил ее в карман, и ты не помнишь, какого она цвета, зеленая или голубая. На этот раз желудь. Давно их не было.

X

Глупые сапоги, они раскисли, покрылись белыми разводами соли. Наверх! Но там уже тесно: давились и вставали на носки. Коридорчик! Она вспомнила проход к сцене с другой стороны, без окон, в мигающей люминесцентной синеве, с фаянсовым фиалом, полным пепла, у нужной двери.

– Я другая, – сказала Оленька. Так ее научили говорить во сне, когда одевались в нее, как в вещи, когда называли ее Ниной. Для каждого спектакля ей придется покупать рыбу и обдирать с нее кожицу, и так весь сезон. Театр, в котором она работает, других спектаклей не дает, и у Оленьки нет никаких других обязанностей, кроме вот этой. Купить живую рыбу, закатать на ней кожицу, подать во втором акте тому, кто в театральном перерождении – официант-резонер. Театр располагается в здании, похожем на вагон, и делит кров с двумя бутиками. Казино в подвале. Вышибалы с высшим образованием, и все ухаживают. Живая рыба продается на рыночке, в рыбном рядке. У торговки черная мохнатая собачка, собачка эта подбирает на снегу банановую кожуру и ест ее. Торговка выдыхает вирусные испарения в высокий воротник своего свитера. Карпы смотрят на Оленьку каждый только одним глазом, но зато влюбленным. Оленька на карпов совсем не смотрит. Оленька торопится. Собачка подбегает банановую кожуру прямо у нее из-под ног. Сегодня мы проспали, незачем было ложиться днем. После дневного сна я всегда не могу собраться с мыслями. Но тут ничего не надо решать самой, только исполнять, и на том спасибо. Как всякой ленивой и невнимательной девушке, не умеющей видеть ничего, кроме университетской библиотеки, ей, наконец, встретилась именно такая любовь, какую она заслужила. Это был женатый человек, и с решительными действиями он не торопился. Хотя, в прошлом году, вечером, когда долго что-то не подходил автобус, все равно ведь никого не было, а снег перешел на плач, и огни погасли, он осторожно погладил Оленьку по спине и, сквозь драп нащупал два таких мышечных тяжа возле позвоночника, что испугался своей ласки и больше так не делал. Сегодня вечером Оленька подумала: «Если и рыба мне сниться, то это к болезни». Но тут же успокоилась: «Это не я буду обдирать рыбу, а другая». Остановилась. Бежать ей по мокрому снегу было неудобно. Вся мокрая. И кто-то чужой толкается внутри, как больное сердце, или как в пакете, еще живая, вздрагивает рыба для реквизита. Закрывает глаза и увидела свои колени, какими она помнит их после сна, во время чтения анонса на фильм с Бандеросом. Свои-то колени Оленька любила, круглые, крупные, в нежных бугорках, а выше правого есть выпуклая родинка величиной с горошину. Родинку эту трудно было воспитывать, трудно было научить ее не чесаться, даже после того, как в этом месте потрешь мочалкой. И все-таки, ее колени, не смотря на шелушащуюся, как бородавка, родинку, были очень красивыми. Но куда она делась сегодняшним вечером, эта родинка? Проверить, на месте ли она теперь, Оленька не могла. И вот фасад театра, похожего не вагон, сияет и мигает вывеска казино, темные витрины ботинок. Наверх! Но там уже тесно давились и вставали на носки. Коридорчик! Она вспомнила проход к сцене с другой стороны, без окон. Темный. И не нашла, где включается свет, и двинулась на ощупь, осторожно переставляя ноги, и думая о том, что она сейчас должна удариться коленом о фаянсовую урну с пеплом, и тогда сигаретные окурки, набившие урну доверху, перепачкают ее черные джинсы. Вот пальцы ее наткнулись на нечто устойчивое, холодное и гладкое. Она старалась ощупывать колбасные грани урны как можно ниже, почти у ножки, почти у ножки, там, где они сходятся, там все-таки чище. И дверь нащупалась. И Оленька толкнула ее, и оказалась в фойе. Ошибка сказала о себе сразу, как только она привыкла к свету. Дверь открылась в фойе над казино. Значит, свою урну Оленька прошла в темноте.

На диване, под пальмами, у окна, забранного театральным складчатым шелком, сквозь который мигала вывеска подвального казино, – то красная, то ультрамариновая вспышка, – сидели все пятеро. Трое большеглазых мальчиков, у двух лакированные флейты в руках, пухлая девушка-скрипач и футляр с виолончелью, такой же величины, как самый высокий из этих мальчиков. Их белые рубашки показывались из прорезей радужных кофт. А на девушке огромным листом майской капусты морщилось платье. У них были одинаково умасленные глаза, они казались братьями и сестрой, старшей сестрой. Они готовились к выступлению, которое, из-за неразберихи в программе в тот вечер не состоится. Рыбу узнали. С рыбой поздоровались. В городе, не богатом чудесами, полюбили этот неброский спектакль, который лелеял каждого завязного театрала, как бы завязывая с ним знакомство по-новому. И льстило отсутствие дистанции между актером и зрителем, никаких котурнов или грима, актер так же способен сыграть свою роль, как и самый неприятный из тех, кто в зале расположился. Изюминкой спектакля, до конца проясняющей тему

единения, было то, что в антракте актеры и зрители посещали один и тот же туалет, веселенький, журчащий, брызгавший на штанины водой автоматического смыва, как мартовская капель. Полюбили спектакль, полюбили и рыбу. Карпы, казалось, гордились этой ролью не меньше людей. И в прозрачном пакете карп ответил музыкантам ударом хвоста. Быть может, последним, Оленька уж очень опаздывала.

XI

Сегодня Василий Федорович ничего не читал, кроме этого письма: под колонной, дождись апреля. С прохожими он больше не заговаривал, только руками показывал покой, чтобы все поняли, что спит он, спит. Медленно брел вдоль улицы к скверику. Ему хотелось на скамейку. Ему-то казалось, что и апреля, и этой колонны он опять не дожидется, так ведь во сне и бывает. Только что прошел дождь, но спящего не беспокоило, что скамейка может оказаться мокрой. На нем был сухонький плащ.

А еще серая кепка в клетку. Таких наяву он, разумеется, не носил уже очень давно, да таких теперь никто не носит, разве что в театре. Выйти на сцену, тут же снять и отдать лакею. Нет, бросить на диван, чтобы туда во время действия никто не сел. Василий Федорович миновал слепое окно первого этажа, заклеенное белым, как стеклышко детских очков для исправления амблиопии. Зрачком другого окна был подающий надежды карапуз. Босыми ножками стоял на подоконнике, ладошками упирался в стекло. Если бы мать кинулась его подхватить, непременно упал бы, ударять затылком об пол. А так ничего этого не случилось. Василий Федорович, по крайней мере, этого не видел.

Сев под елочки, он услышал разговор. Говорили на балконе в гостинице, надо будет осторожно посмотреть, с какого этажа. Речь отдавала такой помойкой, где и последний бомж не найдет себе ничего на ужин, ковыряй, ковыряй, палочка с грабельками на конце.

«Как это довлеет». – «Раз сказали, два и три, а он все ловит».

«Я с ним переглянулся. Пора, брат, пора. Давай, щас по соточке, и мы тебя проводим. Однозначно, однозначно проводим».

Гром прогремел так тихо, как будто укладывался спать.

Кто-то вышел из гостиницы, посмотрел на носки ботинок с подковками и протер рукавом лицо, будто это было запотевшее зеркало, но вечерней мути с него так и не снял.

Потом девочка нагибается на одной прямой ноге и тянет голую руку к сугробу. Никакого сходства, это совсем не то, чего я жду. Как все-таки страшно не узнать... пятен и складок... в глубину пятен и складок его вещи, плаща, растянутого на все пуговицы, кроме нижней, уже без труда попали сумерки. По плечу бродил березовый клоп. Толстый шарф перестал терзать его за голое горло. Лениво, взяв его за размахренные концы, ветер обметал с плаща осеннюю шелуху. Плащ дорогой, английский, такого солидного покроя, как на Бенни Хилле. Только вот черный, и все к нему прилипало, и в одном кармане водились пересохшие желуди. Если положить кусочек желудя в рот и долго размачивать его слюной, то может быть ты, Василий Федорович, и проснешься. Проснешься. Достанешь из внутреннего кармана небольшую книгу. Не какой-нибудь изодранный роман без начала и конца, а серьезную книгу о лежании. Не роман, а беллетризованное руководство. «Как лежать». Но клетчатая кепка говорит ему о том, что эксцентричность может быть экономной, как хорошая метафора, и желудя он не съел.

Давняя история, эта клетчатая кепка, впервые в шесть лет. Можно представить, как она ему была велика, и как велика была его обида, как замутился кирпичный дворик-колодец, голубой заборчик палисадника, квадратные, в удаленных временах кирпичах, ласточкины гнезда. Все замутилось от слез и хохота пятерых придурков, каждый из которых, будто то Вовка Чубуков, вертевший над головой на корде деревянный самолет, или Пашка, в сущности друг, каждый подскакивал и дергал вниз за козырек, и кепка вдруг душила и слепила, стягивая пол-лица. И он убежал домой, и все притихли, но не разошлись, боялись, что он пожалуется, и тогда надо будет просить прощения у тети Жени, а ее никогда не обижали. Он вышел в другой кепке, которая не надвигалась на

лицо, потому что была ему маловата. Если вы будете спокойно спать, и рядом не окажется никого из подвала памяти, то можно носить на голове и клетчатую кепку. Впрочем, Василий Федорович не знал, какими судьбами.

В другой раз вечером. Он провожал случайную знакомую. Богатая и шумная студенческая свадьба. Сочетались профорг и комсорг группы. Свадьба, такая жирная, что водка так и не проела своего привычного русла к мозгу. Носатая, нервная, очень не молодая студентка, с которой ему, к сожалению, было по пути, запросила курить, а сигареты, как водится, вышли. Все сколько-нибудь курносые девушки живут в другом конце этого грязного октябрьского города, вымазанного глиняной соплей, он подошел к темной группе людей и спросил у них сигарету для своей дамы. Дали. Поблагодарил. Полный, светлый, пахнущий тальком, плохо одетый рабочий дернул его за козырек и с хрипотцой снисходительно добавил: «За отраву, братишка, спасибо не говорят!» Он говорил это, пока Василий Федорович старался освободиться от удушья и стянуть со своего лица крепко надвинутую клетчатую кепку. Как и в первый раз, она оказалась ему великовата. И теперь опять на нем эта кепка, и нужно куда-то идти.

ХII

...все равно не дойдешь, хоть и было письмо, все равно опоздаешь. Лениво поднимается Василий Федорович, еще один желудь раздавлен пальцами в кармане. Этот мог бы оказаться спасительным, все отменить, он просто не догадывается. Погода, как вода, между тем, все дальше относит его от апреля и колонны, под которой можно загорать лицом. И место не подходящее. Что вы будете делать, если вам предложат перейти пруд? Василий Федорович вошел в азарт, никакие трудности его не остановят. Идти только прямо, трамвай не выбирает дороги. Пруд отражал ноябрьское небо, красное от низких туч, в которых разжижалось пламя дальнего степного газового факела, в другое время не заметное в небе. Пруд, отражая небо ноября, весь ему принадлежать не пожелал, пруд оказывал сопротивление.

– Уок, – сказала лягушка, подгребая к берегу и так кокетливо раздвигая лапки, как будто не ротовой пузырь использовала для разговора. – Кеуок, кик-кик уок. – И другая отвечала ей: – Эувак, эувак. – Ивовый пух располагался на водной глади со всеми удобствами, то есть, концентрическими кругами. Влажно зашелестел дождик: – Сюп-сип... Вот тебе, бабушка, и апрель!

Василий Федорович нашел у себя в кармане очень маленькую, живую рыбку, и это его очень огорчило. Пришлось положить ее обратно, так как выбрасывать из карманов ничего нельзя. Сейчас она там затрепещет. А на углу дома из красных кирпичей все говорило о каких-то подземных водах: иван-чай, молодая ива, сухие заросли тростника. Старушка в черных брюках и сером пиджаке сидела на скамеечке и кашляла в кулачок, чтобы хорошо видные против солнца брызги не попали на дитя в открытой сидячей коляске. Василий Федорович дождался трамвая. Поднялся внутрь, даже не посмотрев его номера, ему было все равно. До цели все равно не доедешь, поэтому и было... Потолок у этого трамвая для начала был дощатый, и с потолка, на перевитых шнурах висали голые лампочки. Кое-где их вывернули, а пассажиры... – живые шапки и пальто гремят мелочью. И шапки все знакомее, а пальто все больше дыбятся и горбятся пальтами. Вон ту, каракулеву, сняли в подъезде дома напротив ресторана «Руслан» с головы одного хирурга, в 69 году. Фамилия его была Маяцкий, через год у него случился инсульт. Приятель родителей. В семье долго говорили о ранней смерти. Бахрома скатерти. На дно графина с кипяченой водой осел распаренный тараканчик. Поздней осенью сны глубоки, и приходят повидаться давно и прочно забытые вещи. Вот и билетик в трамвае, когда ты сел, Василий Федорович, еще не глубоко, стоил только три рубля, а дошел до пятисот. Вот тебе, бабушка, и апрель!

ХIII

В театре (чуть не сказал: тем временем в театре, хотя не уверен, то ли это время, с ним вообще все не просто) Оленька промчалась мимо маленького квартета, чтобы войти в коридорчик, который вел ее за сцену. В проеме, которым он оканчивался, рвал и метал официант-резонер, но

Оленька против света его не узнала, даже испугалась, что он может как-нибудь ее покалечить. Он первый заметил карпа, который шуршал все тише хвостом в ее пакете, бросился навстречу, чтобы схватить Оленьку за пакет. Речь его начиналась сквозь зубы, но завершилась выкриком такой силы и злобы, что его услышал весь зрительный зал.

«Где Нина?» – это тихо, а следующее во всю мощь: «В этой пьесе рыбу подают облупленной!»

Между прочим, реплика спасла пьесу. Официант-резонер вбежал в свою роль, неся под жабры бьющегося карпа весом в полтора килограмма. А Оленька была забыта в темноте коридорчика за сценой и теперь, конечно, могла бы дочитать анонс на фильм с Бандеросом и справиться насчет родинки. Газетный лист как пристал к ней при пробуждении, так больше от нее не отвязывался. Но вот на месте ли родинка? То, что выше колена все время чешется, еще ничего не значит. Потому, что это другое колено, там ее и быть не должно. Туалет в подвале, около гардероба, но уже звучат аплодисменты, раскрываются двери, по лестнице вниз устремляются зрители. Расталкивая зрителей, вниз же несутся актеры и актрисы в костюмах начала прошлого века. Они спешат осуществить то особенное единение со зрителем, которое задумано как последний аккорд. Некоторые с этой целью прихлебывали отвар петрушки во время всего спектакля, некоторые чаек из листьев черной смородины, это уж кому как понравится. Все кабинки будут заняты. Подсадная дама, сходя по лестнице, громко говорит своей подруге, тоже подсадной: «Вы ведь должны догадываться, что рыба – это символ спасения. Символ Христа», так как расходящиеся зрители не всякий вечер говорят пошлость. Иногда усталые, они молчат.

Одна какая-то пробиралась наверх, навстречу Оленьке, она оттирала от себя чужие плечи, на площадке вокруг нее образовывались завихрения, и, может быть, это она отдала ногу крашеной старухе с седым пробором. Эта женщина, по-видимому, обладала достаточной силой, чтобы пройти сквозь поток актеров, которые исполняли роли зрителей. Оленька узнала ее по своим красным перчаткам, которые кое-как налезли на ее толстые пальцы, а обратно стаскиваться не хотели. Такое иногда бывает и с чужими колечками. Дама терзала себя за кончики пальцев, пожалуй, она давно потеряла форму тела, и, как многие поступают в таком случае, она особенно заботилась о форме головы. Лаки, краски. Лет пять назад мы бы это ей простили... Она ничего не могла с собой поделать. В том состоянии, когда точно мог бы сказать: я чахну, она принималась необыкновенно много есть и прибавляла в весе, такой писатель, запертый на необитаемом острове с бутылкой чернил под охраной какого-нибудь мецената. Конечно, большой вес помогает идти напролом, но, в общем-то, это некрасиво, просто гадко. Нина, впрочем, не замечала своей дурноты. Она не понимала, почему прохожие отворачиваются, когда бросаешь на них взгляды, полные надежды и тоски. Некоторые отворачиваются, едва скрывая отвращение, некоторые – страх. А ей все еще казалось, что она идет легкой походкой, так как мысленно, вернее, во сне своих мыслей, она все еще приподнималась на цыпочки и не замечала, что свободная рука у нее при ходьбе работает, как мышинный хвост. Неумолимый климакс продолжал в ней свое разрушение. Однажды вечером, возвращаясь из театра, она подошла к двери в свою квартиру, поставила на пол пакет с ободранной рыбой и, достав из кармана огромную связку ключей, как-то так зажала их в кулаке, что ей вспомнился несчастный Василий Федорович.

Давняя, ох, давняя история. Стояла когда-то внизу, у подъезда, и слушала его, ища опоры у себя за спиной, но там ничего не было, только жалкий кустик, на такой не опереться. И держала связку ключей на тот случай, если от слов признания мальчик перейдет к действиям и попытует ее обнять, взять за плечи, что они там еще делают, когда у них выходит запас признаний? Запас не иссякал. Она помнила, какой он был нелепый, ненужный, зачем это? И на другой день, еще засветло, она увидала себя в витрине большого бутика и не поверила. Стекло кривое! Вот откуда все эти искажения и такая тесная куртка, что грудь подпирает подбородок, и трудно дышать. Обидное, испорченное, темное зеркало! Это не я. И телекамера на входе в магазин, которая показывает тебя на экране, она у них просто не отлажена. И прохожие – это форма вежливости, достижение городской культуры, эти тупые, пустые глаза, которые ничьей красоте уже не смогут удивиться. Добавим сюда истории об аферистах, жуликах, маньяках. Только ненормальный может ходить по

улице с открытым лицом. И это тоже неправильные, неверные зеркала. Разве так смотрит на меня официант-резонер, когда я подаю ему залупленную рыбу, бьющуюся в агонии? Но есть зеркало чище, верила Нина, есть зеркало незамутненное, в котором я...

И она еще много думала о Василии Федоровиче. И в постные дни, но только не так плотно, и от этого ее плоть прирастала даже замороженными грибочками или вовсе уж морской капустой. Нина стала принимать слабительное, потом ей понадобились геморроидальные свечи, потом Паоло Коэльо. Подруга сводила ее в душный подвальный магазинчик и насовала ей в руки целую стопку книжек, изданных одинаково, с философским содержанием. Книжечки эти, сказала подруга, прочтя, вероятно, аннотацию, очень любят сильные мира сего, потому что в них заключается самый доступный секрет того, как преуспеть и примирить с этим свою совесть. «Ну вот еще эта (новая книжица). Правда, тут все больше религия. Не знаю, как ты к этому отнесешься». – «Я к религии хорошо отношусь», – ответила Нина. И эту книжицу она тоже купила. Так, вооруженная верой, надеждой и любовью, она пришла однажды к знакомому пальто вешалку из сыромятной кожи. Пришла, как помнится, не слишком аккуратно, но это сошло ей с рук, и многое другое.

XIV

Оленька узнала ее по своим перчаткам. Потом был голос, его тоже нельзя было не узнать. Это он, жалобы на детский почерк, другие инструкции. Нина ждала. Оленьке становилось все холоднее и холоднее. А тут еще, присмотревшись к ее правой щеке, Оленька поняла, что ей больше никуда не надо прятаться и не надо снимать джинсов. Она спрашивала себя, как это так получилось, что ее зовут не Нина, и что Нина завладела ее крупной надколенной родинкой, почти бородавкой. – «Отдайте, – сказала Оленька, – это моя». По пустой лестнице поднимался официант-резонер в белом пиджаке и черных брюках. Ему было хорошо после общения со зрителями мужского пола, но, увидев Нину и Оленьку, он прибавил шаг. – «Нина Владимировна, вы должны были объяснить ей, что рыбу в этом спектакле подают...» – «Я виновата», – сказала Нина, и в носу у нее защекотало.

Как-то раз классный руководитель, дородная деревенская баба, которую обожали за грубость, за силу, с какой она могла вышвырнуть в коридор стульчик разрезвившегося ученика, посылает ее, отличницу, посмотреть, как себя чувствует один больной ученик из параллельного класса. Нине многое тогда доверилось, и проверка тетрадей, и наушничать, и тяготы отношений с пьяницей мужем или неряхой снохой, почему бы и не послать ее инспектором? Газон перед подъездом залит известью, белые ручейки выбегают на дорожку, за дверью квартиры на втором этаже раздаются боевые крики. На мальчишке фланелевая рубашка и сатиновые трусы, измятые гармониками. В кресле с расцарапанными подлокотниками сидит невежливый черный кот. На столе мутный графин, в воде осадок, какой-то желтоватый, значит, она кипяченая, это уж точно. По полу разбросаны солдатики... Потом они станут большими, больше взрослых людей, заполнят собой душные комнаты ее снов, и только чудовищные подставки, приделанные к ногам, будут отличать их от живых. Стекло дрожало от ветра, и тени веток ходили по стене. Когда она проснется, будильник покажет ей, что до утренней молитвы Василия Федоровича осталось каких-нибудь двадцать минут.

XV

Однако, на этот раз жена, продавшая Василия Федоровича очень долго, заснула и не узнает, отчего он не возвращается домой. Вдобавок, она забыла поставить электрический будильник на шесть утра. Василий Федорович этим воспользовался.

Он прошел мимо жалкого театра, похожего на вагон. Крыльцо и ступеньки занесены мокрым снегом вперемешку с грязью, ведущей к дверям. Свернул в переулок, чтобы выпить томатного соку из опрокинутого стеклянного конуса в магазине за углом. Там уже асфальт просох. Из дверей магазина вышел смуглый усач с шевелюрой, зачесанной назад, только что уложенной в маленькой парикмахерской, тесной, как киоск внутри. В комнатке без окна, освещенной только люминесцентной лампой и заваленной почему-то модными журналами для дам, орудует, расставив локти, один старичок в белом халате. Ну и усы у него! И, когда Василий Федорович пришел к нему сразу

из душа, старичок его по-еврейски бестактно прогнал. «У вас, молодой человек, еще мокрые корни волос. Я так работать не могу...» – А как хотелось дать ему тот самый рубль, который грел в кулаке и нащупывал юбилейное тиснение орла и решки! И сдачи не взять... Ложечка с каменным стуком размешивала соль в стакане. Почти пустой об эту пору магазин. Зашла только старушка в валенках. Они-то в любую погоду носят валенки. И Коля, художник, который высекает надгробья в похоронном бюро возле бани. Но Коля живет в этом доме. Кого удивит, что на Коле зеленое трико и мятая рубашка. На ногах, между прочим, тоже валенки... только обрезанные. Старушка купила пряников, Коля бутылку портвейна. И подошел к Василию Федоровичу и навис над ним. Таким большим, каким он не был даже в детстве Василия Федоровича. Уж он и не знал, здороваться, нет ли. Однако был замечен и поздоровался. А Коля вскрыл бутылку, отпил, запрокинув ее, как трубач трубу, и, булькая тем, что еще оставалось, пошел в свое похоронное бюро. Солнце осветило выщербленные, с обнажившейся позвоночного вида арматурой ступеньки магазинного крыльца. А Василий Федорович этого еще не заметил. Его мысли занимало другое обстоятельство, куда более странное, чем это апрельское солнце, пойманное сетчатыми вениками булавчатых карагачей. Прощаясь, Коля погладил его по головке, потрепал по волосам. Но если так, то куда же делась клетчатая кепка? Ее теперь нет. Он возвращается и, не дойдя до театра, переходит улицу, чтобы углубиться в сквер за чугунной оградой из копий и трофейных серпов и молотов. На литые ограды эти атрибуты сатанизма, как говаривала его жена, просвещенная (а будильник так и не сработал!), располагались на месте трофеев. Газоны покрывала слежавшаяся листва, как в лесу, когда сойдет снег, она горько пахла смолой тополей, и елочки еще не выпустили на волю из деревянных клеток в форме пирамид. Проснувшись и вспоминая то, что с ним сейчас произойдет, Василий Федорович ничему не удивлялся, даже синим скамейкам, которые из этого сквера давно разворовали. Они во сне стояли не на своих местах. Не разбрелись еще по тенистым уголкам, не встали удобно под деревьями, а, только что выйдя из-под снега, теснились вокруг центрального газона. Он и про елочки подумает: какие им теперь клетки, в какую клетку упрячешь пятнадцатиметровую ель? И про стеклянные конусы: кто теперь так продает томатный сок? Он ничему не будет удивляться, и тому, что на людей на площади ему придется смотреть так же как на памятник, занимающий место перед входом в оперный театр с его глупыми толстыми колоннами. В колоколах своих пальто надвигались на него прохожие, огромные головы высоко сидели на длинных шеях. Таким изобразил великанов Гранвиль в его детском Гулливере. Между душными колоколами чужих пальто протиснется Василий Федорович, и наяву его потом будет преследовать запах пота. Люди над ним говорили друг другу непонятные вещи.

Хотя Василий Федорович отдельные слова понимал, но в целом ничего доступного его пониманию так и не сложилось. Вдруг его слух зацепился за нечто знакомое. Где-то сверху отчетливо прозвучало слово «играет» – «Они всегда играют», – отозвалось где-то рядом. И опять, как будто с высоты невысказанной: – «Им бы только играть. Но какой же он больной, если ползал в трусах по холодному полу? Вы, пожалуйста, Серафима Богдановна, запишите себе: это он притворяется, чтобы...» Василий Федорович вынужден был задрать голову. И вот он увидел.

Немолодая женщина, задыхаясь от тесноты своей куртки, так что грудь подпирает подбородок, дородный подбородок нездорового лица с гигантской шелушащейся родинкой на правой щеке, кивала другой, может быть, много моложе ее, но такой же высокой, такой же тяжелой, как все собравшиеся на площади памятники. И та отвечала ей, глядя куда-то вдаль, словно бы ничем не интересуясь: «Хорошо, хорошо. Как только я закончу с проверкой тетрадей, то я пойду туда сама. Прямо под колонну». – «Нет, Оленька, тетради подождут, – говорила старшая. – Вы должны понять, вы должны понять...» – и разговор становился настолько недоступным Василию Федоровичу, что он потом едва вспоминал их и едва мог догадаться, что они говорили о нем.

XVI

А какое небо было над всеми этими куклами, над угнетающим, серо-зеленым уродством зданий! Глупые толстые колонны сходились в нем, и совсем непонятно для Василия Федоровича звучал молодой голос: «Мужчины всегда играют, я это знаю. Даже когда они любят, они не могут не

придумать себе, не нафантазировать меня. А я и сама ничего... (злбный смешок, приглашение к участию) Как он посмел меня выдумать? Нина, дайте мне, пожалуйста, ваши ключи». – «Рано, Оленька, не буйствуй. Он еще не пришел». – «А как я узнаю, что он тут?» – «Нужно будет напрячь воображение». – Оленька испугалась. – «Я тебе еще раз покажу. С рыбой ведь у тебя ничего не вышло». – «А что должно было выйти с рыбой?» – Ответа не было. Нина всматривалась в огромные бронзовые лица прохожих. К сожалению, она не часто наяву любовалась памятниками, скульптурой, поэтому у всех у них было одно и то же лицо. Лицо этого памятника на площади. А другого она не могла себе вообразить. А тут еще дети. Путаются в ногах. Чужие – такая гадость! Особенно мальчишки. Каждый, даже самый тихий, мешает сосредоточиться на главном, чтобы увидеть в небе Бога и его ангелов. Это потому что каждый на этой площади напоминает ей того, в рубашке и гофрированных трусах. От холода по его ногам шли красные пятна, связанные между собой как бы сеточкой. Из-под пальто на вешалке в прихожей выполз таракан и спокойно побрел по стене к теплу горячей сотки. И, прежде чем проводить Нину в комнату к своим солдатикам, мальчик равнодушно прибил его щелчком, сказав: «Таракан». Так говорят в ее любимых фильмах про дедушкин веер или про бабушкину буденовку. Возможно, иначе, возможно, наоборот... Какой там бабушкин веер, какая там дедушкина пудреница? На полу не было даже ковра, мягкого ворсистого ковра, по которому так приятно ходить босиком. Голые доски. Полусорванная занавеска на окне, за которой притаился крошечный оловянный снайпер. Он выискивал цель, присев на одно колено, и Нина не заметила бы его в комнате, но мальчик отодвинул занавеску и показал. «Хочешь посмотреть мои парусники?» Это потом жизнь научила ее притворяться и с деланным интересом рассматривать действующую модель крекин-процесса, которая до сих пор покоится под стеклом специальной горки в мужнином кабинете. «До свидания», – сказала Нина. Она узнала все, что ей было нужно. Она пойдет прямо сейчас к Серафиме Богдановне в кабинет географии с голубым львом, рычащим на карту полушарий, и непристойной песенкой на задней парте, где поп монашку через ляжку, потому что у Серафимы Богдановны плохое зрение, а до классного часа осталось еще, по меньшей мере, две недели. Черный кот в кресле, потянулся, зевнул, но взять себя не позволил. Отогнал руку предупредительным шипением и даже ушей не прижал, настолько был уверен в своей силе. Гладкий, худой. Пошел впереди Нины, задрал хвост.

XVII

Василий Федорович узнал Оленьку. Несколько раз она мелькнула в толпе второстепенных героев из книг, читанных им во сне. Те же растоптанные, потерявшие форму сапоги, тот же глупый, холодный смешок, выражающий смущение. Тот же черный бархатный ободок и еще какая-то телесная плоскость, свойственная второстепенным героям, несмотря на выразительные детали, которыми их награждал сон. Потом он видел ее в темноте. Длинная прихожая в его квартире даже днем была темна. У дочери несколько подруг было на курсе. Эта заходила реже других, и в первый же приход подарила ребенку какую-то зеленую овцу. Глебчику тогда еще не было двух. Овцу спрятали, чтобы он не откусил ей пуговичных глаз и не проглотил их. Овца уехала вместе с внуком, когда зять Василия Федоровича купил квартиру. Это все. Но что она тут делает? Почему дежурит под колонной оперного театра с ключами в кулаке?

Когда он проснулся поздно утром, то посмотрел на холодные, блестящие доски пола, с которого теперь убрали солдатиков, и обрадовался тому, что уроки, как и в седьмом классе, опять во вторую смену. Перевернулся на другой бок и увидел себя отраженным в черной доске пианино. Пошевелил пальцами и удостоверился, что так тоже можно попасть в черно-белое кино. В этом пианино его лицо отражалось всегда несколько старше, чем было на самом деле. Горели глаза. Щека, лежавшая на подушке, собиралась в морщины, свободная носила морщинистые отпечатки этой самой подушки. Все складывалось как нельзя лучше. На свидание он приходил. И ждал ее под колонной. И сделал все, как она просила. И был счастлив.

Черный английский плащ и клетчатая кепка, какие носят в мечтах, во сне, в театре. Ему казалось, что он выполнил все условия, которые она поставила в своем письме: «...под колонной.

Дождись апреля. Ты тоже оденься как-нибудь поприличней...» Он еще лежал на раскладушке, эта раскладушка всегда напоминала ему о дачном лете. Чистый речной песок на простыне, который с трудом отставал от сморщенной холодненькой мошонки. Нечистые фантазии на ночь, когда зуд и взрыв восторга сопровождался видением двери, обитой ржавым железом. И, пока он рассматривал эту дверь и соображал, куда она ведет, ему все еще казалось, что он получил то, чего хотел, и дал ей то, чего она долгие годы так ждала и желала. Ржавая дверь не открылась. Василий Федорович не узнал, что заблуждается.

XVIII

Внезапно площадь обезлюдела. Оленька, зажав Нинины ключи в кулаке, скрылась в скверике, посаженным высоченными елями. Нина стояла злая. Раздетая. Во всем своем, и родинку пришлось вернуть. Ее трясло от негодования, ей заложило нос. Болью во лбу давал о себе знать хронический фронтит. Эта болячка обострялась у нее то осенью, то весной. Не пойму, что теперь. И никого, кто хоть как-то напомнил бы мне... Только издевательства. Никого, кто хоть как-то напомнил бы мне мерзавца, похожего на официанта-резонера, на Мишеньку Струкова, на мужа в молодости, на всех, кого она когда-нибудь любила. Долго, впрочем, любить она не могла никого. Как-то сразу становилось ясным, что это дело не стоит усилий. Все равно продуешь. Но образ она хранила и однажды обобщила его, чтобы носить в своем сердце и помнить. И с гневом, со злобным визгом, требующим уже не транквилизаторов, а смиренных санитаров, отвергать, отторгать, отталкивать от себя непохожее. Несколько лет назад, зимой. Проходила она через эту площадь и от всего скучала. От снега, от огня, от решетки скверов и от горящей вывески большого магазина, где для нее отложили интересную сумочку. И вдруг услышала: «Да знаете, что. Я ведь сейчас просто обращусь вон... к прохожему!» Ее догоняла девушка, одной рукой придерживая на груди расходящийся вырез дубленки. Почти бежит, но бежать боится. Нехороший, осторожный, торопливый шаг. Нина шла с тренировки, не убранная: евнушье лица с острым носиком, мужская шапка, штаны заправлены в короткие сапожки. Но что не узнали в ней женщины, все-таки обиделась.

«Обращайтесь. Ну, обращайтесь».

Это был звонкий и чистый голос. За девушкой преувеличенно пьяной походкой, рассказывавшей ногами в снегу, шел он. Несколько раз он смешно наклонялся вперед, угрожая, что падает, театрально тормозил руками. «Обращайтесь», повторил он и обратил в сторону Нины свое лицо. Сколько радости, сколько озорной, ясной уверенности было в его голосе. Прямая челка густых волос надвигалась на лоб слишком пышно, и это придавало его голове форму фасолины. На Нину он едва взглянул. А какая вещь на нем была! Такая длинная, коричневая замшевая вещь с индейской бахромой на груди. Одна только это вещь – и цвет, и стон, и щебет. (Летний павильон «Прохлада». За столиком сидят, в таких бахромчатых вещах, сразу трое, они пьют абрикосовый сок и с презрением изучают тетку, которой ленивая продавщица все никак не насыпет в бумагу пряников меловой жесткости).

«Минеточку внимания!»

Нина думала, что это к ней. Какое там! Он продолжал свою неуклюжую погоню, а слух у Нины был настолько не развит, что она добралась до скабрезного смысла его слов только тогда, когда пришла домой. Замок у сумочки открывался туго, и надо было его еще разработать. Но образ остался. Во сны он не попадал, там царили другие. А все же нередко (муж ее все-таки любил, но ей-то что до этого?) – она воображала его душным вечером, под тяжестью ватного одеяла и не когда с мужем, – так было у многих ее подруг, – а сразу после, когда муж, поцеловав ее в редешую крашеную макушку и сплюнув прилипший к нижней губе волос, уже засыпал.

Но главное, что глупый Василий Федорович этого парня знает. На встрече одноклассников, тридцатилетие выпуска, кто дожид, кто дошел, собираются в зеленом кабинете географии, где новой рукой воспроизведена карта полушарий и лев с человеческой мордой, который на нее рычит. И даже на задней парте кто-то в память о Серафиме Богдановне восстановил последний куплет песни, где поп монашку. Пьют шампанское. Бросают шарики, надутые гелием, висеть под потолком,

щупают бицепсы Валеры Тимофеева. Армреслинг на хлипких партах. Фотографии. Их передают друг другу, чтобы удостовериться, что такой-то действительно еще работает в уголовном розыске, а такой-то прораб. Жених моей старшей, говорит, морщась, Василий Федорович. Нина, ничего не подозревая, подбирается. Как не узнать этой изящно выгнутой фасолины: очки, коротенькая борода. Мой аспирантик, – говорит Василий Федорович, – не самый лучший. Не знаю, что она в нем нашла, но одевается всегда прилично.

ХІХ

Нина привыкла к тому, что жизнь понимает ее с полуслова, что все ее мольбы, требования, претензии не бываю оставлены Богом без внимания. Нина понимала, что в этом-то и заключается милосердие Божье: не будь они исполнены, в какое бы чудовище обратила бы ее жизнь, а так – она, сама кротость, пишет: «Оденься поприличнее». Ну не дурак ведь, совсем не дурак, все-таки доктор технических наук. И как он мог? Нина тоскливо оглядела площадь и театр. Отвратительный фасад, такой же отвратительный, как наяву! Он почти весь закрыт афишей новой претенциозной оперы «Твердый жезл Иоанна Грозного», в главной роли Борис Моисеев. Пики для флагов спортивных обществ, флаги спортивных обществ, автомобиль, припаркованный у левого крыла здания, над задним сидением, за стеклом, соломенная шляпа, заваливающаяся с пляжного сезона. Чей-то чау-чау выглядывал из-за угла, натягивая красный, точно шелковый, поводок. Обыкновенно, в церкви она чуть только начинала молиться о чем-нибудь или о ком-нибудь, уже чувствовала, что ее желание будет исполнено. Но тут ведь не церковь. Тут обратиться как-то некуда. Разве что к этому деревянному кресту с табличкой «В честь постановки оперы «Твердый жезл Иоанна Грозного» и всех невинно убиенных». И Нина, забыв обо всем, встала на колени и стала горячо молиться.

ХХ

Оленька побродила под елями, пересекла площадь наискосок и в другом сквере, наконец, нашла то, что ей было нужно. Сойдя по выщербленной лестнице в безлюдное, гулко журчащее под земелье с одной только угрюмой старушкой, которая сидела на корточках на самой дальней дырке и поджигала плоскую, размокшую приму, Оленька устроилась ближе к входу, к дневному свету. И этот ноющий, сочащийся сквозь зубы свет помог ей удостовериться в том, что родинка на месте. «Вот до каких глубин приходится опускаться!» – подумала она, застегивая пальто и с облегчением выходя наверх по лестнице. Чау-чау на шелковистом поводке выгуливал тихого лысеющего хозяина в черной куртке и белых туфлях. У выхода из сквера к столбику ограды жался детский велосипед с толстыми шинами.

Ее с самого начала насторожило предложение Нины. Свидание с мужем подружки! Да он же хам. Нет, Оленька, он не скажет тебе: «Минеточку внимания», потому что в него, как в замшевую вещь будет одет кто-то другой. Закрываясь мишкой, Оленька не соглашалась, и от беспокойного сна у нее изо рта вытекло столько слюны. Но потом она смирилась. Ведь это будет только сон, а она не дедушка, чтобы пить калофилин после каждого кошмара, нервы у нее крепкие. Слезы из глаз иной раз льются скупее, чем изо рта слюна. И опять, если бы ей нужно было встать, одеться, зашнуровать ботинки, проехать хотя бы две остановки на автобусе... так нет же! Лежи и спи. Никаких объяснений с мамой. Все произойдет само собой, во сне, потому что Нина об этом уже помолилась.

Теперь оказывается, что ее во что-то запутали, навязали какую-то нечистоплотную любовь. А всякая любовь чувствительно нечистоплотна. При одной только мысли о том, что ее пугливой и целостной душе может быть нанесен ущерб, Оленька мгновенно тупела и спешила спрятаться за плюшевую сторону вещей. Один раз она даже пропылесосила всю квартиру, и притом чуть не удушила до смерти старенький гофрированный шланг пылесоса, сдавив его с такой же силой, с какой сейчас держит в руке ключи. В другой раз грохнула в куски любимую чашку. Вот жалость!

Нина, стоя на коленях, молится «Твердому жезлу Иоанна Грозного», означенному на деревянном кресте, врытом в асфальт как раз в том самом месте, где бы не ему стоять. Но деревянный не сдается и не исчезает.

XXI

«Это что?» – «Ключи». – «Почему такие тяжелые?» – «Не знаю. Может быть, сон подает мне знак какой-то особенной сложности?» – «Ну да».

Нина забирает у нее свои ключи, кладет их в сумочку с хорошо разработанным замком. В глубине души она, конечно, рада, что никто не подозревает, какое простое желание могли бы символизировать эти тяжелые ключи. Но только вот почему все должны быть так недогадливы? Оленька, пугливая и целомудренная, это пускай. Ничего не держала еще в руках, кроме своего пылесоса. Но вот Василий Федорович! Он-то почему? Ведь совсем не пришел, совсем не пришел, даже некого стукнуть по голове этими самыми ключами, зажатыми в кулак, как кастет, вырвавшимися из сумочки. Вот струсил и не пришел. И уже не придет. Никогда не придет. Потому что, когда деревянный жезл Иоанна Грозного сдался и растаял, то оказалось, что место под колонной занято, и там, подставив лицо апрельскому солнышку, сидит... Если бы у Нины была такая же хорошая память, как у Василия Федоровича, то она бы, конечно, его узнала, но сейчас вид этого взлохмаченного, сонно смотрящего на солнце мальчика в клетчатом распахнутом пальтишке ей ни о чем не говорил. Как она могла связать это наглое, ни к чему не пригодное явление с солдатами на полу, с неприятным черным котом, который, уходя на улицу впереди нее, бесстыдно продемонстрировал ей мохнатые шары у себя под хвостом?

Детей Нина, конечно, любила, но только своих собственных. И то сказать, если бы не они, их семья давно бы распалась. А так – тренер по волейболу подержал Вику за лодыжку, и муж ходил бить ему морду, и потом они до поздней ночи сидели на кухне и пили коньяк маленькими глоточками, и говорили, какой хороший писатель был Артур Хейли, потому что он ничего не выдумывает. И Пелевин тоже ничего не выдумывает. Дети нужны. Дети – это не гадость. Но чужие! Шугануть его?

Нина достает из сумочки ключи и передает их Оленьке.

«Вот он».

Оленьке уже все равно. Нельзя же так долго спать. Разделаться с ним, ведь есть же ключи. И пошла к нему, крепче сжав их в кулаке.

XXII

У Оленьки были свои причины детей не любить, но изложить их так же кратко и определенно, как Нина, Оленька не умела. Но, если собрать все случаи неприязни и неприятия, все те минуты, когда ей случалось поежиться или поморщиться в соседстве с не слишком сиропным мальчиком, – а других проявлений нелюбви она никогда не выказывала – можно предположить только одно: очень уж они живые. Быть бы им поспокойнее, потише, поскованнее, помертвее. Ей самой всегда не хватало резвости, и теперь она, несмотря на легкое тело, продвигается походкой толстухи. И сон на последнем издыхании не прибавляет ей легкости.

Мальчик, сидевший в основании колонны, посмотрел на нее только тогда, когда она встала перед ним, точно памятник, во весь свой колокольный рост. Мальчик заглянул в ее темные, безволосые ноздри, нашел какой-то слишком длинный волосок на подбородке и рыбью чешуйку над нижней пуговицей пальто. Потом опустил глаза на раскисшие, растоптанные, с белыми разводами сапоги. Все это время он не вынимал руки из кармана. И вот в кармане у него что-то хрустнуло. «Что это?» – Оленька испугалась и теперь уж не знала, может ли она воспользоваться ключами. А его рука заработала так, будто и сама удивилась. И было чему, так как под кожей лопнувшего желудка, вопреки всякому опыту, какой у него был, даже опыту сна, прощупалось нечто мягкое, неожиданно податливое, сморщенное. И он узнал это и ответил, прежде чем невредимым перескочить на раскладушку под пианино:

«А это сухая виноградина, бабушкина щечка».

Стихотворения

Радоваться тайно и спокойно
Так как не отнимут никогда
Руку синий свет и эти зерна
На ладонь бегущие проворно
Даль по пробужденье тьма вода

Так как никогда в пейзаже свитка
Даже если с глаз его в сундук
Не порвется утренняя нитка
Под которой вздрогнет вероника
Под которую нагнется бык

Мой поход все время принимая
Вид клубка игры укуса в бок
Яблока развалин как прямая
Примани ее в начале мая
Эту нить и дерни голубок

Даже если с глаз тебя убрали
Даль по пробужденье тьма вода
Даже если облако гора ли
Ничего не скажут о Граале
Даже если тихо это ДА

Белый не уходит никуда
Сколько раз когда его стирали
Он во мгле покорно пропадал
Но являлся мне на перевале
И в глаза мне тишину вливал.

Легенда о китайском дровосеке

В красном гроте за облаком севшим на склоне
Оба в белом как снег согревали ладони
О горячие донца фарфоровых чашек
И мечтательно двигали пуговики шашек

И сказал дровосек из-за сетчатой глыбы
Целый час игроки онемели как рыбы
И опять за топор где дрова там и пища
Но рассыпалось в прах под рукой топорнице

Окружила мой дом лебеда выше шапки
Брызнул дрозд из полыни проклятые шашки
И язык тут чужой но ясней перед взором
Небожитель-дитя Винный пар над фарфором.

О детстве о радости с коей
Огонь увлекается Троей
В порядке игры или сна
Была ей надежда была ей
Другая что скорбью пылая
Сюда не вернётся волна

А третья неслась похоронно
Дитя задевая крылом
И холод прохватывал дом
И змеи на Лаокоона
От холода струнной воды
К теплу его тела бросались
Но может быть этим спасались
Троянцы от большей беды

От той что иначе коснея
Оставила б дома Энея
И Рим заключила в ларец
И в этом сомненьи гонимом
Склоняется Шлиман над Римом
И Троя блестит меж колец

История взятая в скобки
Дитя продолжает раскопки
Кричит развороченный грунт
И окисью меди сочитя
В холмах завывает волчица
Два брата на речку бегут

Но дитя повернётся спиной
И гад обтекающий Трою
В обиде ослабит захват
И холод коснулся работы
И застыли в пыли обороты
И волнами слепому грозят.

Я вчера проходил под осенней луной
Льдистой тропкой во сне постоянном
Очарованный садом его тишиной
К непомерным прощальным полянам

Что мне делать? Испуганной птицы крыло
И тревога и трепет пространный
Всё пропало и правило мной ремесло
И число колдовало над раной

Ясной осени давит тебя седина
Не бесплодная зимняя тяжесть
И пустыми дорогами водит страна
И сухими плодами накажет

И кому он сушеную вишню сберег?
Что мне будет от жалобы сладкой?
Только боль приберёт серебристый глоток
Серебро что я бросил без сил пропадёт
В серебре бездорожья и дрожи.

Падающий

Как желтый лист с подгнившим краем
Здесь стих ненужный узнаваем
Во всей волнистости своей
Ещё не в лет а только в трели
Иудин солнечный но влечит
И он зигзагом по лицу
Досадный стих его мы прочь бы
Как ворожбу недужной ночи
Как скуку многих так ночей
Досадный звук не наш но чей

Он забывается по кличке
Как этот мальчик в электричке
С унылой песенкой своей
Но как не дать ему грошей
И как не сдвинуть рамки бреда
Больных счастливее чем он
Ты думал этот обречен
А он сбивал тебя со следа

И так как тени прощены
А имя камень их пращи
Взамен тебя другой повален
Теперь всё можно только спален
Удобства не возвращены
Так запылён и так засален
Прекрасный тополь у стены.

Скитание изменит мир
И широту его представит
Ничтожной меньше чем скиталец
По картам плана проходил

И вот уж ватными ногами
Подозревает человек
Захватывающий побег
В цветник из крашеной бумаги

Прыжок прекрасный! наконец
Как в детстве на руках у близких
Что мед живых и сладкий рис их
Медведь и тот как пчелка здесь

Как бабочка что мне напомнит
Осенний полдень бирюзы
Здесь воплотится Чжуан Цзы
В того кто древний стих исполнит

В любого несмотря на то
Козел или овца в день знака
И это упасет от страха
Зигзаги в чаще золотой.

Сплю как дом где творятся теряясь
У столбов полутемной террасы
Мотыльками мгновенными плаваясь
Осыпаясь в шуршащие массы
В тишине в темноте без огней
Приключения робких людей

Старый дом в отголосках и скрипах
То закрыто другое забыто
Здесь в темно обвисающих липах
Проходило знакомое лето
Чтобы слышался так иногда
Мягкий стук воскового плода

Восковые скупые ступени
Вдоль заборов спускаются тени
И как если бы слышалось пенье
Эти слезы роняют растенья
И плоды что подобны слезам
Восковые ты знаешь Сезанн

Восковые скупые степени
А в саду никаких преступлений
Не слышать чтобы трубы хрипели
Или мягко свалился с качелей
Чей-то сын может мой по глазам
Восковые ты знаешь сезам

И ключей же там было на связке
И купальных костюмов на леске
И живыми пружинами в пляске
Трепетали мои арабески
И висел там и грохотом рос
Оцинкованной ванны мороз

Чередой человечков из ваты
Что-то синее передавали
Эти сгустки страдания солдаты
Нам расплавленный воск подливали
Отходили к столбам тишины
В сапоги в костяные шары

Но не думай смущаясь не думай
Что теперь разговор их закончен
Прибывать им толпой полоумной
Ярко скалиться и в многоточьях
Ты же видишь и так без солдат
Сапогами исследован сад.

Ты видишь город Поднебесной
Эпохи темной и кровавой
И потому неинтересной
Все смыто человечесьей лавой
Стрела плевков им все едино
Свисающими рукавами
Берут носилки господина
И печи дома много дыма
Горят лукавыми дровами
В золе и зле живут и даже
В золе и зле себя хоронят
И птица темная от саж
Зерна червивого не тронет
По склону гор такой же уголь
Его крестьяне собирают
А старики уткнувшись в угол
В домах опрятных умирают
И заросли в осенней желчи
Скрывают хижину откуда
На облака глядит отшельник
Живые быстрые как чудо
Мы ни на что здесь не похожи
И хорошо что ты не ищешь
Драконов в складках нашей кожи
И в тушечницу кисть не тычешь
Как ни беги глазами влаги
За испарениями соли
Тебе не привязать к бумаге
Свободной и высокой боли
Какие странствия минута
И ты осел для жизни пресной
И в бездне в бездне почему-то
Мы видим город Поднебесной.

Как тушью писали в Китае
Какие-то крылья краям
Чтоб снов о мерцающем крае
Не выдать невинным друзьям

Так тон этой сильной утраты
Размыл угловатую явь
Мерцающий мир и мохнатый
По скорби пускается вплавь

И так как меняются свитки
Владелец не сядет в седло
Как будто сугроб у калитки
Есть хворост а дом занесло.

Сонной жизни движенье

Сонной жизни движенье идешь ты куда
Неужели конец так прекрасен
Что рука замирает и сердце молчит
Для кого ты хорошая жизнь отвечай
И о чем ты со мной говоришь
Ничего я не вижу ни знаков ни снов
Ничего но изгнание презренье
Оставаясь просить у твоих берегов
Принимаю как знание прозренье
Ты не любишь меня гонишь блеском даров
Как поэта возможностью дразнишь
На одном из твоих полинялых ковров
Я как дервиш отправился дальше
И когда ты попросишь Теперь говори
И проси все равно не получишь
Но прося не сияние слез подари
И не сердца любимого кукиш
Ничего что дрожит у меня их полно
Негде яблоку быть не червивым
Дай мне чашу пустую и белое дно
Покажу сыновьям терпеливым
Ничего не скажу им о том что чужой
Нелюбимый летящий ленивый
На мгновение владел моей сонной душой
Говорил моей речью счастливой
И носил над моей нехорошей водой
От того что не этой умылся
Не плоды и не мед а янтарный родной
Горний свет переносного смысла.

Публикация Елены Болотиной (Темниковой)

Сергей БОРОВИКОВ

Серапионы и тараканы

Не рецензия, не статья, просто размышления по поводу некоторых персон и посвященных им страниц книги

Творческая биография писателя в контексте эпохи (Фединские чтения. Выпуск 4)/ Под ред. Л.Е. Герасимовой, сост. И.Э. Кабановой, И.В. Ткачевой. – Саратов: издательство «Новый ветер», 2010, – 232 с., илл.

I**Эквивалент**

Однажды за столом у В.Н. Войновича речь зашла о старых советских писателях, в частности о Федине.

– Я Эренбурга-то читать не могу, а вы – Федин! – отозвался хозяин.

– Нет, Федин писал все-таки лучше, – сказал Б.М. Сарнов.

Владимир Николаевич недоверчиво посмотрел на него, и тут я поддержал Бенедикта Михайловича: да, Федин писал *все-таки лучше* Эренбурга. При этом я видел, что мы с Сарновым прекрасно поняли друг друга в том смысле, что Федин никак не был как писатель крупнее Эренбурга, а просто и именно так: писал все-таки лучше. В этой беседа примечательна и профессиональная справедливость Сарнова, которому Эренбург несомненно ближе, чем Федин, а главное то, что один из ведущих русских писателей-шестидесятников просто-напросто никогда не читал Федина.

Что уж говорить об обычных гражданах – проведите опрос саратовцев, и окажется в лучшем случае, что 99,9% из них книг Федина не читали, но знают о нем лишь по надписи на сиденье на набережной каменном истукане, даже отдаленно не похожем на красавца-мужчину Константина Федина.

Мне могут справедливо возразить, что, подавляющее большинство саратовцев не читало не то что Федина или Эренбурга, но Достоевского и Гончарова. К тому же весь ряд, в который обычно вписывается Федин – тот же Эренбург, Леонов, Вс. Иванов и пр. сейчас для читателей

звук пустой. Знают лишь Булгакова, потому что «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце» по ТВ. Знают Каверина, потому что «Два капитана», Симонова, потому что «Жди меня», Твардовского, потому что «Тёркин» и, как бы то ни было, знают Шолохова, или скажем осторожнее: роман «Тихий Дон».

Открытие в городе Государственного музея К.А. Федина (ГМФ) призвано было как минимум пробудить интерес к земляку. А вот «фединские чтения» уже по определению должны всерьез заниматься изучением его творческого наследия.

Тем удивительнее, как «фединцы», а точнее «фединки», ухитрились уравнивать К. Федина с М. Алексеевым:

«В 2010 году программа Алексеевских чтений была особенно многообразной. В музее Федина состоялся «круглый стол» на тему: «Произведения Михаила Алексеева как исторический эквивалент бытия своего народа» (ИА «Версия», 18.06.2010).

Да нет! не уравнивать даже, а возвысить Алексеева над Фединым. Ведь невозможно представить, чтобы произведения не то что Федина, но Льва Толстого именовали «историческим эквивалентом бытия своего народа». Оторопев от этой чудовищной формулировки, я на всякий случай полез в словари – м.б. изменилось значение слова «эквивалент»? У меня-то словарь академический старый и там написано: «*Эквивалент – нечто равноценное, равнозначное, равносильное другому, полностью замещающее его*». Но и Яндекс выдает: «*Эквивалент (от позднелат. equivalent – равнозначный – равноценный) – предмет или количество, равноценные, или соответствующие в каком-либо отношении другим и способные служить им выражением или заменой. Нечто равноценное, равнозначное другому, полностью заменяющее его*». Википедия.

И далее, и далее, словари разные, а значение слова везде одно. Но в музее-то, проводившем «круглый стол» о равнозначности сочинений тов. Алексеева и «бытия своего народа» (русского?), думаю, имеется достаточно всякого рода словарей. И чья-то музейная рука не дрогнула, выводя оскорбительный для здравого смысла и русского языка бред?

Вот бы Константин Александрович такому

соседу-«эквиваленту» порадовался! Думаю, терпимее для него было бы уж такое соседство:

«Новости Саратова»

В музее Федина выставка тропических бабочек и шипящих тараканов.

В саратовском музее им. Федина открылась выставка «Мир тропических насекомых». В музейном зале для них установили шатер из органзы, украшенный цветами и зеленым плющом. Внутри него стоит блюдо с нарезанными тропическими фруктами, соком которых питаются экзотические бабочки – уроженки Бразилии, Индии, Бали и других теплых стран. Зато сфотографироваться рядом с «кормушкой» может любой желающий.

Помимо бабочек на выставке представлены шипящие тараканы, несколько видов пауков-птицеядов и огромные многоножки-кивски. По стенам зала развешены коробки с коллекцией экзотических жуков» (СарБК, 18 апреля 2011).

Впрочем, об отношении К.А. Федина к выдающемуся литератору-земляку ничего мне не известно. Как оценивал эквивалентные сочинения, скажем, Твардовский, я знаю. И про отношение авторов «Нового мира», где Федин был в те годы активным и авторитетным членом редколлегии, тоже знаю. Это отношение реализовалось в основном в жанре литературного фельетона. Но сам Константин Александрович никак – ни в печати, ни в письмах, ни в дневниках не высказался насчет Михаила Николаевича. А ведь Федин был бережно внимателен, можно сказать, по-доброму пристрастен к творчеству земляков. А тут, у него под боком в Москве (а м.б. уже и в Переделкино) живет и творит «эквивалент», и вдруг такое равнодушие. Я, конечно, могу судить лишь по опубликованному. Так может быть организаторам невиданного чествования великого писателя Алексеева в стенах музея имеет смысл поискать какие-то отзывы о нем Федина, а буде отыщутся, поместить их на достойное место в постоянной экспозиции?

II

Почувствуйте разницу

«Экскурсии в Самарском музее-усадьбе А.Н. Толстого:

«Алексей Толстой: от Сосновки до славы»;

«Женщины в жизни и творчестве А.Н. Толстого»;

«Повесть о многих превосходных вещах: детство, отрочество, юность А.Н. Толстого» (для

младших школьников);

«Мы все учились понемногу»: Из истории самарских гимназий (с интерактивом);

«От азбуки до аттестата: годы ученичества Алёши Толстого» (с интерактивом);

«Горький и Самара»;

для 1–6 классов

Литературная игра-приключение «Тайна бронзовой вазочки» («Детство Никиты», русские и зарубежные писатели-сказочники);

Литературная игра-представление «Буратино приглашает в театр “Молния”» (теневой театр, игра);

Игра-представление «Нам Рождество приносит прелесть детской ёлки» (представление театра вертеп, традиции празднования Рождества в России) – декабрь – январь;

Игра «В гостях у Никиты и Тёмы. Играем в старинные игры» (для детей, не более 20 человек);

Интерактивная игра «Цветочные сказки и сказочные цветы»;

Детские образовательные программы:

– “История семьи в письмах” (переписка А.Н. Толстого, А.Л. Толстой и А.А. Бострома). В Самарском литературном музее хранится обширная семейная переписка А.Н. Толстого, его матери и отца. Переписка воссоздает картину жизни семьи в Сосновке, Самаре, Сызрани, круг занятий, знакомств и т. д. Участники программы выступают в роли исследователей эпистолярного наследия, пытаются определить авторов представленных писем, их взаимоотношения, особенности характера, мировоззрения, род занятий, особенности исторической эпохи;

– “Дворянское воспитание от Александры Леонтьевны Бостром”. Музей предлагает уникальную в своем роде услугу – дворянское образование по методике А.Л. Бостром – матери А.Н. Толстого. Она воспитывала в сыне наблюдательность, внимание, давала необходимые для ребенка знания не только о литературе, но и об окружающем мире. Данная программа построена на материалах книги А.Л. Бостром “Подружка”».

«Экскурсии в саратовском Государственном музее К.А. Федина:

Обзорные и тематические экскурсии по экспозиции “Дом русской литературы XX века”;

Литературный процесс XX века;

Жизнь и творчество К. Федина;

Серебряный век русской литературы;

Русский футуризм;

*Серапионовы братья;
Дополнительные услуги:
лекторий или кинозал;
Образовательные услуги:
Циклы лекций:*

“Русская литература XIX века” (А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, Ф. Достоевский, Л. Толстой);

“Русская литература XX века” (И. Бунин, В. Брюсов, А. Блок, Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам, Б. Пастернак, М. Цветаева, М. Булгаков, К. Симонов, А. Твардовский, М. Пришвин, С. Михалков, С. Маршак);

“Родной город” (“Старый Саратов, исчезнувший и сохранившийся”, “Встреча с прошлым”);

Литературные вечера: “Четыре четверти пути. Владимир Высоцкий”;

Музейные занятия: “История шариковой ручки”, “О чем рассказала старая книга”, “Письма с фронта”, “Искусство оригами”, “Часы и время”, “История фарфоровой чашки” и др.

Лекции для детей: по культуре Японии, по творчеству Г. Андерсена, русские народные сказки и др.

Мультимедийные театрализованные игры-викторины: “Мозговой штурм”, “Под сенью дружных муз”, “Покорение вершины знаний”, “Лукоморье”;

Лекторий семьи Черевковых: “Кукла какместилище души”, “Мифология древней игрушки”, “Рождественский вертеп”, “Душа моя, Масленица”, “Пасха. Красная горка. Писанки”, “Семик да Троица” с использованием авторской коллекции кукол».

III

Пустынники-секретари

«И еще один великий практический смысл открывает нам устав пустынника Серапиона.

Мы собрались в дни революционного, в дни мощного политического напряжения. “Кто не с нами, тот против нас! – говорили нам справа и слева. – С кем же вы, Серапионовы Братья? С коммунистами или против коммунистов? За революцию или против революции?”

С кем же мы, Серапионовы Братья?

Мы с пустынником Серапионом».

Но как же так получилось, что в не таком уж далеком будущем из малочисленной литературной группы в то человек, столь ярко и смело заявивших в манифесте свою политическую независимость, половина попадет в верхушку

образованного Сталиным Союза советских писателей, а половина половины так и вовсе станет главными руководителями этого Союза? Я говорю о половине группы, так как двое из ее учредителей – Лев Лунц и Владимир Познер вскоре эмигрировали, и можно говорить о дальнейшей советской судьбе лишь 8 «серапионов», из которых ни один не был репрессирован, в отличие от многих членов других групп 20-х годов: «Перевала», ЛЕФа, «Кузницы», «Молодой гвардии», «Обэриуты» и др.

Владимир Познер (отец нынешнего Владимира Познера) это песня особая, с его разнообразными франко-советско-американскими связями, причудливыми поворотами службы и судьбы (после Штатов переселился в ГДР), а вот ранняя смерть идеолога группы талантливейшего и почитаемого остальными Льва Лунца избавила его от возможности узнать, кем сделались его собратья.

Оставшихся же теперь делят на чистых и нечистых, или получистых: «Расставаться с талантом – подозреваю, что нелегко: пока еще привыкнешь ценить себя за что-нибудь другое! – и многие пытались словчить, утаить хоть малую толику, оставить себе хоть копию, хоть призрак, хоть навык. Вот и кое-кому из Серапионов этот фокус как будто удался: Шкловскому, Вс. Иванову, Каверину, Полонской. Другим было почти нечего терять – они не противились процедуре, только скупали да унывали всю оставшуюся жизнь: Никитин, Слонимский, Груздев, Познер. Двое – Федин и Тихонов – ухнули в бездарность стремглав, плавали в ней с наслаждением, превратились, наконец, в чудовищ» (С. Гедройц о книге Б. Фрезинского «Судьбы серапионов»).

Замечу лишь, что Шкловский все-таки не был «серапионом», что неправомерно сталинского любимца, отплатившего хозяину восторженными статьями, автора низкопробного романа «Пархоменко», Всеволода Иванова ставить в один ряд с тихой и честной поэтессой Елизаветой Полонской. Уж который год пытаюсь понять, что заставляет нашу либеральную критику отделять Всеволода Иванова от того же Федина, других литературных генералов. То есть соображение у меня на этот счет имеется, но я его оставляю при себе.

В списке отсутствует один из «серапионов», который изначально входил в союзписательскую элиту, и долгие годы провел в полном материальном благополучии, и написал в конце 30-х

годов некоторые вещи, скажем так, ко двору ко времени. Но все это не имеет ровно никакого значения. И не только потому, что Михаил Зощенко был унижен и уничтожаем властью после 1946 года. Не только и не столько. Просто он был неравен всем остальным «серапионам» вместе взятым, независимо от их немногих доблестей и многих прегрешений. Неравен талантом: Зощенко был просто великий русский писатель.

Сложнее с Кавериным. Он и впрямь никогда не ходил в лизоблюдах, а Сталинская премия за «Двух капитанов» вызвана не прямой конъюнктурностью романа, но ко времени пришедшемся романтико-героически-северно-патриотическим пафосом. И хоть был Вениамин Александрович подобно Федину, Тихонову и Вс.Иванову зажиточным переделкинским обитателем, с прислужкой, шофером и пр., он уже с 50-х годов последовательно боролся за преследуемых коллег, подписывая протесты и т.д. А Вс. Иванов имел смелость сочинять такие непроходимые вещи, как роман «У», опубликованный спустя полвека после создания, тогда как за Федем ни сочинения крамольных текстов, ни «протестанства» не числится.

В новом выпуске чтений, не с таким размахом как прежде, но продолжает звучать тема тяжелой доли службы, которая якобы насильно была взвалена на Федина. «Дневниковая запись от 28 марта 1954 года свидетельствует об ужасе перед готовящимся «покушением» – о том, что он поставлен перед фактом «назначения» на место председателя Московской организации писателей, говорил с Фурцевой в Кремле – отказаться не смог, хотя всю ночь опять думал как избежать беды» (Т.Д. Белова. «К.А. Федин о литературе периода «оттепели». По материалам переписки и дневниковых записей).

Хорошо, что эти душераздирающие строки вряд ли попадут на глаза молодому читателю, который не ведает о нравах 1954 года, а то он мог бы подумать, что в Кремле у Фурцевой была небольшая пытошная с испанским сапогом и дыболом.

А вот как деликатно повествуется о роли Федеина в разгроме альманаха «Литературная Москва».

«К.А. Федин, в это время председатель правления Московского отделения Союза писателей СССР и один из членов редколлегии сборника, человек глубокой внутренней культуры и чести, в полной мере пережил гнет системы. Положе-

ние обязывало признать правильной критику партийного руководства (на собрании выступила секретарь ЦК КПСС Е.Фурцева), голос совести говорил о другом. Дневниковые записи Федеина и переписка этих дней проникнуты острой болью и чувством безысходности. <...> они позволяют увидеть за внешне благополучной биографией писателя тяжелую драму внутренней духовной жизни человека, оказавшегося в тисках обстоятельств <...> Давление было настолько сильным, что К.А. Федину, возглавлявшему правление московских писателей, пришлось выступить в поддержку линии партийного руководства». Нет, если не дыба, то уж иголки под ногти у милейшей Екатерины Алексеевны точно были в ходу.

Зато! «О принципиальности писателя говорит и его запись от 2 октября этого же года: он отказался участвовать в «конкурсной комиссии по учебнику советской литературы для 10-го класса». Да, этот геройский поступок несомненно перевешивает все его прегрешения.

В том же чудесном тексте Т.Д. Беловой в поддержку Федину по делу Пастернака привлекается даже Анна Ахматова, которая «тоже не одобрила роман».

Ей-Богу, как дети малые! Да, не только Ахматовой, но и многим не нравился и не нравится (мне, например) роман Пастернака, да только не совсем так, как Федину! Совсем не так.

«Дух Вашего романа – дух неприятия социалистической революции. Пафос Вашего романа – пафос утверждения, что Октябрьская революция, гражданская война и связанные с ними последующие социальные перемены не принесли народу ничего, кроме страданий, а русскую интеллигенцию уничтожили или физически, или морально. Встающая со страниц романа система взглядов автора на прошлое нашей страны, и, прежде всего, на ее первое десятилетие после Октябрьской революции (ибо, если не считать эпилога, именно концом этого десятилетия завершается роман), сводится к тому, что Октябрьская революция была ошибкой, участие в ней для той части интеллигенции, которая ее поддерживала, было непоправимой бедой, а все происшедшее после нее – злом» (Из письма членов редколлегии журнала «Новый мир» Пастернаку). Это письмо Федин вовсе не просто «подписал» по словам Беловой, но собственноручно внес большую вставку, о чем сообщает в своих воспоминаниях Константин Симонов и даже полностью приводит ее текст. И уж коли решили «выгородить» К.А., могли бы

задуматься над тем, что в *политическом* неприятии «Доктора Живаго» Федин был по-своему последователен.

Конечно, вряд ли Константину Александровичу легко дали те дни, когда ему унижительно приказали бегать к переделкинскому соседу для увещеваний. Но это уже потом. А 1 сентября 1956 года К.И. Чуковский делает такую запись в дневнике: «Был вчера у Федина. Он сообщил мне под большим секретом, что Пастернак вручил свой роман «Доктор Живаго» какому-то итальянцу, который намерен издать его за границей. <...> А роман, как говорит Федин, «гениальный»».

Т.Д. Белова ссылается на публикацию письма в «Новом мире» в ноябре 1958 года, тогда как письмо Пастернаку датировано сентябрем 1956 года, когда редактором журнала был еще Симонов. Заявив «Нельзя давать трибуну Пастернаку!», он дал «внимание на старт!» коллегам, которым пока еще рук никто не выкручивал, как то будет в 1958 году, и было письмо написано не для печати и подписано всего лишь 5 членами тогдашней редколлегии (Б. Агапов, Б. Лавренев, К. Федин, К. Симонов, А. Кривицкий).

Что ж, Федин и в самом деле обязан был не принять «Доктора Живаго», потому что иначе ему пришлось бы отречься от собственной литературной судьбы. Пастернак на стороне своего доктора, его нравственных устоев, его гуманизма, непринятия им насилия, Федин же отрёкся от своего Андрея Старцова в самом начале пути, сдал его на милость победительной власти, подобно тому, как Юрий Олеша предал своего Николая Кавалерова. Вот и все. А то по Беловой «роман не казался ему удачным в художественном отношении». Да про художественные особенности романа в письме лишь несколько слов, авторы прямо заявляют Пастернаку: «нам не хочется долго задерживаться на этой стороне дела, как мы уже говорили в начале письма, – суть нашего спора с Вами не в эстетических препирательствах».

Своей неуклюжей «защитой» Т.Д. Белова не только здесь успешно достигает обратного результата.

Вот: «Неудивительно появление заметок, проникнутых сдержанной неприязнью к фигуре “служаки и восторженного наблюдателя фактов” Вс. Вишневского, лишенного слуха».

Так, но вот другая цитата: «Замечательная творческая дружба двух крупных писателей нашего времени продолжалась до самой смерти

Вишневского, а на титульном листе вышедшего из печати «Необыкновенного лета» романист сделал такую надпись: «Дорогой Всеволод Витальевич! Вы были моим Вергилием по военным дорогам 1919 года. К моей памяти о прошлом Вы щедро прибавили свою». (цит. по кн.: В. Хелемендик. Всеволод Вишневский. М., 1980).

Благодаря усилиям Т.Д. Беловой, Константин Александрович предстает прямо-таки двуличным. Однако не надо делать его хуже, чем он был, не надо выдергивать одну строку из вполне мирных размышлений К.А. о художественных слабостях произведений коллеги, а не поленились перелистать весь том дневников, чтобы узнать о той помощи и участии, которые оказал Вишневский попавшему в Германии в авткатастрофу Федину; найдется там и эпиграфия: «В постели узнал о смерти Вс. Вишневского. Вспомнил встречи с ним, особенно – Берлин 1945-го, Нюрнберг 1946-го – две катастрофы, и тогда изумившее меня его новое лицо, нежность этого неприкосновенного (казалось бы) к нежности лица. И затем – эпопея его участия к моему роману – 1947–48; настоящая по бескорыстию, бессребренности помощь. Браток этот был с безалаберным, неуклюжим, но большим сердцем...»

Не знаю, кто такая Т.Д. Белова, но ведь у книги обозначена редколлегия во главе с ответственным редактором Л.Е.Герасимовой... впрочем, я еще по выпуску 3-х чтений имею представление об ответственности этой редакции.

И, чтобы уж завершить размышления на явно болезненную для «фединок» тему «Федин и карьера», пройдемся кратенько по биосправке:

1923–1929 – член правления писательской артели «Круг» и кооперативного издательства «Круг», заместитель председателя ленинградского Всероссийского союза писателей, 1928–1934 – Председатель правления кооперативного Издательства писателей в Ленинграде, 1933–1934 Член Оргкомитета по подготовке Первого Всесоюзного съезда советских писателей, 1935 – избран депутатом Ленсовета, 1937–1939 – Председатель правления Литфонда, 1947–1955 – руководитель секции прозы Московского отделения Союза писателей СССР, 1951–1962 – депутат Верховного Совета РСФСР, 1962–1977 – депутат Верховного Совета СССР, 1955–1959 – Председатель правления Московского отделения Союза писателей СССР, 1958–1971 – Председатель Правления общества Советского общества дружбы и культурных связей с ГДР (затем советско-германской

друзьбы), 1959–1971 – первый секретарь, с 1971 и пожизненно Председатель правления СП СССР.

Это основные вехи, а в промежутках бесконечные председательствования, секретарства, предствительства, руководство делегациями и проч.

И все это насильно?

«Кто-то напрягся с тостами, буреет, старается провести мероприятие на уровне. Помню, как большая голова Константина Федина закричала: «И это аквариновое море!» – о только что построенном бассейне “Москва”» (Воспоминания Нонны Мордюковой о встрече Хрущева с деятелями культуры).

Что ж, и лстывим красотам о бассейне на месте Храма Христа Спасителя Федина тоже Фурцева обучила?

IV

Большевицкая колбаска

В статье М.Л. Кругловой «Рукописи из мастерской писателя. Новые поступления в фонды Государственного музея К.А.Федина за 2008–2009 годы» меня остановила фраза «Две рукописи являются свидетельствами взаимоотношений К.А. Федина и И.А. Бунина». Так и сказано: «взаимоотношений», то есть взаимных отношений.

Но как известно, взаимности Бунин в ответ на посланные Федину книги не получил, и написанное уже вслед книгам письмо отправлять сверхосторожному советскому коллеге не стал. Давно уж опубликовано и дневниковое, спустя 11 лет после получения подарка, покаяние Федина: «стыжусь, что промолчал в ответ на подаренные им книги»... Правда, еще спустя 14 лет, уже не для дневника, а для печати, он соорудил к публикации неотправленного письма Бунина в «Литнаследстве» следующее неуклюжее оправдание: «Но мне хотелось большего: я стал ждать от Бунина письма». Конечно, двух книг с теплыми дарственными надписями от живого классика маловато, дескать пиши еще, а там посмотрим. Или посоветуемся.

Однако известно и то, что именно Федин, выступая на 2-м съезде писателей призвал «не отчуждать Бунина от истории русской литературы». Выступление всегда и по справедливости ставится Федину в заслугу, правда, никто, кажется, не обратил внимание на вольную или невольную его неправду: «Недостало сил, уже будучи советским гражданином, вернуться до-

мой Ивану Бунину». Чего уж именно неостало, сообщать в 1954 году было конечно нельзя, но советским гражданином Бунин все-таки не стал, и об этом знал не только Федин. Или посоветовался перед выступлением?

В 1947 году Бунин послал открытку и Константину Паустовскому с высокой оценкой «Корчмы на Брагинке». Бунин должно быть поразился не только мастерству автора, но и тому, что в «Совдепии» обязательно писать про райкомы и домны. Мне же очень хотелось бы узнать, ответил ли смелый Паустовский Бунину, или уподобился несмелому Федину? Вдова сообщала, что Константин Георгиевич переписал отзыв Бунина в свой дневник, и... все?

Это я еще к тому, что не все так уж просто было с храбростью в послевоенном эсэсере, да еще в литературном его загоне.

Итак, Федин в марте не отвечает, а спустя 2 месяца в Париж будет отряжен Константин Симонов с особой миссией уговорить Бунина вернуться на Родину. Перед войною ее безуспешно попытался исполнить Алексей Толстой. Теперь же, уже вот-вот, 14 июня 1946 года, будет принят «Указ о восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Франции».

Можем мы предположить, что не струсил тогда Федин, и в Париж к Ивану Алексеевичу отрядили бы его? Ведь он был ближе Бунину по возрасту, все-таки человек еще дореволюционной выкройки, с манерами европейца, а тут чернотусый тридцатилетний полковник!

Удивительно и то, что в Париж Симонов приехал с Эрэнбургом из Америки. И к тому и к другому из Москвы прибыли жены. Казалось бы, вот уж кому бы взять на себя миссию переговоров с Буниным, так это Эрэнбургу, как никак с 1917 года знакомы, много раз встречались, Бунин читал его книги.

Но великий диктатор знал, что делает: ни Федину, и никакому другому старому русскому писателю нельзя было доверить встречу с Буниным. Федин просто бы смертельно испугался. Эрэнбург хоть застенчивостью не отличался и не заробел бы, но вряд ли подобная миссия пришла бы ему по душе. Это дружка Пабло Илья Григорьевич мог попросить по-свойски принять Сталинскую премию, а разговор накоротке с Буниным, вполне помнившим его, Эрэнбурга, антисоветскую позицию, мог принять неожиданный

оборот. В книге «Люди, годы, жизнь» Илья Григорьевич рассказывает о том парижском июне, о встрече с Матиссом и многом другом, Бунина даже не упоминает.

А этот – победитель новой, сталинской формации. Вон как Зощенко вскорости распечет, как школьника! Скажу больше: по-моему, общение с Буниным не представляло для Симонова такого уж особенного интереса, во всяком случае, сопоставимого, скажем, со встречами не говорю уж со Сталиным, но и с крупными военачальниками. На вопросы же Бунина о судьбах Бабеля, Пильняка Симонов отвечал по-солдатски: «Не могу знать!» (воспоминания Г. Адамовича).

Самое колоритное в этой истории то, что Симонов заказал советским летчикам срочно доставить в Париж из московского Елисеевского гастронома черный хлеб, водку, селедку, колбасу для Бунина. Тот ел и приговаривал: «Хороша большевицкая колбаска!» А Вера Николаевна Бунина вспоминала: в ту встречу у них дома с ужасом услышала, как Симонов толкуывает Ивану Алексеевичу, что слово Бог не стоит писать с заглавной буквы.

Какой уж тут может быть Эренбург и тем более Федин!

V

Альянсы и мезальянсы

В 2008 году в Москве под грифом ГМФ вышел том многолетней переписки Федина и Соколова-Микитова.

Об их дружбе было давно известно. Она была в литературной среде в какой-то мере показателем неутраченной Фединым человечности – вот, не пренебрегает друг Костя другом Ваней. Так все оно и было. Книга в основном очень качественно подготовлена, полиграфически прекрасно издана. Я там заметил лишь кое-какие неполадки в справочном аппарате, но чего сейчас об этом... Лишь один принципиальный возник вопрос. В книгу вошли 416 писем, при этом сообщается, что «из переписки исключены около 40 наименее значимых писем в основном последних лет». Как это понимать? Ну, была бы книга, ограниченная каким-то периодом, или какой-то тематикой, т.е. заведомо усеченная, но кто и почему лишил многолетний корпус печатаемых без купюр писем его десятой части? Допускаю, что там сообщалось исключительно о болезнях и лекарствах, но ведь и в публикуемых письмах далеко не все относится к литературе?

Надо было предоставить читателю право самому решать, что для него значимее. И как понимать в книге, претендующей почти на академический формат, это уклончивое «около 40»? 39? 38? 37?

Вероятно, изданию, финансировавшемуся из федерального и областного бюджетов, немало способствовало то, что внук Соколова-Микитова был в те годы министром культуры РФ. Смешно, но сперва я несколько опешил, прочитав подпись под фотографией «Саша Соколов»... правда, тут же сообразил, что это не тот, который «Школа для дураков».

В 4-м выпуске имеется текст Е.А. Мазановой «Прошла большая человеческая жизнь»* (письма Вс.В. Иванова К.А.Федину). Жизнь-то прошла большая (кстати, в приведенной цитате у Федина «Прошла большая жизнь», в заголовке же появилась еще и человеческая), а публикация куцая. Заявлено, что в фондах ГМФ имеется 82 неопубликованные корреспонденции Иванова Федину, а приводятся цитатки из немногих писем. Будем надеяться, что это лишь заявка на тему. Гораздо интереснее публикация Е.А. Ивановой «Письма А. Мариенгофа К. Федину». И это при том, что по тонкому замечанию автора «Имена К. Федина и А. Мариенгофа в истории русской литературы находятся, если так можно сказать, в неопредельных смысловых рядах». Очень, очень интересны и сами письма, и остроумный к ним комментарий.

Быть может в осмыслении многочисленных литературных связей К.А. содержится ключ к более или менее цельному представлению о его личности. Ни казенные монографии Б. Брайниной или А. Старкова, ни плоское ЖЗЛовское детище Ю. Окланского, ни некогда многочисленные, а нынче уже вовсе иссякшие исследования, никак не приблизили нас к самому вероятно противоречиво оцениваемому из классиков советской литературы. Ни о ком нет настолько противоположных суждений.

Скажем, читая сборник «Воспоминания о Федине» (Изд. 2-е, 1988), хочется плакать от

* Подобного рода заголовки стали уже фирменной фишкой ГМФ: «Только одна человеческая жизнь», «Нет, нет – не боец! Но упрямец», «Я с радостью осознаю, сколь многому я у него научился», «Память наша сильнее самого времени», «Свела нас Россия», «Вы являетесь частью жизни моей», «В великом городе, в великое время мы нашли друг друга», «Память моя неизбывна». Так и слышишь бархатный красивый баритон. Очень, очень красиво...

светлой любви к светлой личности. Это относится и к воспоминаниям саратовцев – Чернышевской, Боровикова, Артисевич, Бугаенко, Рязановой, для которых К.А. и впрямь был и наставником, и добрым опекуном, и верховным судией. Вообще он был патриотом родного города, что далеко не всем удалившимся в столичные высоты деятелям было присуще.

Но откроешь книгу, скажем, Г. Свицкого... нет, не будем цитировать Свицкого, это уж чересчур, вот «серапион» Каверин:

«Мы знакомы 48 лет, Костя. В молодости мы были друзьями. Мы вправе судить друг друга. Это больше, чем право, это долг... Как случилось, что ты не только не поддержал – затоптал “Литературную Москву”, альманах, который был необходим нашей литературе? Ведь накануне полуторатысячного собрания писателей в Доме киноактера ты поддерживал это издание. С уже написанной опасно-предательской речью в кармане, ты хвалил нашу работу... Недаром на 75-летию Паустовского твое имя было встречено полным молчанием. Не буду удивлен, если теперь, после того как по твоему настоянию запрещен уже набранный в “Новом мире” роман Солженицына “Раковый корпус”, первое же твое появление перед широкой аудиторией писателей будет встречено свистом и топотом ног... Нет сейчас ни одной редакции, ни одного литературного дома, где не говорили бы, что Марков и Воронков были за опубликование романа и что набор рассыпан только потому, что ты решительно высказался против... Ты берешь на себя ответственность, не сознавая, по-видимому, всей ее огромности и значения... Ты становишься, может быть, сам того не подозревая, центром недоброжелательства, возмущения, недовольства в литературном кругу...”

Но, вероятно, самое страшное из того, что пришлось выслушать Федину о своем «лавирировании», это слова Александра Твардовского: «Помирать-то все будем, Константин Александрович...»

VI По страницам

Профессиональным уровнем выделяется, конечно, та статья сборника, которой он открывается – Н.В. Корниенко «“Сюжет или идеология” (Серапионы-критики в литературно-политической борьбе первого периода нэпа)».

Лишь два мимолетных вопроса вызвал у меня этот текст.

Я не уверен, правомерно ли столь категорично называть Николая Асеева «поэт-футурист»? То, что он основал «Центрифугу», тяготеющую к эгофутуризму, все же не дает повода для такого определения; одним из основателей «Центрифуги» был и Пастернак, но что-то мне не встречалось, чтобы его называли «поэтом-футуристом». Аналогичный вопрос вызывает и сказанное Корниенко о Сергее Городецком: «поэт-коммунист». Но Сергей Митрофанович никогда не был членом партии, а если и писал о ней лизоблюдские стихи, это не основание именовать его поэтом-коммунистом. Ведь тогда и героя чтений можно назвать «писатель-коммунист».

Хорошо, что в лидеры чтений был приглашен столь авторитетный ученый. Жаль, правда, что в Саратове не нашлось.

Думаю, «серапионы» и Федин представляются для заведующей отделом новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья ИМЛИ чисто академический интерес. Во всяком случае, сдержанную статью о «серапионах» невозможно уподобить её страстным выступлениям в защиту Шолохова (см. «Авторство Шолохова как доходная тема», «Наш современник», 2005, №11, или «Читатели и не читатели у Шолохова» в кн. «Тихий Дон» – слава добрая, речь хорошая», М., 2008 и др.)

Странно читать в научном издании такие открытия: «Константин Александрович Федин родился 12/24 февраля 1892 года в Саратове, на Волге, в мешанской семье...» и далее и далее. (А.И. Ванюков. «К.А.Федин: чувство пути и ритмы биографии».) Но куда удивительнее в этом тексте следующее: «1892 год как литературный год пророчически показателен...» В подтверждение чего приводятся такие события, как смерть Каронина-Петропавловского, публикация «Палаты №6», романа Боборыкина «Василий Теркин», рассказа Короленко «Ат-Даван», первого поэтического сборника Бунина, первого рассказа Горького, сборника статей Мережковского.

А ведь здорово подмечено! Посмотреть рядом что ли, может, обнаружим, что тоже года пророческие были? Ага, 1893 – умер Плещеев, родились Маяковский, Шкловский, А.Лосев, были напечатаны «Гуттаперчевый мальчик» Григоровича, повесть Чехова «Рассказ неизвестного человека», трактат Толстого «Царство Божие внутри нас». Неплохо с пророчической точки зрения, ну, а если назад, в 1891-ый?

Батеньки мои! Скончались Гончаров, Ле-

онтьев, Блаватская, родились, ох, черт возьми, Булгаков, Эренбург, Мандельштам, напечатаны повесть Чехова «Дуэль», Лескова «Загон», Куприна «Впотьмах»... нет, 1891-ый год попрофетичнее 1892-го будет.

Дальше – больше. Ну, написал в 1910 году Федин первый рассказ, хорошо, но год оказывается не простой. И опять поехали той же дорожкой: публикации Горького, Бунина, Ремизова и даже Аверченко, и конечно смерть Толстого в этом году. Ну, а если и мы тем же путем, про 1909-ый и 1911-ый?

Ну, ладно-ладно, не буду.

Немало любопытного содержит статья И.В. Ткачевой «История создания пьесы «Испытание чувств» в переписке К.А. Федина и В.И. Мартыновой»: яркие воспоминания Н.К. Феდიной о поездке с отцом в Саратов летом 1942 года, да и цитирование переписки писателя с поклонницей его творчества и преподавательницей дочери в ГИТИСЕ, но все это, увы, не имеет никакого отношения к достоинствам пьесы, которых просто нет. Тем удивительнее финальная фраза статьи: «Спустя много лет, в 1982 году, в дни празднования 90-летия со дня рождения К.А. Федина, этот спектакль был поставлен в Саратове на сцене Саратовского (о, редактор, где ты?.. – С.Б.) академического драматического театра им. К. Маркса и имел большой успех». Надо бы пояснить читателю, в чем же выражался большой успех? В том, что руководство на нем присутствовало?

Часть 2-я сборника нефединская, ее составили публикации об Андрее Белом, Константине Большакове, Сигизмунде Кржижановском, Борисе Пильняке. На мой незащищенный взгляд они интересны.

В сборнике есть и еще публикации, но я же сразу предупредил, что пишу не рецензию. Впрочем, если их авторы пожелают, и А.Е. Сафронова не будет возражать, могу специально ими заняться.

VII Главное

Я до сих пор считаю начальные главы романа «Первые радости» одними из лучших в советской прозе. Недаром ими так восхищался Пастернак.

Я до сих пор полагаю, что по форме «Города и годы» были своего рода романным прорывом тех лет, а «Горький среди нас» почти тем же для ин-

теллигентного читателя 40-х годов, что и «Люди, годы, жизнь» Эренбурга для читателя 60-х.

Я до сих пор постоянно заглядываю для своей саратовской души и в «Братьев», и во «Встречу с прошлым», и в «Старика», потому что Федин был и остается главным писателем Саратова. По его страницам уже можно изучать уходящую натуру, а когда-нибудь они вообще останутся единственным литературным памятником нашему погибающему городу.

И я не могу не удивляться почти полному отсутствию фединского Саратова в «Фединских чтениях».

Алексей КОЛОБРОДОВ

От детдома до дурдома

Захар Прилепин. Черная обезьяна. – М.: АСТ, Астрель, 2011. – 285 с.

Критики и, понятно, издатели, повысили новую книгу Захара Прилепина до звания романа, в то время как сам автор называет ее повестью.

Дело, думаю, не столько в скромности, сколько в точности. Наверное, по замыслу писателя, жанровая промежуточность и подчиненность авторской воле обозначают и преемственность, и некое особое, неглавное, но важное место «Черной обезьяны» в общем доме прилепинской литературы.

Разговоры о том, что ЧО – неожиданность, эксклюзив, без вершков и корешков в прежней прозе Захара – ерунда. Новая книга – своеобразное продолжение романа в новеллах «Грех» и его прямая антитеза.

Не без «Греха»

«Грех» – книга, по нашим временам, удивительно светлая, сюжет которой не выстроен, а творится на глазах из самого вещества и аромата прозы. Это хроники Эдема до грехопадения, бурно зеленеющее древо жизни. При том, что рай этот не в космосе, а на земле, и открыт всем пыльным бурям и грязевым дождям нашего мира. «Черная обезьяна», минуя сам момент изгнания из рая, показывает и пытается объяснить мир постфактум. Когда в муках и поте лица – и труды, и хлеба, и дети. «Грех» – распаханное приятие мира и любовь к существу; «ЧО» – декларируемая ненависть к «человечине» и болезненный интерес к жизни в пограничных ее проявлениях.

Почти незаметный в процессе, но впечатляющий результатом поворот стилистического винта: от живописной легкости в «Грехе» до чеканного мастерства в «Обезьяне» – автор похож на старого рабочего из Гумилева – поэта, активно цитируемого в повести.

Пуля, им отлитая, просвещает...

Пуля, им отлитая, отыщет...

Заметна переключка и с другими текстами Захара – писатель-баталист («Патологии»; рассказы «чеченского» цикла) доводит до некоторого мрачного изящества манеру военного прозаика. В голливудско-гомеровско-гайдаровском варианте, с привкусом альтернативной истории – рассказ о штурме античного города; в экзотических нарко-африканских декорациях (привет Александру Проханову) – еще одна вставная новелла, и даже в казарменном, с портяночным духом, бытописательстве.

Один из основных мотивов романа «Санька» – вечного возвращения в исчезающую деревню, в финале «Обезьяны» хмуро и по-черному не просто спародирован, но развернут с обратным знаком: герой исчезнет еще раньше, чем русская деревня.

Да и сюжет «ЧО» стопроцентно прилепинский, пацанский и бойцовский: журналист и писатель, вхожий до поры в высокие кабинеты и секретные лаборатории (описанные без деталей, схематично), занялся проявлениями детской жестокости. В ответ жестокость этого мира действительно занимается им.

Облако морали

Отечественные критики, сих рудиментарным морализмом (если писатель у нас – второе правительство, то критика – центральный аппарат полиции нравов) поспешили героя «Обезьяны» обмазать в дегте и обвалить в перьях, обречь на распад и товарищеский суд. Пьянствует, дескать, вступает в связи с женщинами (в т.ч. падшими), разрушает семью и бьет по голове братьев наших меньших. Чисто застойные парторги.

Понятно и возможно, что в силу известной литературной традиции, автор, что твой Достоевский, выпускает погулять собственную подсоснанку, попасться фобии и почесать комплексы. Однако, воля ваша, ничего за пределами аморального в намеренно безымянном герое «ЧО» я не увидел. Более того, не увидел и того,

что, с отвращением листая жизнь свою, нельзя не заметить в себе самом – даже невооруженным глазом.

А разве у вас не было окраинного детства с домашним зверинцем и старшими друзьями-хулиганами? Армии и попыток откосить на дурку? Семейных разборок после прочтения смс-Х-файлов с битьем чашек, зеркал и мобильных? Изуренных жен и ветреных любовниц? Разбитых физиономий – своих, чужих и вовсе посторонних? Тупой зубной боли в сердце, при воспоминаниях о невесте где обитающих детях?

Было, но не всё? Тогда надо начинать не с Прилепина, а с истории побиваемой камнями блудницы.

С рудиментарным морализаторством у рецензентов причудливо рифмуется тревожное ожидание авторского подвоха. Даже на уровне названия. Каждая вторая, из уже появившихся, рецензий на «Черную обезьяну», начинается неполиткорректным вздохом облегчения: это не то, что вы подумали, не про хачей и ниггеров... А мы и не думали. Я, например, полагал, что речь просто о неких злобных приматах (человека не исключая). Оказалось – об игрушке. Но можно, конечно, взять и шире.

Про это

Любой настоящий русский роман стоит на трех китах – политике, мистике и эротике, можно обойтись двумя элементами, однако никак нельзя – одним.

Мне приходилось говорить Захару Прилепину этот литературный комплимент: он едва ли первый из русских писателей, умеющий писать эротику. Всё получается точно, дозировано, негрубо и зримо.

С чем, с чем, а с обнаженкой и всем последующим у нашей словесности – вечная напряженность. Если не брать даже бульварный сегмент, с его «пульсирующими столбиками» и «бутонами сладострастия», обнаруживаешь, что и чрезвычайно почитаемый Прилепиным Лимонов в этом Захару уступает. У секс-сталкера Эдуарда Вениаминовича всё же соответствующие органы живут собственной трудной жизнью, «член» становится элементом «расчлененки»... Впрочем, у Лимонова секс – инструмент познания мира, а у Прилепина – просто часть существования. У Захара нет: а) собственных слюней, пускаемых от вождения на страницу, когда автор на месте

двух, трех и т. д. персонажей представляет одного себя; б) брезгливости, зачастую фальшивой, нарочитой к данным занятиям, чтоб писателя, не дай БожЕ (как говорили в Советской Армии, с ударением на последний слог), не заподозрили, что он тоже любит это дело; в) утомительного перечисления барышень и способов, свидетельствующего о жалком опыте и понтах; г) просто гадкого цинизма, не казарменного даже, а натужно-интеллигентского. И т. п., ну не умели у нас до Прилепина писать эротику – «как будто манды не видали», говорил Петр Вайль в пересказе Довлатова.

Что-то начиналось у эмигрантов, Газданова, но пришли Савицкие и Вик. Ерофеевы и все испортили.

Прилепин вообще, как любой настоящий писатель, завораживает своей картинкой, «подсаживает» на нее. К его детям относиться с нежностью, его женщин – хочешь. Потому что не только видишь, но и чувствуешь.

Тут я не удержусь от цитирования:

«Половые органы у нее всегда казались удивительно маленькими, твердыми на вид и посторонними на ее гладком теле – словно на ровный лобок пластмассовой куклы положили улитку, и та налипла присосками.

Но на этот раз улитка была вся раздавлена и размазана».

Или монолог героини:

«Я так возбудилась тогда... Возбудилась, что ты, может быть, в подъезде уже. И ты позвонил еще раз, а я уже пошла в ванную, из меня текло... я подцепила все, что натекло, запустила руку под кран, одновременно говорила с тобой по телефону, а с пальцев все не смывалось никак, как белые водоросли свисало.

Аля даже показала, как она держала пальцы. Я долго смотрел на пальцы, а она все пошевеливала и потирала ими под невидимой водой».

...Захар, в ответ на мой комплимент, проанонсировал эротику в «ЧО», отметив, что она там разная: не только точная и зримая, но и «с брезгливостью» из моего пункта «бз» (см. выше). Да нет, Захар, ничего похожего. Можно как угодно относиться к героям и героиням, и настаивать на сугубо служебной роли сцен «про это», но, как говорят опытные дамы – «красоту не замажешь».

В «Обезьяне» автор выступил в новом и удивительном амплуа – рецензента порнофильмов. Точнее, того, что иногда в них мелькает как

бы за пределами функционала (чуть не сказал – «замысла»). Запомнившиеся когда-то своей неуместностью кадры отпечатались то ли в голове, то ли ниже, и в нужный момент, флешбэком, пошла вдруг трансляция изнутри уже знакомого человека, и зритель цепенеет перед этим разворотом внутренностей чужой подсознания.

Прием этот – вообще магистральный для новой прилепинской книжки; прибавив упёртость героя на десятке возвратно-поступательных движений, механистичность страстей, кишечную обнаженность души – можно смело назвать «Черную обезьяну» – порноповестью.

Велимир, труд, маета

Впрочем, уместно и другое жанровое определение – политического памфлета. Слишком прозрачна метафора о «недоростках» – маленьких носителях от замороженного, свободного от всей взрослой химии, сознания – за которыми наблюдает кремлевский демиург Велимир Шаров, в целях дальнейшего использования: хоть в политике, хоть в литературе.

Первым делом, конечно, приходят в голову «наши», «мгеровцы» и пр. (есть в «ЧО» и намеки куда прозрачней: «свои вожаки Сэл и Гер»; Солигер то есть) и Владислав Ю. Сурков.

Но здесь – контрапункт сюжетной игры: в Велимире Шарове угадывается не только Сурков, но и писатель Владимир Шаров, в чьем последнем романе «Будьте как дети» – заявлена, почти всерьез, оригинальная и глубокая концепция детского похода, крестового и социального одновременно, за всемирным счастьем. Поход этот был последним заветом смертельно больного Владимира Ленина, дорожную карту которого вождь разработал на примере миграционно-мистических практик северного народа энцев.

И для Прилепина полемика с автором «Будьте как дети» куда важнее поиска очередного забористого сравнения для «путинского комсомола».

А город, где происходит массовое, немотивированное убийство людей «недоростками», называется Велимир.

(Имя удивительно завораживающее – Хлебников знал, как себя назвать. Узнав имя «Велимир» и должность «Председатель Земного Шара» можно ведь и не читать, что он там написал-нашаманил. Очень многие так и сделали.)

Однако что-то мешает ограничиться памфлетом и обрадоваться очередной фиге в кармане. Слишком уж понятна, до зевотной тоски, история с «нашими», чтобы тянуть на самостоятельный сюжет, это во-первых. А во-вторых, столь же скучно было бы числить Прилепина, пусть в одной этой книжке, эпигоном велимиров братьев Стругацких плюс Воннегута.

Сюжет о «недоростках» – действительно, с двойным дном – кризис идей и людей в стране резонирует с творческим кризисом писателя-героя (а может, и автора). Отсюда – навязчивый и назойливый к финалу поиск «мелодии» на фоне утраты членораздельной речи. Отсюда – тошнота, усталость и отвращение, которые только усиливаются (как и аллюзии – скажем, на «Мультики» Михаила Елизарова). Там же исподволь возникает апокалипсическая леонид-леоновская интонация. Конец цвета. Повествование действительно становится черно-белым, экспрессионистским – от экспрессионизма, кстати, и совсем не русское восприятие психлечебницы как нормального, тихого места, не дома, так пристанища.

Обыкновенный кризис. Дальше – или выздоровление, или...

Юлия ЩЕРБИНИНА

«Художественной правдой продолжать документальность»

Александр Иличевский. Перс. – М.: АСТ, Астрель, 2010. – 640 с.

*Умение художественной правдой
продолжать документальность –
уникальное, сродни пророческому дару.*
А. Иличевский. «Перс»

Лирика физики

Роман Александра Иличевского «Перс» – яркий и наглядный пример того, как научные представления, теории и гипотезы облекаются в образную форму, встраиваются в художественную систему и артикулируются в литературном тексте. Становятся нарративами.

Обычно так происходит с актуальными научными проблемами, которые в какой-то

определенный момент кристаллизуются в конкретных идеях и начинают «витать в воздухе». В случае с «Персом» это идея единства и универсальности строения всего во вселенной: Земли, Человека, Языка.

Известно также, что некоторые открытия совершались одновременно несколькими учеными. Например, лента Мебиуса (Мебиус и Листинг), радио (Попов и Маркони), электрическая лампочка (Эдисон и Яблочков). Аналогично и то, о чем размышляет в своём произведении А. Иличевский, стало предметом научных изысканий Т. Голда, Ф. Крика, М. Ниренберга, В.А. Подороги, В.В. Налимова, П.П. Горяева и др.

Наука сообщает некие факты и сведения. Художественное творчество переплавляет их в образную систему. Ибо точные доказательства и подтверждения еще не найдены (и неизвестно, будут ли найдены вообще), но основное направление развития мысли уже интуитивно нащупано – надо лишь ухватить, помыслить и зафиксировать в слове.

В литературном произведении научные идеи существуют на правах индивидуальных авторских манифестаций – изобразительно-выразительных средств, сюжетных ходов, композиционных приемов. И самое интересное, если писатель и ученый соединяются в одном человеке. Иличевский не только писатель, но и физик, математик, литературовед.

«Вообще те структуры, которые возникают в голове благодаря науке, очень занимательны. С их помощью можно выстроить особенное зрение, ряд специальных оптических приборов, которые позволяют добыть новый смысл».* Посмотрим, как воплощается этот замысел писателя в романе «Перс».

Геном текстоподобен!

Иличевского-ученого определенно интересует микробиологическая палеонтология, а конкретно – гипотеза о непосредственном участии нефти в генезисе жизни на земле.** Иличевский-

* Иличевский А. «Никогда не встретимся...»: Интервью // Частный корреспондент, 2009, 17 августа. http://www.chaskor.ru/article/aleksandr_ilihevskij_nikogda_ne_vstretimsya_9407

** Иличевский А. Опыт геометрического прочтения: «Нефть» и «Долина транзита» А. Парщикова // Иличевский А. Гуш-мулла: Книга эссе, 2004 // Сетевая словесность (<http://www.netslova.ru/ilichevskii/opytgeo.html>).

писатель создает роман, один из главных героев которого, геолог и океанолог Илья Дубнов, увлечен идеей о том, что «все живое на земле произошло от небольшой колонии клеток» и что клетки эти следует искать в зонах нефтяных месторождений.

В одержимости поиском человеческого первопредка герой «Перса» напоминает геолога Шацкого из повести Константина Паустовского «Кара-Бугаз» и лирического персонажа «Долины Транзита» Алексея Парщикова («Нефть – я записал, – это некий обещанный человек, заочная память...»).

Согласно авторскому замыслу, предполагаемому общему предку, жившему более четырех миллиардов лет назад, ученые-эволюционисты дали название *Last Universal Common Ancestor* (LUCA). Это «семя Демиурга» Илья ищет по всему миру. Формальный мотив его путешествий – желание видиться с увезенным женой маленьким сыном. Однако благую весть герой получает не от Марка (имя сына), а от Луки (в русской транскрипции название человеческого первопредка становится именем евангелиста).

Обнаружение LUCA позволит, по предположению Ильи Дубнова, расшифровать человеческий геном, который, в свою очередь, видится ему «осмысленным текстом», похожим на «не слишком прозрачное стихотворение». Как любое подлинное стихотворение геном обладает неокончательным смыслом. И, вполне возможно, именно «самый темный, необъяснимый и бесполезный текст генома (интрон) содержит в себе некую важнейшую неприкладную информацию». По объему интрон представляет собой «огромное письмо, проект, библиотеку».

Илья выдвигает гипотезу о том, что обнаружение обладающего сверхреальными свойствами человеческого первопредка «поможет найти ключ для прочтения массива интрона».

При всей кажущейся навороченности романного замысла глубоко ошибутся те, кто сочтет эти идеи бредовыми авторскими фантазиями. Ведь еще в 1960-е гг. английскими учеными Ф. Криком и М. Ниренбергом, создателями модели триплетного кода, была предложена метафорическая идея ДНК как текста. Позднее российским исследователем П.П. Гаряевым была выдвинута гипотеза о том, что человеческий геном в прямом (не метафорическом!) смысле текстоподобен и что изучать его следует именно

как лингвистическое, речевое образование.*

Так что и герой «Перса», и его автор вполне небезосновательно убеждены в том, что «без знания азов биологии бессмысленно заниматься филологией».

Более того, с самого начала романа Илья Дубнов настаивает на существовании материальной – географической – точки начала Языка и предполагает искать ее вблизи Персии – «земли поэтов», родины Саади и Хафиза, места духовного прибежища Велимира Хлебникова. Ближе к финалу повествования герой обнаруживает LUCA на Апшеронском полуострове...

Философия ландшафтного зрения

Почему большинство персонажей Иличевского пристально всматриваются в окружающие их пейзажи? Для чего вообще человек исследует взглядом всякую местность?

Одним из наиболее глубоких отечественных исследований, отвечающим на этот вопрос, можно считать работу В.А. Подороги «Метафизика ландшафта». Валерий Подорога исходит из очевидности того факта, что «язык сплетается из пространства» и «представляет нам в распоряжение пространственное чувство в силу того, что сам он формируется как язык благодаря своей способности к выражению отношения пространства».**

В художественной концепции «Перса» созерцание героями окрестностей становится прежде всего способом осмысления действительности. В контурах ландшафта проступают конфигурации смыслов. При этом исходное содержание определяется выбором точки наблюдения (vista point), а производное – сменой ракурсов, изменением угла зрения.

«Тысячи километров перелистывается сумеречная книга простора. Юг разворачивается страницами полей, на каждой – слова, буквы, многоочия домишек, поселков, междоуметия убогих станций, одиночные вздохи зажженных

* Гаряев П.П. Лингвистико-волновой геном: теория и практика. – Киев: Институт квантовой генетики, 2009. – С. 40. (См. там же: «Высшей формой вещественно-волновых матричных функций ДНК являются её речеподобные и голографические управляющие биосистемами построения. Они создают потенциальные формы тела и сознания-мышления».)

** Подорога В.А. Метафизика ландшафта. Коммуникативные стратегии в философской культуре XIX – XX вв. – М.: Наука, 1993. – С. 11.

окон, стальная линовка разъездов, узловых»...

Еще подростком Илья придумывает сделать «Зрачки Города», отыскивая значительные точки для обозрения городских окрестностей. Такие точки мыслятся героем как своеобразные устройства, с помощью которых можно «нащупать собственный взгляд города на себя». Подъезды, чердаки, слуховые окна – все объекты, имеющее узкие и обращенные к югу щели, становятся своеобразными камерами-обскурами.

Этот и целый ряд аналогичных эпизодов позволяют увидеть в «Персе» оригинальный эксперимент по соединению географии, геометрии и лингвистики, попытку художественной интерпретации словесных категорий через математические модели.* Писатель исходит из предположения им же «гипотезы существования параллелизма в установлении пространств представлений математических и гуманитарных моделей». ** Задача изначально сложнейшая и в тексте романа не имеющая очевидного, ясного и конкретного результата. Но чем дальше развивается сюжет, тем очевиднее какая-то нутряная, интуитивная правильность сам и задумки. Так топология становится онтологией...

Помимо этого, взгляды в ландшафт становятся для героев Иличевского способом *присвоения смыслов*. Ибо все обозримое, открытое взгляду обретает статус освоенного (охваченного сознанием) и приобретенного (имеющегося в индивидуальном опыте). Человек грезит самораспространением, расширением точки обзора до размеров земного шара. Мечта Ильи: «И когда бы я ложился навзничь, то весь без остатка я становился бы своей родиной: равнинами, холмами, морем». Герой очарован идеей, что геология и география напрямую соотносятся с нейробиологией, что человеческий мозг «тектонически» нагружен опытом врожденной доисторической памяти.

Кроме того, визуальное исследование ландшафта мыслится и как один из приемов *самопознания человека*. «Только в путешествиях могу хоть как-то себя нащупать», – признается Илья.

С этим связан один из сквозных мотивов

* Подобные опыты, только более локального характера, предпринимались А. Иличевским и ранее, например, в книге прозы «Бутылка Клейна», в книге эссе «Гуш-мулла».

**Иличевский А. Опыт геометрического прочтения: «Нефть» и «Долина транзита» А. Парщикова // Иличевский А. Гуш-мулла: Книга эссе, 2004 // Сетевая словесность (<http://www.netslova.ru/ilichevskii/opytgeo.html>).

романа – постоянное считывание поверхностей, их словесное картографирование. Представлять узкую полосу острова Артем как «некрупную запятую». Воображать человеческое лицо картой морщин. Изучать Млечный путь на крыльях короледа. Сверять узор джейраньих троп с клинописью капиллярных линий. Так смыкаются география и герменевтика...

И если для ребенка чтение – способ путешествия по реальности, то для взрослого путешествие – способ чтения реальности. Вдоволь начитавшийся в детстве десятиклассник Илья решает «отныне ни строчки не употребить и всю жизнь провести в путешествиях». Потому что ценны только личные впечатления, потому что значим только собственный, а не чужой опыт.

По А. Иличевскому, в этом бесконечном странствии, в постоянном движении, в бесконечном физическом перемещении Человек как воплощенное Слово ищет свое место в «книге простора». Ибо странствие – всегда поиск ответов на вопросы. Это и внутренний диалог с человеком с самим собой, и разговор с другими людьми, и общение с богом.

В данном отношении сложно согласиться с Валерией Пустовой, трактующей «взаимоотношения глаза и ландшафта» в «Персе» как отношения «человеческого и нечеловеческого, “я” и “не-я”». *** Нет, пожалуй, «встраивание» героев Иличевского в ландшафт не форма их растворения в окружающем, а порядок самоутверждения человека, мыслящего внешний мир как делящуюся протяженность и как возможность познания близлежащих («обозримых», «доступных глазу») смыслов.

Возразим В. Пустовой и в том, что у Иличевского «метафоры ослепления и второстепенные персонажи-слепцы – все это знаки свершившегося перехода, развоплощения глаза, конца зрения». **** В символическом смысле слепота – это совершенное зрение. Ибо, в отличие от зрячего, незрячий прочно сохраняет в памяти все виденное, невиденное воображает более совершенным, чем в действительности, а самую отсутствующую способность компенсирует другими (осязанием, слухом). Таковы в «Персе» слепой мальчик Ильдар – ученик матери Ильи, незрячие зенитчики-слухачи из рассказа океанолога Черникина,

*** Пустовая В. Крупницы тверди // Вопросы литературы, 2010, № 4.

**** Там же.

ослепший иерусалимский поэт Осс из рассказа художника Сгора.

Наконец, взглядывание в ландшафт – это возможность *осознания предела*. Предела мысли, познания, понимания. Всматриваясь в простор степи или пустыни (сюжетообразующие пейзажи в романе), человек всегда упирается взглядом в горизонт.

Линия горизонта – ограничитель, предельная отметка в обозримой части пространства и, одновременно, стимул вечной устремленности человека к незримому как неведомому. Почему, по мнению героя Иличевского, «среди гор человек сознает, что зазнался»? Потому что в горах человек видит горизонт у своих ног – таким может быть ответ на этот вопрос с позиций философии ландшафтного зрения.

Постоянное смещение линии горизонта по мере передвижения в пространстве задает потенциал возможностей его освоения и познания. Потенциал неисчерпаемый, но всякий раз ограниченный для человека новым пределом.

Именно так движется и сам сюжет «Перса»: каждая глава – перемещение событийной рамки в разные локусы (горизонталь повествования) и в разные эпохи (вертикаль повествования). Таким образом, всякий раз в поле зрения читателя оказываются множество предметов и множество людей. «Ободками вещей в моей жизни запомнилась первая треть», – говорит лирический герой Парщикова, аллюзиями из которого переполнен роман Иличевского.

Отсюда – иллюзия избыточности количества персонажей в этом произведении. На самом деле, их авторский отбор и ввод в повествование подчиняются тому же «принципу объектива»: в кадре оказывается все, что только помещается в съемочную рамку. И чем чаще меняется ракурс, тем больше предметов оказываются запечатленными на пленке.

При этом писательский объектив обращается то в перспективу, то в ретроспективу. Такой принцип создания системы образов мотивирует одновременное и множественное присутствие в одном эпизоде лиц реальных и вымышленных, персонажей-современников и героев далекого прошлого.

Лента Мебиуса

Философия ландшафтного зрения определяет и оригинальность композиции романа

А. Иличевского, представляющей собой не что иное, как *ленту Мебиуса*. Попасть из одной точки повествования в любую другую можно не пересекая края поверхности.

В техническом плане такая композиция мотивирует взаимопроникаемость событийных пластов (смыкание эпизодов детства и взрослости главных героев, чередование реалистических фрагментов и исторических экскурсов, «склеивание» научности с художественностью).

В психологическом отношении композиция «Перса» наглядно демонстрирует постоянство и непрерывность переходов человеческого сознания изнутри вовне.

В символическом же смысле движение романного действия по ленте Мебиуса показывает бесконечность жизненного поиска героев во взаимосвязи и взаимообусловленности всего случившегося, сделанного, сказанного.

И выходит: хаос фактологической событийности оказывается в «Персе» мнимым, кажущимся. Нагромождение и бессистемность оказываются иллюзиями поверхностного и невнимательного восприятия этого текста.

Согласимся здесь с Аллой Латыниной: «Когда что-то в этом романе кажется лишним, случайным, ненужным (лишняя сюжетная линия, лишний герой, лишние разговоры) – непременно окажется, что затронутая нота прозвучит еще раз, отзовется».*

Действительно, достаточно совместить по ключевым точкам отдельные элементы повествования и применить к «Персу» (как это делает сам Иличевский в отношении стихов Парщикова) метод геометрического прочтения – и многое в этом романе если не полностью проясняется, то становится вполне возможным для понимания.

Трудно сказать, является ли все названное художественными достоинствами романа и плюсами Иличевского как писателя. Основная сложность анализа заключается в том, что его идейную концепцию «Перса» приходится как бы вырубать из огромной (как по формальному объему, так и по содержательному наполнению) глыбы текста, прикладывая значительные и не всегда мотивированные усилия.

Однако, во всяком случае, усилия эти окупаются тем, что во многом снимают претензии

* Латынина А. Судьба пророка в XXI веке // Новый мир, 2010, № 10.

литературных критиков к «сюжетной инвариантности» и «фактологической избыточности» романа, попутно обличая известное нежелание следовать пушкинскому принципу: судить произведение по законам самого произведения.

Торжество тождества

В синтезе гуманитарного, технического и естественнонаучного, в представлении филологии как дисциплины интегрирующей и обобщающей рождаются новое знание о языке и новое понимание речи: слово существует в единстве физического и духовного, в собезначалии материального и идеального.

Кажется, абсолютно права Ольга Балла, усмотревшая принципиальную важность в творчестве Александра Иличевского «создания словесных слепков с мира, усилия понять (прожить) через слово, как выстроен мир на уровне своих внутренних структур»^{*}.

Синкретический взгляд на современную науку и на языковую природу человека позволяет писателю смоделировать художественную систему, в которой содержание и выражение тождественны, в которой нет зазора между означаемым и означающим, знаком и смыслом.

Отсюда – две ключевые идеи «Перса».

Идея первая: человек должен стать живым словом. Почему? Потому что, по Иличевскому, «только став словом – можно вписать себя в книгу. Книга принимает в себя только живое».

Идея вторая: поэт должен стать обожествленным воплощением Слова. Почему? Потому что предельная слитность в поэтическом творчестве плана выражения и плана содержания позволяет определить его как *исток* (первоначало) и, одновременно, как *источник* (неисчерпаемый ресурс) Языка.

В романе множество примеров установления смысловых тождеств.

Человек как стихия: «В человеке кровь – море».

Человек как природное явление: «А может, шаровая молния есть сгущенная до плотности света душа?»

Человек как животное: «Арабы считают, что глаза и когти, ловкость и красота сокола принадлежат его хозяину. Что сокол и есть сам хозяин».

Человек как прибор: подростковая увлеченность героев измерять электрическое сопротивление собственного тела.

Человек как текст: «Характеры... прочитывались как ясные, глубокие, но еще не высказанные слова, каждое из которых могло стать началом повести».

И самое главное тождество – человек как *другой человек*. В художественной системе Иличевского это соотносится с «породообразовательным тектоническим процессом», в котором две человеческие личности соединяются до полного неразличения. Результат – «образование нового вещества, нового качества человека».

При этом тектоника языка открывается героям романа буквально, телесно, зримо. Потому она и удивляет их, и страшит, и заставляет порой усомниться в собственной нормальности – как ненормальным кажется со стороны человек, размышляющий вслух.

Увлеченные повестью Константина Сергиенко «Адмирал тюльпанов» подростки перевоплощаются в ее персонажей – Кееса и Караколя – и разыгрывают сцены из эпохи восстания гефов. В игре все города средневековой Голландии переносятся на знакомую до мелочей апшеронскую пустошь. «Пылающие буквы в горсти пустыря на краю ночного моря: V – Валкенбург, D – Дельфт, P – Польдебарт, R – Роттердам, Z – Зутемеер, B – Бентейзен»...

Вплощающее мысль Слово отождествляет выдуманное с настоящим. И «взрослая» Голландия кажется выросшему Илье куда менее подлинной и менее интересной. А не утративший детской увлеченности его друг Хашем переносит на карту Ширвана карту Святой земли...

Так устанавливаются смысловые тождества. Так *место рождения* становится *месторождением* новых знаний и идей, новых вопросов и ответов.

В данном контексте «пение земных недр», которое периодически слышит и которого пугается Илья, есть не что иное, как внутренние вибрации его сознания, восходящие к первоосновам бытия – к искомому героем первопредку (LUCA). Это скрытые вибрации мысли-речи, которые в определенный момент взросления, на этапе становления рефлексивности начинают ощущать каждый человек. Ибо сама человеческая мысль определяется автором романа как «обретаемая мера возраста, совершенная в неизмеримое мгновение, в которое личность совпадала со своим сознанием».

^{*} Литературные «нулевые»: место жительства и работы. Круглый стол. Главные тенденции, события, книги и имена первого десятилетия // Дружба народов, 2011, № 1.

Возможно и другое, дополнительное истолкование: «пение земных недр» – это естественная поэзия природы, аналогичная искусству стихосложения. И поскольку человек до конца непознаваем, не удивительно, что «когда взглядишься в недра человека, вдруг увидишь постепенно, как всплывает странное чудовище, нечто уму непостижимое, как, например, Хлебников»...

Семантическая вселенная

Велимир Хлебников становится самостоятельным и полноправным героем «Перса».

Присутствие великого авангардиста и футуриста в системе образов этого романа мотивировано прежде всего тем, что именно поэта можно считать идеальным примером тождества человека и текста – воплощенным Словом. Особенно такого поэта, как Хлебников. Почему? Потому что он «свои миры накладывал без зазора на действительность и действовал в ней согласно воображению: без скидок, без приноравливания, без торговли разумом».

Хлебников определенно был безумцем, но безумцем того особого рода, что заставляет восхищаться, верить, идти вослед. И безумство поэта почти всегда трактуется не как сумасшествие, а как возвышение над здравым смыслом, который, как известно, есть набор трюизмов и штампов сознания.

Заключенная в понятие *числово* (число + слово) сверхидея Велимира Хлебникова – сверстать мировую историю, как книгу. Превратить огромный массив фактов и событий в стройные гранки букв-цифр и таким образом овладеть временем-пространством. Поэт пытается «нащупать связь времен» в гармонии слов и чисел.

Углубление в эту идею позволяет увидеть и понять, что словесные эксперименты Хлебникова – Иличевского это опыты даже не геометрии, а *стереометрии речи*. Попытки пробиться к глубинным механизмам языка, к архетипам ментальных структур, к основам речемышления.

В научной области между тем, что пытался сделать в поэзии Хлебников, и тем, что пытается осуществить в прозе Иличевский, логически и хронологически помещается концепция Семантической вселенной В.В. Налимова.*

Теория Семантической вселенной устанавли-

ливает связи между словом и числом, делает возможным синтез достижений математики и лингвистики. По Василию Налимову, человек есть многообразие текстов, грамматику и семантику которых мы хотим охватить единым, вероятно задаваемым взглядом. Личность при таком взгляде является самочитаемым текстом, способным самоизменяться.

Налимов вводит понятие «распаковка смыслов» и выдвигает утверждение о том, что все возможные смыслы слов уже заданы на семантической оси, и наша задача состоит только в их выявлении и осмыслении (распаковке). Наиболее наглядно эту идею иллюстрирует эпизод «Перса», в котором Велимир Хлебников ставит перед собой цель написать стихотворение, уже написанное помогавшей ему сестрой милосердия Катей Малер. Текст, который она не могла бы написать, а именно уже написала.

В романе Иличевского выстраивается целая галерея ученых, увлеченных (а иногда и одержимых) «распаковкой смыслов» в самых разных, но неизменно оригинальных и смелых идеях. Столяров грезит кругосветным плаваньем. Черникин изучает неопознанные звучащие объекты и пробует синтезировать звуковой мир океана. Воблин бьется над загадкой исчезновения Содомы. Штейн ищет ключи к расшифровке поэтических пророчеств Хлебникова. Хашем (о котором подробно будет сказано далее) пытается вывести формулу птичьего пера и реконструировать основы человеческого языка из птичьего пения.

Так, «крылышка золотописьмом тончайших жил», писатель и его герои пыгаются нащупать смысловые пружины мироустройства...

Художественно воплощенные в «Персе» элементы теории Налимова приближают к ответам на целый ряд фундаментальных философских вопросов. Например: почему невозможно овладение абсолютной истиной? Потому что, как рассуждает автор романа, правда – это «большое число, близкое к бесконечности». Или: почему слово обладает неисчерпаемой смысловостью? Потому что любое многозначное слово «подобно очень большому числу, которое сложно не то что записать, но просто помыслить».

Согласно теории Семантической вселенной невозможно выявить и исчислить все существующие смыслы, но можно объяснить основные механизмы смыслопорождения. Человеку в этом процессе отводятся роли счетовода и интерпретатора. В романе Иличевского это показано на

* См., например: Налимов В.В. *Спонтанность сознания: Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектура личности*. – М.: Водолей Publishers, 2007.

примере того же Велимира Хлебникова, который «при отождествлении себя со вселенной слышит ее трепет» и «пытается всеми доступными средствами оказаться идеальным ее проводником, переводчиком – в область человеческого». Почему? Потому что, обладая необычайной словесной восприимчивостью, сильным языковым чутьем, поэт «лучше других понимает, что разум человеческий несет в себе принципы устройства вселенной».

Однако судьба Поэта архетипически трагична, ибо он, по Иличевскому, «мученик выражения»: слышит вибрации и принимает сигналы вселенских структур, но не может исчерпывающе воплотить, полностью выразить их в слове...

Ученый – поэт – пророк

В центре образной системы «Перса» – геолог Илья и биолог Хашем, друзья с детства. Один занимается нефтяными месторождениями, ищет человеческого первопредка и пытается расшифровать геном. Второй изучает и разводит птиц, занимается проблемами смыслопорождения и расшифровывает хлебниковские тексты.

Однако сама «ученость», равно как и тип характера, и способ мышления этих героев разнотипны и потому разнонаправлены.

Илья – теоретик и прагматик, Хашем – эмпирик и визионер. Первый жаждет научного открытия, второй взыскует духовного озарения.

Илья познает мир через движения и действия, Хашем – через слова и образы. Отсюда – две зеркальные пары персонажей: Илья/Столяров (руководитель юношеского яхт-клуба), Хашем/Штейн (режиссер самостоятельной театральной студии).

Хашем изучает поэтические послания Велимира Хлебникова. Стихи Хлебникова привлекают и Илью, но их смысл остается для него неясен, темен – как интронный массив генома, к разгадке которого он стремится.

Илья мечтает обнаружить *первоисточник* человеческой жизни (найти и описать колонию клеток LUCA). Хашем грезит поиском *завершения* земного существования человека («определить составляющие рая»).

Для Ильи знание есть поэзия, для Хашема поэзия есть знание.

«Мы жизнью с ним расходимся», – говорит Хашем об Илье.

Однако при всей внешней разнице этих пер-

сонажей, парадокс в том, что существуют они в романе не по принципу противопоставления, а по принципу взаимодополнения. Не как антиподы, но как части единого целого. Составляющие образа Человека Познающего.

Главное объединяющее их начало – диалог. В постоянных размышлениях друг о друге и в нескончаемых спорах между собой герои Иличевского движутся к осознанию объединяющей их мысли.

Отправной пункт развертывания этой мысли – предположение Ильи о существовании «единственного места на планете, откуда произошла вся жизнь». Встретившись в силовой точке Земли – на родном для обоих Апшероне, Илья и Хашем нащупывают утешительную и примиряющую истину. Преддверие этой истины – гипотеза Ильи о стихотворной ритмической организации ДНК. И к концу повествования Хашем приходит уже к собственному представлению о «центре, в котором сходятся все видимые и невидимые реки истины».

Художественная логика романа Иличевского позволяет определить следующий порядок и предел возрастания Человека в Слово: *ученый – поэт – пророк*. «Почему вы его почитаете?» – интересуется Илья про Хашема у одного из егерей. И тот без запинки, не задумываясь, озвучивает названный порядок: «Он природу, науку знает, он поэт, он Бог».

Орнитолог в Ширванском заповеднике, занимающийся умножением популяции и сохранением исчезающей птицы хубары; переводчик и популяризатор древнеиранской и современной американской поэзии; ревностный поклонник и глубокий исследователь творчества Хлебникова; предводитель егерского полка; незаурядный мыслитель и философ, ратующий за свободу всех религий от фундаментализма; провозвестник неведомого духовного знания – все это Хашем.

«Что растит человечество? Мера мысли».

При этом религиозность Хашема крайне размыта: он и назарей, и суфий, и дервиш, и рас-таман. Наибольшую близость своим воззрениям герой обнаруживает в учении хуруфитов – «интеллектуальной элиты ислама», где из обожествления языка выводилась идея божественности человека и «вся словесность, начиная с трактатов о мистическом промысле каждой буквы и о творительном союзе чисел и букв, укладывалась в основу мироздания».

По мере развития романного действия гре-

мучая смесь представлений и воззрений Хашема, вся сотканная из противоречий его идейность кристаллизуется в простой силлогизм: 1) Бог есть Слово; 2) Поэт есть воплощенное Слово; 3) следовательно, Поэт есть Бог.

Начинавший как предводитель группы егрей и главный орнитолог Ширванского заповедника, Хашем постепенно открывает в себе пророка, наследующего Велимиру Хлебникову.

Бои воздушных змеев, транскрибирование птичьих голосов, строительство копии Ноева ковчега, тренировки в метании из пращи, сооружение скелета Ишмаэля, театральные представления библейских сцен, самонадеянные религиозные заявления и шарлатанские попытки врачевания – в какой-то момент многочисленные причуды Хашема начинают явно или подспудно, но раздражать читателя.

И возникает сомнение: не есть ли все это подмена экзистенции экзотикой?

Но к концу повествования наблюдающий за Хашемом Илья задается недоуменным вопросом: «Как я оказался в полностью вывернутом наизнанку и в то же время магически привлекательном состоянии – не то игры, не то неожиданной истины?» Это постоянное балансирование между выдумкой и реальностью, игрой и серьезностью, лицедейством и откровением (движение по ленте Мебиуса!) держит читателя в напряжении вплоть до страшной финальной развязки: с Хашема живьем содрали кожу...

Так герой Иличевского повторяет судьбу Имаддедина Насими – казненного тем же способом хуруфита. Этот, казалось бы, малозначимый эпизод из «исторических» фрагментов романа символически отзеркаливается в финале всего повествования. Известная метафора *человек без кожи* обретает здесь буквальный и потому предельно трагический смысл: «Поэт весь теперь – Слово»...

Однако развязка хотя и не снимает, но существенно смягчает трагизм кульминации: Илья вливает в рот умирающего Хашема концентрат LUCA. Так осуществляется символический возврат к праистокам бытия, к первоначально месту-времени, к обретению бессмертия. И в заключительной сцене романа мы видим парящий на кайте в степном просторе образ поэта-пророка и идущих за ним по земле новых апостолов...

Бессмертие как «самовоплощение в слове» – воздаяние за беззаветную преданность Языку, за веру в Слово, за служение Поэзии.

Незадолго до гибели Хашем успевает спасти небольшую популяцию хубары, находившейся под охраной в Ширванском заповеднике. Служение делу словом завершается служением слову делом.

Слово о полку

Что представляет собой возглавляемый Хашемом Апшеронский полк имени Хлебникова? Вновь согласимся с А. Латыниной: «все очевидные и банальные ответы должны, а истинного ответа рассказчик не дает».*

Опора на уже описанные теории В. Подороги и В. Налимова позволяет подобрать следующие ключи к пониманию этого странного объединения людей, самым причудливым образом совмещающего черты военизированного подразделения, научно-исследовательской организации, кружка по интересам, философского общества и религиозной секты.

Ключ географический – *ландшафт*.

На открытых пространствах большой протяженности (степь, пустыня) распаковывается «чистый» смысл предметов и явлений. Предельно объективированный, не загнанный в объемы, не локализованный малыми формами, не поддающийся всеохватному и исчерпывающему описанию. То, что Алексей Парщиков назвал «отвязанной реальностью».

Открытость и протяженность природного ландшафта делают возможными не скованные условностями города исследования и эксперименты. И во вверенном ему Ширванском заповеднике Хашем-ученый использует среду, полностью лишенную достижений информационной цивилизации: «кругом ни радио, ни телевидения, единственные формы потехи и утешения – молитва, музыка, стихи».

Одно из часто повторяющихся слов в романе – ПРОРВА. «Прорва моря», «прорва океанского прибора», «прорва сокровищ», «прорва» огней на скоростной трассе, «прорва кроны» лесных деревьев, Россия как «великая прорва Земли». При этом именно Каспий представляется «линзой, хрусталиком, глазным дном Земли, оком, воронкой колоссальной прорвы ландшафта». Не эта ли прорва – тот самый «кузов пуза» кузнечика, который в знаменитом хлебниковском стихотворении положил туда много «трав и вер»?

Ключ психологический – *свобода*.

* Латынина А. Там же.

Апшеронский полк существует как добровольное объединение. При всех многочисленных условиях пребывания, при всей суровости профессиональных и бытовых условий, постоянство состава полка поддерживается преимущественно внутренней убежденностью людей в правильности сделанного выбора.

А раз так, то возглавляющий полк Хашем-поэт ощущает внутреннюю, онтологическую правоту всего, что заставляет делать и во что вовлекает своих егерей: начиная от разведения хубары и обучения соколов охоте и заканчивая заучиванием стихов и разыгрыванием театральных представлений.

Местные жители не случайно прозвали Апшеронский полк «коммуной летунов». Воздух – стихия птиц, стихия поэзии, стихия свободы. Егеря во главе со своим предводителем грезят полетами: коллекционируют чертежи летательных средств, запускают воздушных змеев, летают на кайтах. Причем деятельность эта почти лишена прагматических установок, нацелена на познание чистого смысла. Хашем «поступал с практическим смыслом полета точно так же, как поэт поступает с реальностью, выводя ее фундаментальные свойства из абсолютно неприкладных, отрешенных от реальности свойств языка».

Хашем расписывает черепах евангельскими изречениями и татуирует верблюда цитатами из хлебниковских «Досок судьбы». Точно так же – театральными представлениями, поэтическими декламациями, молитвенным пением – он творит из вверенных и доверившихся ему людей живые *фигуры речи*.

Так абсурдность происходящего оборачивается (лента Мебиуса!) осмысленностью и значимостью.

Ключ семантический – *выбор*.

Апшеронский полк составляют люди, сознательно или неосознанно избравшие уединение на природе как способ самосохранения. Заработок, любопытство, увлеченность делом – неосновные, побочные мотивы их пребывания в Ширване. При этом у каждого из егерей есть свой собственный, личностный смысл пребывания в составе полка. Не резон, не выгода, а именно смысл, понимаемый как индивидуальное предназначение.

Отсюда – преданность воинства своему предводителю, позволившая Хашему-пророку развернуть на небольшом полуострове зна-

мя веры в животворящую и преображающую силу Слова. Природный заповедник становится «царством, засеянным словами». Вся ритуальность Хашемовых «радений», как их называет Илья, основана на культе мысли-речи: мугам, медитация, зикр, чтение и разбор стихов.

Цель Хашема – «включить некий метаболизм сознания» своих подопечных, то есть активировать обмен духовными идеями. Каким образом? На основе отбора и систематизации всего лучшего, что есть в каждом религиозном учении.

Сомнения Ильи, усматривающего в этом элементы экуменизма, Хашем парирует тем, что экуменизм «ошибочен, потому что в нем неизбежен принцип эклектики, прямой суммы», тогда как его собственное учение основано на «открытии новейшего сознания». Согласно представлениям Хашема, «нужно, чтобы каждый стал Хлебниковым» (= «воплощенным Словом»). И Ширван становится испытательным полигоном этой идеи.

При этом Хашем говорит о присущем Апшеронскому полку «свойстве воинственной призрачности». Это означает, что «его как такового нет», что вместе с реальными и знакомыми между собой людьми полк составляют люди несуществующие. В качестве иллюстрации Хашем рассказывает егерям знаменитый исторический анекдот о поручике Кижее*. Этот курьезный пример обнажает внутреннюю пружину существования («С нами неуничтожимая сила имени») и проясняет главное назначение Апшеронского полка – вести войну за возврат Слову утраченного статуса Дела.

Почему Хашем восстает против Принца, образ которого напрямую отсылает к главному террористу современности, Осаме бин Ладену? Потому что фундаментализм, составляющий основу террора религиозного происхождения, убивает подлинную веру. Делает ее неподвижной застывшей догмой, а не переживаемым всякий раз новым откровением.

Фундаментализм представляет духовный поиск не как постоянное становление, а как застывшую завершенность, лишает человека возможности личного общения с Богом, пытается монополизировать истину и тем самым сделать

* Фантом доблестного воина, возникший из-за описки в полковой реляции: вместо «поручики же», при переносе на новую строку писарь написал «поручик Кижее».

любое знание безъязыким, безгласным, немым. Хашему ненавистен Принц, потому что через него он понял самую суть фундаментализма – односторонность речи, отказ от разговора.

«Богу не поклонение нужно... Богу нужен разговор», – заявляет предводитель Апшеронского полка. В таком контексте противостояние Принца и Хашема обретает не религиозный, а гораздо более глубокий, метафизический смысл. Это противостояние диалога монологу, речи объединяющей и речи разобщающей.

«Есть множество вопросов, ответов на которые не существует, но их можно открыть, сотворить поиском, телом сознания» – это пытаются делать не только герои, но и сам автор «Перса», ибо писательство можно считать одним из способов такого сотворения.

Роман Иличевского – наглядная и достаточно убедительная иллюстрация того, как Слово становится сверхперсонажем литературного произведения и сверхобъектом современных – точных, естественных, гуманитарных – наук. И как в любой науке познание предшествует признанию – так этот роман взыскует понимания прежде любви. А посему в него нужно внимательно вчитываться и глубоко вдумываться, хотя, признаемся, это весьма непросто.

Не исключено, однако, что лингво-философские изыскания, представлявшие безумными большинству современников Велимира Хлебникова и кажущиеся несостоятельными многим современникам Александра Иличевского, в недалеком будущем станут началом новой – великой и победительной – теории языка.

Как знать...

Олег РОГОВ

Микрофон для хора

Контрафактный президент: документальное повествование в цитатах / Сост. Арсений Данилов. – М.: РОО ИИЦ «Панорама», 2011. – 116 с.

Рецензируемое произведение – это только одна часть книги-перевертыша. Другая часть – то, из-за чего сыр-бор разгорелся – книга Льва Гурского «Роман Арбитман. Биография второго

президента России».

Текст «Контрафактного президента» уникален тем, что состоит из цитат откликов в печатных и электронных СМИ, в ЖЖ и частной переписке – и на саму биографию, и на широко уже известную историю с иском издательства «Молодая гвардия», продолжающего известную павленковскую серию «Жизнь замечательных людей», к волгоградскому издательству «ПринТерра».

Все мы читаем или просматриваем разного рода комментарии к заинтересовавшим нас статьям в электронных СМИ или в ЖЖ, скролим троллей и останавливаемся на любопытных откликах, спорящих с основным текстом или уточняющих его суть. Все мы знаем, каковы бывают эти комментарии – глупыми, умными, более интересными, чем сам текст, оффтопными и т.д.

В «Контрафактном президенте» сделана попытка упорядочить этот нестройный хор, выстроить его как мелодический ряд, разложить на голоса, ведущие ту или иную партию, проследить контрапункт и сгруппировать хронологически партитуру нескольких сотен «хористов». Эта попытка блестяще удалась.

Микрофон переходит от одного участника столичного ток-шоу (сменим метафору) к другому, возвращается, темы петляют, но движутся строго в намеченных руслах (часть первая: Отклики о книге; часть вторая: Суд идет; часть третья: Премияльный антракт; часть четвертая: Суд пришел; плюс пролог с эпилогом).

Многие книги вламываются в историю литературы со скандалом. В данном случае оказалось, что игровая биография второго российского президента через проблемы сугубо цеховые (издательский иск) затронула многие болевые точки нашей эпохи. Действительно, абсурдность иска «Молодой гвардии» прямо-таки провоцировала теории о заказе «сверху», хотя, скорее всего, мы имели дело с формальным поводом, «удачно» совпавшим с желанием угодить власть предержащим.

Даже не очень напрягая память, читатель может вспомнить известные из печати или из личной истории случаи, когда негативный или даже кажущийся таковым контекст упоминания фамилии Путина вызывал истерики среднего и низшего чиновничьего звена. Или зависимых предпринимателей.

Приведу цитату из письма редактора одного из московских издательств, отклонившего составленный по его заказу сборник анекдотов:

«Все анекдоты про Путина и Медведева, депутатов, "Единую Россию", Кремль нужно изменить. В разделе могут быть анекдоты про Саакашвили, Тимошенко (если есть, но без наших президента и премьера), американского президента, если таких мало, раздел можно дополнить анекдотами про Брежнева, даже про Горбачева.

Обратите внимание, что политически неблагоденственные анекдоты встречаются и в других разделах, например, анекдот про Кремль <...> Это не наша прихоть – в свое время нам возвращали работы из типографии всего лишь из-за одной, очень мягкой фразы о Путине».

В книге же Гурского о президенте Арбитра-не Путин вообще не упоминается, и это, наверное, даже хуже, чем гневные или презрительные реплики в его адрес. Нет такого исторического персонажа, и всё тут. Вот душа еще одного за-висимого предпринимателя и не стерпела, да и коммерческий повод появился...

Главная интрига книги – поиски ответа на вопрос: что стоит за иском, каковы возможные последствия положительного судебного решения и в политическом, и в культурном плане.

Участники полилога высказывают предположения, например о том, что это «не заговор, а глупость, спровоцированная общим подъемом полицейского рвения в области охранения копирайта. Иск к «ПринТерре» отлично встает в один ряд с только что выигранным РАО судом по поводу публикаций Галича в сети, с попытками взимать с загосов плату за пользование Маршем Мендельсона и взысканием с организаторов концерта Deep Purple штрафа за незаконное воспроизведение группой Deep Purple произведений группы Deep Purple. Раз теперь это все можно – спасибо квалифицированным законодателям, принявшим часть 4 ГК в ее нынешнем виде, – то отчего бы и не попробовать слупить с небольшого издательства <...> миллион за пародию на дизайн обложки».

Очень проницательна Анна Голубкова: «Книга [Льва Гурского] – вполне в духе конца XX века – представляет собой яркий пример постмодернистской иронии, которая отразилась и в самом ее оформлении. И как раз за это оформление книга и подверглась преследованию <...>, что особенно наглядно свидетельствует о том, что времена постмодернизма закончились и наступает, увы, время голого и совершенно однозначного натурализма».

Сам Гурский комментирует решение суда,

признавшего правоту «Молодой гвардии», но существенно уменьшившего сумму иска так: «Вступление решения суда в законную силу автоматически означает, что все тома серии «ЖЗЛ» и одинокая шутка «ПринТерры» представляют ОДНУ И ТУ ЖЕ область литературы. А именно – non fiction. <...> Пытаясь подстраховаться от возможного гнева Очень Высокого Начальства, дирекция «Молодой гвардии» наступила совсем на другие грабли: своим иском она превратила трикстер в полноценного исторического персонажа». Абсурд торжествует.

Особо хочется отметить высказывание одного «голоса из хора» о другом «полноценном историческом персонаже»: «Ведь расскажи ленивому, нелюбопытному и беспамятному народу, а особенно неискующему молодому поколению про то, как наш спаситель на самом деле в 90-е годы прислуживал олигархам да «либерастическим» губернаторам, что он на самом деле был <...> фактически изгнан из разведки после провала миссии в Германии и потом добрых пять лет помогал пламенному демократу Собчаку, полетит к чертям собачьим весь неосталинистский миф».

Это невероятное пожелание осуществилось – книга Ю. Фельштинского и В. Прибыловского «Корпорация: Россия и КГБ при президенте Путине», сначала напечатанная за границей (в Англии, например, под названием «The Age of Assassins»), вышла и в России в 2010 году в московском издательстве «Терра – Книжный клуб». Значит, времена, всё же меняются. Да?

Анна ГОЛУБКОВА

На грани небытия

София Парнок. Вполголоса. – М.: ОГИ, 2010. – 312 с.

История русской литературы XX века так до сих пор толком и не написана. Конечно, есть школьные и вузовские учебники, есть сложившийся канон, но есть и авторы, пока что остающиеся как бы на периферии культурного сознания. Как раз к таким авторам и относится София Парнок, чье творчество высоко оценивалось некоторыми из современников, было совершенно забыто в советскую эпоху и «воскресло» только в эпоху постсоветскую, но воскресло как-то не до конца, словно оставшись на грани небытия.

Собрание сочинений Парнок, подготовленное С.В. Поляковой, было издано в США еще в 1979 г.* В 1998 г. «Собрание стихотворений» вышло в Петербурге** (именно по этому изданию и публикуются стихи в данной книге). Разумеется, ведутся постоянные исследования творчества Парнок: пишутся научные статьи, выходят монографии, защищаются диссертации. Кроме того, в интернете появился очень симпатичный сайт, на котором в свободном доступе выложены многие материалы, связанные с Парнок.*** Но привело ли все это к возвращению поэта в актуальное культурное пространство? К сожалению, нет. Например, до сих пор не появилось ни одной рецензии на книгу «Вполголоса». Более того, София Парнок вообще не слишком интересна литературным журналам – этот поэт не входит в круг авторов, статьи о которых публиковать считается необходимым. Возможно, проблема в том, что современный русский литературный канон в значительной степени основан на репутациях, сложившихся в первой четверти XX века. Оценки творчества В.В. Розанова, к примеру, прямо перекочевали из статей 1910-х в статьи 1990-х годов. И здесь Софии Парнок, которая не торопилась предъявлять свои стихи публике и, соответственно, не успела при жизни получить адекватный критический отклик, крайне не повезло.

Обычно о Софии Парнок вспоминают исключительно в связи с определенными биографическими обстоятельствами. В этом она, на мой взгляд, во многом разделяет судьбу Зинаиды Гиппиус, известной в первую очередь как критик, прозаик, даже как «декадентская мадонна», но менее всего воспринимаемой как поэт. Пожалуй, именно Гиппиус и напоминает Парнок своим стремлением договаривать все до конца, своей жесткой поэтической манерой и какой-то решительной безжалостностью по отношению к самой себе. Как и Гиппиус, Парнок не делает себе никаких поблажек. Ее поэзия – это не только стремление познать любовь как абсолютную ценность, но и исследование собственной личности, в котором нет ни капли самолюбования, самопоуновения или самообмана. Иногда даже ка-

жется, что к себе Парнок бывает намного строже, чем ко всем остальным окружающим ее людям. Вероятно, именно с этим связан ее достаточно сложный путь в литературу, обусловивший отсутствие своевременной критической рецепции и как следствие – отразившуюся уже в конце XX века сложность интерпретации ее стихов. Литературоведы прочерчивают связи Парнок с Тютчевым, Баратынским, Каролиной Павловой, из современников – некий «параллелизм» с Ходасевичем. Однако своеобразие ее философской и одновременно – крайне индивидуальной лирики, в поразительной степени сочетающей интеллектуальность и эмоциональность, отвлеченность и конкретность, на мой взгляд, так до сих пор и не выявлено.

Любопытно также и то, что лирика Парнок – вполне женская по восприятию себя и своего места в мире (в отличие от Гиппиус, она не пользуется никакими масками), тем не менее, никак не вписывается в обычные представления о «женской поэзии». Вероятно, это обстоятельство тоже затруднило своевременное восприятие поэзии Парнок. Наиболее точно, по-моему, об одном из ранних ее стихотворений отзывался В.Ф. Ходасевич: «В нем отчетливость мысли сочеталась с такой же отчетливой формой, слегка надломленной и парадоксальной, но как нельзя более выразительной»****. В отличие от многих других поэтов женского пола Парнок смотрит на себя прямо и непосредственно, не пропуская свой взгляд ни через некоего абстрактного мужчину, ни через точку зрения социума. Она не является «женщиной» в социальном смысле слова, она – человек женского пола, не отказывающийся от своей сущности, но и не подменяющий ее навязанными извне представлениями о том, какой женщине следует быть. К сожалению, эта «неженская женственность» оказалась совершенно не востребованной в дореволюционную эпоху, когда же ситуация несколько изменилась, совершенно не востребованными оказались уже сами стихи.

Собрание стихотворений названо по последней книге Софии Парнок, вышедшей в 1928 году. В настоящем издании, как сообщает аннотация, собраны все известные на данный момент стихотворения. Послесловие Елены Новожиловой посвящено общему очерку творческого пути

* Парнок С. Собрание стихотворений / Подгот. текстов, вступ. ст. и коммент. С.В. Поляковой. — Ann Arbor: Ardis, 1979.

** Парнок С. Собрание стихотворений. / Вст. статья, подготовка текста и примечание С. Поляковой. — СПб: Ина-пресс, 1998.

*** См.: <http://brb.silverage.ru/zhslovo/sv/sp/>

**** Цит. по: http://az.lib.ru/h/hodasewich_w_f/text_1010.shtml

поэта, а также краткой истории изучения и публикации ее творчества. К сожалению, структура книги и принципы публикации в статье не описаны. Однако можно предположить, что сначала в книге идут опубликованные стихотворения и отдельные сборники, а потом – стихи, оставшиеся неопубликованными. Именно из этого раздела хочется привести стихотворение, с удивительной, на мой взгляд, точностью и безо всякой сентиментальности описывающее ту бытовую и экзистенциальную катастрофу, которая стала следствием русской революции:

*Трудно, трудно, брат, трехмерной тенью
В тесноте влачить свою судьбу!
На Канатчиковой – переуплотненье,
И на кладбище уж не в гробу,
Не в просторных погребках-хоромах, –
В жестяной кастрюльке прах хоронят.*

*Мир совсем не так уже обширен,
Поубавился и вишь, и ввысь...
Хочешь умереть? – Ступай за ширму
И тихонько там развоплотись.
Скромно, никого не беспокоя,
Без истерик, – время не такое!*

*А умрешь, – вокруг неукротимо
Вновь «младая будет жизнь играть»:
День и ночь шуметь охрипший примуч,
Пьяный мать, рыгая, поминать...
Так-то! Был сосед за ширмой, был, да выбыл,
Не убили – и за то спасибо!*

февраль 1929

В этом новом мире нет места отдельному человеку с его индивидуальными страхами и нуждами, причем нет места – как в буквальном, так и в переносном смысле. Поэту, а модернистский поэт – это в первую очередь индивидуальность, остается только одно – исчезнуть, причем с наименьшим беспокойством для окружающих. В сущности, в этом стихотворении заключена вся судьба «старой» русской культуры...

Специалисты, занимающиеся творчеством Парнок или Цветаевой, нередко начинают с разных позиций анализировать ту давнюю историю. Споры не утихают – одни становятся на сторону Цветаевой, другие – на сторону Парнок, как будто все это произошло только что, а не

почти уже сто лет назад. Но насколько человек современной эпохи может реконструировать сознание человека того времени? В любом случае к подобным интерпретациям, на мой взгляд, следует подходить с крайней осторожностью. И поэтому хотелось бы завершить эту статью мнением современника – фрагментом из воспоминаний Анастасии Цветаевой, передающим, как мне кажется, очень живое впечатление от личности поэта: «Я была в восторге от Сони. И не только стихами её я, как и все вокруг, восхищалась, вся она, каждым движением своим, заразительностью веселья, необычайной силой сочувствия каждому огорчению рядом, способностью войти в любую судьбу, всё отдать, всё повернуть в своём дне, с размаху, на себя не оглядываясь, неуёмная страсть – помочь. И сама Соня была подобна какому-то произведению искусства, словно – оживший портрет первоклассного мастера, – оживший, – чудо природы! Побыв полдня с ней, в стихии её понимания, её юмора, её смеха, её самоотдачи – от неё выходил как после симфонического концерта, потрясённый тем, что есть на свете – такое...».

Виктор СЕЛЕЗНЕВ

Хроника отсроченного убийства

Павел Нерлер при участии Д. Зубарева и Н. Поболя. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений. – М.: Петровский парк. 2010. – 224 с.

*Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомним кремлевского горца,
Душегубца и мужикоборца.***

Это проклятие вырвалось из сердца поэта осенью 1933 года. Автор оплатил жизнью эти

*Цит. no: <http://brb.silverage.ru/zhslovo/sv/sp/?r=about&id=21>

** Не собираюсь вмешиваться в текстологические споры, но мне как читателю жаль, что последняя замечательная строка не вошла в канонический текст. В таком варианте я списал мандельштамовские стихи в конце 50-х годов у выдающегося экономиста Владимира Шляпентоха, ныне советника президента США.

самоубийственные строки. Минуту 20 лет, сгинул сам адресат этих стихов, но никто и не смел хотя бы заикнуться о публикации этого стихотворения. Отшумела переменчивая хрущевская оттепель, кончился брежневский застой, уползли черной чередой на оружейных лафетах под кремлевскую стену владыки коммунистического полумира, а стихотворение нельзя было ни напечатать, ни хотя бы публично упоминать о нем. Табу не было снято даже в первые годы горбачевской гласности.

Но, вопреки всем их запретам, крамольные строки уже в 50-е годы знала наизусть, если вся страна, то, по крайней мере, все, кто собирал и читал вольную поэзию, кто хотел знать всю правду о нашей литературе, о нашей истории.

Стихийный бунтарь Осип Эмильевич Мандельштам никогда не был своим ни для какой власти. Не зря им интересовались и полиция Российской империи, и контрразведка Вооруженных Сил Юга России, и правительство Грузинской Демократической республики. Но это все присказка, пока за поэта не взялась контора, известная под зловещей аббревиатурой ГПУ (господи, помилуй убиенных!) – НКВД. Пока его поэтическое слово не обернулось его судебным делом.

Документальная книга Павла Нерлера – о доносах, допросах и обвинительных заключениях, о всех репрессиях против Мандельштама, в том числе и только намечавшихся. Главы следуют в хронологическом порядке, каждая содержит повествовательную и документальную часть, большинство документов публикуется впервые. И доскональнейшие комментарии к каждой главе, выполненные на самом высоком академическом уровне. Только надо было также научно и завершить книгу, дав подробный указатель имен.

Одному из соавторов этого издания – Н. Поболу удалось найти в Российском государственном военном архиве эшелонные списки заключенных из различных тюрем Москвы, этапированных в сентябре 1938 года во Владивосток. В машинописном списке Бутырской тюрьмы – семь листов папиросной бумаги, на них под номером 112 был записан: «Мандельштам Осип Эмильевич писатель к-р. дея.» (С. 115). В сборнике не только напечатан сводный список всех невольных попутчиков поэта, а это сотни имен, но и даны сведения о многих из них.

Вся книга в основном, конечно же, о бес-

смертных стихах «Мы живем, под собою не чуя страны», предreshивших роковую судьбу поэта. По точнейшему определению Бориса Пастернака, стихотворение – «это не литературный факт, но акт самоубийства...» (С. 32).

Павел Нерлер полагает самой вероятной версию, которую высказывали Ф. Искандер и О. Лекманов, что «стихотворение, прочтенное Сталину, по-видимому, Ягодой, необычайно понравилось вождю, ибо ничего всерьез более лестного о себе и своем экспериментальном государстве он не слышал и не читал» (С. 32). Именно поэтому, очевидно, Мандельштам и не был расстрелян в 1934 году или брошен в лагерь, а отделался всего-навсего пустяшной, по понятиям того людоедского времени, ссылкой. Автор называет это спасение поэта чудом, «Сталинской премией 1934 года» (С. 26).

Но было ли сохранение жизни Мандельштаму – как оказалось, временное, чудом, а не цинично просчитанным, как сказали бы сегодня, пиаром? Не так ли коварнейший Коба в те же годы забавлялся со своим дружком Бухариным, то сбрасывая его со всех высоких постов, то снова возвышая, пока наконец не расстрелял любимца партии в том же 1938 году, когда умер в лагере и Мандельштам?

Чересчур осторожно сказано в книге, что «воспользовавшись убийством Кирова» (С. 65), Сталин развязал компанию террора против так называемых троцкистов, зиновьевцев и всех прочих врагов народа. Да кремлевский горец и прикончил своего ленинградского сатрапа – отличный предлог для массовых расправ! Разумеется, никакого письменного распоряжения Сталин не отдавал, зачем же оставлять какие-то следы, когда тирану хватит и одного взгляда или намека.

Проницательный Лев Троцкий, превосходно изучивший на собственной шкуре бандитскую суть кремлевского узурпатора, «утверждал на основании официальных заявлений, что ГПУ знало о подготовке убийства и по собственным мотивам смотрело на это сквозь пальцы»; «ГПУ знало о намерениях Николаева (исполнителя убийства Кирова – В.С.) и использовало его как свою пешку».* Уже в день ликвидации Кирова, а грохнули его, напомним, в 4 часа дня 1 декабря, в тот же вечер «по инициативе Сталина принима-

* Дойчер Исаак. Троцкий в изгнании. М.: Политиздат, 1991. С. 330

ется постановление ЦИК СССР (без обсуждения на Политбюро), в соответствии с которым были внесены изменения в существующий Уголовно-процессуальный кодекс. Сталин настолько спешил, что постановление даже "не успел" подписать у главы государства Председателя ЦИК СССР М.И. Калинина. Документ, выражающий кредо беззакония, вынужден был подписать секретарь ЦИК СССР А.С. Енукидзе*.

Свою верную руку к делу Мандельштама приложил и так называемый Союз советских писателей, придуманный Сталиным и Горьким для тотального контроля и слежки за литераторами. По мнению Нерлера, одним из членов бригады гэпеушников, нагрянувших к поэту в ночь с 16 на 17 мая 1934 года, «вероятнее всего, был Мате Залка (1896–1937) – венгерский писатель и русский чекист, пробивной председатель писательского кооператива в Нащокинском...» (С. 51). Да, тот самый: под кличкой «Лукач» он покинет кооперативную квартиру в СССР и пойдет воевать, чтобы скорее испанцев в колхозы загнать.

Н.Я. Мандельштам вспоминала рассказы агента русишгестапо, а по совместительству члена Союза писателей Павленко, будущего четырехжды лауреата Сталинской премии первой степени, «как он из любопытства принял приглашение своего друга-следователя, который вел дело О. М., и присутствовал, спрятавшись, не то в шкафу, не то между двойными дверьми, на ночном допросе...» (С. 34).

Добивали великого поэта главари Союза писателей Ставский и его подручный – тот же стукач Павленко. 16 марта 1938 года Главный писатель страны советов просит Главного чекиста – железного наркома Ежова «помочь решить этот вопрос об Осипе Мандельштаме» (С. 93). К письму приложена рецензия-приговор Павленко, большого знатока литературы и ловца человеческих душ: «Я всегда считал, читая старые стихи Мандельштама, что он не поэт, а версификатор, холодный головной составитель рифмованных произведений. От этого чувства не могу отделаться и теперь, читая и его последние стихи. Они в большинстве своем холодны, мертвы, в них нет того самого главного, что, на мой взгляд, делает поэзию, – нет темперамента, нет веры в свою строку» (С. 93–94).

Ну как было чекисту Ежову не выполнить

столь скромную просьбу братьев-писателей – «помочь решить этот вопрос об Осипе Мандельштаме». 2 мая 1938 года поэт был арестован. На допросах Мандельштам неизменно отвечал: «Виновным себя в антисоветской деятельности не признаю»; «Никакой антисоветской деятельности не вел» (С. 102).

2 августа того же года его приговорили к пяти годам исправительно-трудового лагеря. Срок за так называемую контрреволюционную деятельность по тем временам минимальный, но для Осипа Эмильевича, с его больным сердцем и надломленной психикой, это было, понятно, равносильно приговору к смерти.

*Для Вас в Москве открыт музей подарков,
Сам Исаковский оды пишет Вам.
А у костра читает нам Петрарку,
Фартовый парень, Оська Мандельштам.*

В 12 часов 30 минут 27 декабря 1938 года Осип Эмильевич Мандельштам умер в стационаре пересыльного лагеря «Вторая речка» недалеко от Владивостока.

Из воспоминаний Н.Я. Мандельштам: Фадеев, будущий генсек Союза писателей, спровадивший в ГУЛАГ многих членов этого союза, узнав о смерти Мандельштама, «пролил пьяную слезу: какого мы уничтожили поэта!..» (С. 158).

Гонители и убийцы великого поэта, избежав земного суда, не ушли от суда истории. Их снимки, их доносы и допросы напечатаны в книге П. Нерлера. Новые поколения вчитываются в стихи «Мы живем, под собою не чуя страны», оплаченные свободой и жизнью, и видят в них не только современные параллели, но и живой пример, как надо без боязни всегда называть тиранов – тиранами, палачей – палачами, казнокрадов – казнокрадами, стукачей – стукачами, подонков – подонками. Перечитывают строки, адресуя их нынешним правителям:

*А вокруг его сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей –
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет.
Он один лишь бабачит и тычет.*

* Волкогонов Д.А. Сталин. Кн. 1. Вожди. М.: Новости, 1998. С. 366.

ТРИ ВЗГЛЯДА ИЗНУТРИ

«Кочегар»

Алексей Балабанов, «темный гений» отечественного кино, снял новый фильм – столь же омерзительный и мизантропический, как и предыдущие, столь же прекрасный и неожиданный. Что с ним делать, на какую полочку поставить? Сначала была сугубо артхаусная изощренность, экранизации Беккета и Кафки. Неприятные, но любимые народом «Брат» и «Брат-2», потом «Война». Захоти Балабанов – стал бы новым Михалковым для нового поколения. Но он круто свернул в сторону (или рухнул в пропасть некоммерческого кино?) – после «Груза-200» Балабанова обвиняли во всех грехах, начиная с ненависти к нашему общему прошлому, «Морфий» подлил яду ищущим в его фильмах ксенофобские фантазии. Теперь вот «Кочегар»...

Что вспоминается при слове «кочегар» в культурном плане? Ну, кроме питерских котельных? «Товарищ, я вахту не в силах стоять, – сказал кочегар кочегару». Вода, музыка и смерть. Роль первой в фильме «играет» снег, остального в избытке.

Новый фильм Алексея Балабанова – шедевр минимализма. То, на что другой режиссер потратил бы десятки минут, подверстывая психологизм диалогов к нюансам игры, Балабанов решает за минуту-другую. Весь сюжетобразующий каркас уместился бы в четверть часа экранного времени: контуженный в Афганистане майор работает кочегаром и пишет уже написанный кем-то рассказ. В топке бандюганы сжигают трупы конкурентов. От его дочери избавляется партнерша по бизнесу, мстя заодно и за измену ее приятеля. Кочегар убивает злодеев и кончает с собой. К чему психологические разработки, постепенное подведение зрителя к глубинной мотивации поступков персонажей, неизбежная рефлексия? Ведь всё можно просто обозначить пунктиром и, самое страшное, этого будет вполне достаточно. Люди просты, их поступки предсказуемы, такое впечатление, что находишься в кукольном театре, где разыгрывают макабр, и именно эта степень условности как бы освобождает зрителя от сопереживания персонажам, но, в то же время, на порядок усиливает ужас от происходящего.

Основная часть фильма – проходы персонажей, снятые едва ли не в режиме реального времени. Злодеи, эгоисты и наивные фрики шествуют по заснеженным улицам под романтический гитарный перебор Дидюли. Это дано настолько подробно, что мы уже знаем, за какой угол они завернут и в какую арку направятся, пройдя возле решетки парка и сойдя с моста. Гипнотическое зрелище берет на себя ту самую отсутствующую в фильме рефлексия, позволяя зрителю самому досказывать то, от чего за ненадобностью отмахнулся режиссер.

У меня Балабанов вызывает стойкое ощущение шарады с опасной разгадкой. Скажу сразу – я её не знаю, и это интригует еще больше.

Отметим, что «Кочегар» признан лучшим фильмом 2010 года по мнению экспертного сообщества, и ему присуждена премия «Белый слон», главная, наверное, кинопремия России.

«Ливан»

Для режиссера фильма «Ливан» Самуэля Маоза эта картина – своего рода психодрама: он сам участвовал в Первой ливанской войне, и то, что мы видим на экране, подкреплено личной историей создателя фильма. Которой он решил поделиться и с актерами тоже – чтобы им было понятно, каково это – сидеть, скукожившись в танке, Самуэль Маоз записал артистов в донельзя

нагретом тесном замкнутом пространстве и колотил по его оболочке, имитируя звук попавших в танк снарядов.

Режиссер решил на нетривиальный ход – мы видим то же, что и находящиеся в танке люди. Камера смотрит строго в прицел, и это находка невероятной силы. Изображение отвлекается от реальности, размеченной мишенью, только на показ «пассажиров» смертоносной машины.

У экипажа танка – а в нем есть и новички – неизбежно начинаются клаустрофобические истерики. Природа стресса понятна: не ты контролируешь реальность, данную тебе через прицел, а лишь осуществляешь приказания, передаваемые по рации. Но ребята начинают спорить с начальством – стрелять или не стрелять, поди разбери, кто тут террорист, а кто мирный крестьянин. Вот это удивляет – странно, что израильтяне вообще выигрывают войны при таком «парламентарном» подходе к выполнению приказов.

Из военного фильма «Ливан» медленно, но верно превращается в экзистенциальную абсурдную драму. Танк заблудился во время зачистки города после авианалета, связь прервалась, попытки наладить контакт с временными ливанскими союзниками едва ли не более опасны, чем прямое противостояние очевидному врагу. Есть только мир в прицеле и железная консервная банка, покидать которую смертельно опасно.

«Черный лебедь»

Дарен Аронофски начал эстетским фильмом «Пи», мощно заявил о себе как о крупном художнике «Реквиемом по мечте», снял затем маловразумительную притчу «Фонтан» и ностальгически-гуманистичного «Рестлера». Теперь – «Черный лебедь», современная сказка на тему психотерапии.

Фильм просто напичкан цитатами и отсылками к литературе и кино. Наверное, это абсолютно неизбежно, коль речь в нем идет об обретении целостности, хотя бы и ценой жизни. Фрейд (работа с комплексами), Юнг (работа с Тенью и процесс индивидуализации), классический Голливуд (девушка из кордебалета, получающая главную роль), Ханеке (мазохизм и сложные отношения героини с матерью, как в его «Пианистке»), Линч (раздвоение личности) – режиссер черпает полными горстями, благо тема позволяет, да и источники вдохновения почти бесконечны.

Картина снята очень динамично, пугает зрителя аккуратно по нарастающей, но в какой-то момент это перестает «работать», и смотришь на шевелящуюся на экране жуть вполне отстраненно. К середине фильма понимаешь, что уже невозможно отличить реальность обыденную от реальности внутренней, контролируруемую шизофрению от полного безумия. Где глюк, где фантазия, где реальность? Одно то и дело отменяет другое, ритм фильма бешеный и разбираться в хитросплетениях расщепленного сознания нет ни времени, ни желания, если честно. Поэтому приходится просто наблюдать за чехардой процессов, принимая увиденное на экране за некую полиреальность со всеми вытекающими из этого решения эмоциями, вернее, отсутствием таковых.

И, если не принимать за «минус» для фильма отсутствие правдоподобия (и его следствие – определенную зрительскую отстраненность), то можно просто наслаждаться загадочным зрелищем метаморфоз сознания, манифестирующих себя и на физическом уровне – например, прорастанием черных лебединых перьев на коже героини.

Фильм можно было бы назвать «Бой с Тенью». Вернее, «Бой за Тень». Присвоение отчужденной до поры до времени части себя – всегда увлекательное зрелище, всегда сказка, рассказанная на новый лад, взрослым детям на ночь.

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать 28 апреля 2011 г.
Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
<http://magazines.russ.ru/volga/>

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.